

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2023

№ 71

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_gukun@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скотилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief;
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology);
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor;
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology);
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science);
Borisov E.V. (Tomsk, Russia);
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia);
Syrov V.N. (Tomsk, Russia);
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia);
Ladov V.A. (Tomsk, Russia);
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia);
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia);
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviev A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Беликов А.А. Логические отношения между условными высказываниями и трехзначная логика.....	5
Коновалов А.Н. Истинностные значения составных высказываний с пустыми определенными дескрипциями.....	13
Небольсин Д.И. Проблема визуальных обманок в аналитических теориях изобразительной репрезентации.....	21
Невважай И.Д. Смысл знака и смысл значения в эпистемологии.....	29
Никитин А.П. Проблема связи естественных языков с институциональными фактами и лингвистический детерминизм.....	39
Фатенков А.Н. Каузальность в перекрестии критики.....	49
Lobovikov V.O. Analytic philosophy of natural language of jurisprudence, ethics, and theology (Four mathematically different formal-axiological meanings of “law” and four ones of “power”).....	59
Stekeler-Weithofer P. On the problem of reducing semantics to formal rules in analytic philosophy.....	68

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Головина Ю.А. И.Я. Фойницкий и Н.С. Таганцев об истории и философском смысле наказания: кара, возмездие, польза и юридические отношения.....	85
Куликов С.Б. Эпистемические основания анализа этических высказываний в «Логико-философском трактате» Людвига Витгенштейна.....	96
Косыхин В.Г., Тихонова С.В. Оптика сумерек: о прозрачности и тьме в дискурсе метамодернистских онтологий.....	106
Нестеров А.Ю. Онтологический плюрализм Ф. Дессауэра.....	119
Ополев П.В. Проблемы осмысления сложности в отечественной и зарубежной философии.....	128

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Асеева И.А. Цифровое благополучие общества: междисциплинарный подход.....	138
Красиков В.И. Неинституциональное философствование в России 90-х гг. XX в. – двух первых десятилетий XXI в. (исследовательское обозрение).....	149
Погожина Н.Н. Конфликтотенный потенциал современности: протестная коммуникация в реалиях информационно-сетевого общества.....	164

СОЦИОЛОГИЯ

Алексеев М.С. Доверие населения к органам власти в информационном обществе: теоретико-методологические основы изучения.....	177
Донских О.А., Логунова Л.Ю., Уткина А.Н. Профессиональное достоинство профессора.....	192
Филькина А.В., Камнева О.С. Профили цифровой грамотности школьников.....	204
Ярская-Смирнова Е.Р., Косова О.А., Ярская-Смирнова В.Н. Маломобильные в российских печатных СМИ: анализ репрезентаций уязвимых групп до и во время пандемии.....	215

ПОЛИТОЛОГИЯ

Бирюков С.В., Чирун С.Н., Андреев А.В., Рахимжанова Д.А. Политический кризис в Казахстане: истоки, текущее состояние, перспективы развития и урегулирования.....	225
Калинин Р.Р. Друг или враг ядерных держав: политические аспекты Договора о запрещении ядерного оружия.....	237
Яковлев М.В. Государство датификации и его дисциплинарные техники: направленность социально-политической трансформации.....	246

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Belikov A.A. Logical relations between conditionals and three-valued logic	5
Konovalov A.N. Truth values of compound utterances with empty definite descriptions	13
Nebolsin D.I. The trompe-l'œil problem in analytic theories of pictorial representation	21
Nevvazhay I.D. Sense of sign and sense of meaning in epistemology	29
Nikitin A.P. The problem of the relationship of natural languages with institutional facts and linguistic determinism	39
Fatenkov A.N. Causality subjected to criticism	49
Lobovikov V.O. Analytic philosophy of natural language of jurisprudence, ethics, and theology (Four mathematically different formal-axiological meanings of “law” and four ones of “power”)	59
Stekeler-Weithofer P. On the problem of reducing semantics to formal rules in analytic philosophy	68

HISTORY OF PHILOSOPHY

Golovina Yu.A. Ivan Foynitsky and Nikolai Tagantsev on the history and on the philosophical meaning of punishment: Retribution, retaliation, benefit, and legal treatment	85
Kulikov S.B. Epistemic grounds for the analysis of ethical statements in the <i>Tractatus Logico-Philosophicus</i> by Ludwig Wittgenstein	96
Kosykhin V.G., Tikhonova S.V. The optics of twilight: On specters and darkness in the discourse of metamodern ontologies	106
Nesterov A.Yu. Ontological pluralism of Friedrich Dessauer	119
Opolev P.V. Problems of comprehending complexity in domestic and foreign philosophy	128

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Aseeva I.A. Digital well-being of society: Interdisciplinary approach	138
Krasikov V.I. Non-institutional philosophy in Russia in the 1990s – the first two decades of the 21st century (research review)	149
Pogozhina N.N. The conflictogenic potential of modernity: Protest communication in the realities of information and network society	164

SOCIOLOGY

Alekseev M.S. Public trust in the authorities in the information society: Theoretical and methodological bases of studying	177
Donskikh O.A., Logunova L.Yu., Utkina A.N. Professional dignity of the professor	192
Filkina A.V., Kamneva O.S. Profiles of schoolchildren’s digital literacy	204
Iarskaia-Smirnova E.R., Kosova O.A., Yarskaya-Smirnova V.N. Low-mobility groups in Russian press: Analysis of representations of vulnerable groups before and during the pandemic	215

POLITICAL SCIENCE

Biryukov S.V., Chirun S.N., Andreev A.V., Rakhimzhanova D.A. Political crisis in Kazakhstan: Origins, current state, prospects for development and settlement	225
Kalinin R.R. Friend or foe of the nuclear powers: Political aspects of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons	237
Yakovlev M.V. The state of datification and its disciplinary techniques: The direction of socio-political transformation	246

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья

УДК 162

doi: 10.17223/1998863X/71/1

ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УСЛОВНЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ И ТРЕХЗНАЧНАЯ ЛОГИКА

Александр Александрович Беликов

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
belikov@philos.msu.ru*

Аннотация. Предлагается подход, позволяющий моделировать спектр отношений между условными высказываниями, которые содержат противоречащие друг другу консеквенты. В фокусе статьи находятся отношения противоположности, противоречия и подпротивоположности, т.е. все логические отношения, фиксирующие ту или иную степень семантической оппозиции между высказываниями. Предлагаемые трехзначные логики дают простой и эффективный инструмент для установления логических отношений между способами обоснования противоречивых позиций субъектов аргументации.

Ключевые слова: противоречие, противоположность, подпротивоположность, условные высказывания, трехзначная логика

Благодарности: исследование подготовлено при поддержке РНФ, проект № 20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора», реализуемый в Санкт-Петербургском государственном университете.

Для цитирования: Беликов А.А. Логические отношения между условными высказываниями и трехзначная логика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 5–12. doi: 10.17223/1998863X/71/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

LOGICAL RELATIONS BETWEEN CONDITIONALS AND THREE-VALUED LOGIC

Alexander A. Belikov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, belikov@philos.msu.ru

Abstract. The article proposes an approach that allows one to model the range of logical relations between conditional statements with contradictory consequents. The focus of this article is the relations of contrariety, contradiction and subcontrariety, i.e. all logical relations that fix this or that degree of semantic opposition between statements. The problem of

establishing this kind of logical relations is very important if we want to use logical theories for the analysis of argumentation, because there the semantic opposition between arguments or theses can play a significant role in the process of evaluating the effectiveness of argumentation. The three-valued logics proposed in the article provide a simple and effective tool for establishing logical relations between the modes of substantiating the contradictory positions of the subjects of argumentation. All the proposed theories are formulated within a single framework and differ from each other in minor details, namely, the only row in the definition of implication. In the remaining parts, all three logics are identical: they are three-valued, they have the same definition of consequence and validity, they have the same definitions of other propositional connectives, etc. An important unifying property of all the proposed theories is that they all in one or another degree can be included into the class of so-called connexive logics. The proposed analysis of conditional statements is based on their specific interpretation. Conditional statements are understood as a linguistic form by which a person fixes the result of some inference. Having, say, premise A, we infer a conclusion B. If our inference seems convincing to us, then we fix this information in the language with the help of “if A, then B”. Thus, conditionals are a kind of marker that the speaker who expresses them use when some justification of the consequent with the help of an antecedent is made. The main idea of the article is as follows: in order to be able to model various logical relations between conditional statements containing contradictory consequents, it is enough to use the framework of three-valued logic. The article proposes three logical theories, each of which is able to model one of three variants of logical relations between statements with the logical form “if A, then B” and “if A, then it is not the case that B”: contradiction, contrariety and subcontrariety.

Keywords: contradiction, contrariety, subcontrariety, conditionals, three-valued logic

Acknowledgments. The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 20-18-00158.

For citation: Belikov A.A. (2023) Logical relations between conditionals and three-valued logic. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 5–12. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/1

I

Условное высказывание (кондиционал) можно понимать как языковую форму, используя которую, человек фиксирует результат некоторого вывода. Имея, скажем, посылку A, мы строим вывод и получаем заключение B. Если наш вывод кажется нам убедительным, то мы фиксируем в языке эту информацию с помощью «если A, то B». Таким образом, кондиционалы являются своего рода маркерами того, что высказывающий их спикер имеет некоторое обоснование консеквента при помощи антецедента.

Надо сказать, что эта трактовка условных высказывания не является новинкой. Наиболее близкой является трактовка, уходящая корнями в область исчислений натурального вывода. Согласно ей, каждой логической связке соответствует набор правил вывода, которые обосновывают ее введение и исключение из контекста рассуждения. В большинстве логических теорий введение в контекст импликации регулируется известным правилом

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \rightarrow B},$$

которое неформально может быть прочитано так: если $[A] \dots B$ – корректный вывод, то на этом основании $A \rightarrow B$ может утверждаться, а допущение A ис-

ключается из вывода. По сути, данное правило выражает смысл известной «теоремы о дедукции»: если из некоторого множества формул Γ и A выводима формула B , то из множества формул Γ выводима формула $A \rightarrow B$.

Несмотря на то, что эта трактовка возникла в контексте формализованных языков, она успешно адаптируется и к естественным. Самый яркий пример – верификационистская теория значения М. Даммита [1. С. 20–24]. Главный тезис этой теории – значение (*meaning*) выражений естественного языка регулируются не условиями их истинности, а условиями корректной утверждаемости (*correct assertability*). Последние, в свою очередь, должны регулироваться правилами вывода в некоторой формальной системе. Наиболее удобной для этих целей, по мнению Даммита, как раз является техника натуральных исчислений. Таким образом, корректное утверждение условного высказывания возможно в случае, когда спикер имеет корректный вывод консеквента из антецедента.

Именно из такой трактовки условных высказываний мы будем исходить в данной статье.

II

Центральная проблема нашего исследования может быть описана следующим сценарием. Предположим, что у нас есть два противоречащих друг другу высказывания: (1) «Некоторые пропагандисты не являются диктаторами», (2) «Все пропагандисты являются диктаторами». Можно представить, что (1) и (2) – это позиции двух полемизирующих друг с другом субъектов аргументации; например, двух историков, ведущих дискуссию на какую-то историко-политическую тему. Предположим, что к принятию этих высказываний оба участника дискуссии пришли в результате какого-то вывода, т.е., по мнению участников дискуссии, (1) и (2) являются следствиями каких-то других высказываний. Тогда могла бы иметь место, например, следующая пара условных высказываний: (3) «Если ни один проповедник не является диктатором, то некоторые пропагандисты не являются диктаторами», (4) «Если ни один проповедник не является диктатором, то все пропагандисты являются диктаторами». Нетрудно видеть, что оба они получены путём присоединения к (1) и (2) одного и того же высказывания «Ни один проповедник не является диктатором».

Сами по себе консеквенты, входящие в (3) и (4), противоречат друг другу. Но возникает вопрос: должно ли это отношение распространяться на высказывания, фиксирующие то, каким образом эти консеквенты обоснованы, т.е. на высказывания (3) и (4) целиком? Если да, то кажется, что классическая логика не справляется с задачей, ведь построив таблицу истинности для (3) и (4), мы увидим, что они совместимы по истинности, но несовместимы по ложности, а значит подпротивоположны.

Получается, что такого рода экстраполяция логических отношений с консеквентов условных высказываний на сами условные высказывания оказывается вырожденной в случае классической логики. В каком бы логическом отношении не находились консеквенты условных высказываний, эти условные высказывания всегда будут подпротивоположны друг другу в классической логике. Это нетрудно проверить. Если бы вместо (1) и (2) мы рассмотрели бы какую-нибудь пару, например, противоположных друг другу

высказываний, то подставив их в (3) и (4), последние снова оказались бы подпротивоположными высказываниями.

Применительно к рассматриваемому примеру мы хотели бы иметь такую логическую теорию, в которой высказывания вида (3) и (4) оказались бы в отношении противоречия. Но если ставить более глобальную цель, то полезным было бы иметь возможность анализировать целый спектр отношений между (3) и (4) в рамках единого подхода: и противоречивость, и противоположность, и подпротивоположность. В этой статье мы сделаем первый шаг на пути к решению данной проблемы. Наша главная идея состоит в следующем: для того чтобы иметь возможность моделировать различные логические отношения между условными высказываниями с противоречащими друг другу консеквентами, достаточно воспользоваться аппаратом трехзначной логики. В последующей части статьи мы рассмотрим три логические теории, каждая из которых способна моделировать один из трех упомянутых выше вариантов логических отношений между высказываниями с логической формой «если А, то В» и «если А, то неверно, что В».

III

Прежде чем приступить к непосредственному решению проблемы, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости, связанные с определением логических отношений в контексте трехзначной логики. Семантическая оппозиция между высказываниями обычно выражается логической связкой отрицания $\neg$. В классической логике отрицание – это связка, образующая противоречие, но в неклассических логиках она не всегда выполняет такую функцию. Если логические формы высказываний А и $\neg A$ интерпретируются в паранепротиворечивой логике Приста **LP** [2], то они образуют противоположность вместо противоречия; а если они интерпретируются в парাপолной логике Клини **K3** [3], то они находятся в отношении подпротивоположности. Однако это верно с учетом одной важной оговорки.

Вспомним, как строится семантика для **LP** и **K3**. Используется стандартный пропозициональный язык Lang, содержащий конъюнкцию $\&$, дизъюнкцию $\vee$ и отрицание $\neg$. Всем формулам языка Lang сопоставляется одно из трех истинностных значений: Т – «истина», F – «ложь» и X – «ни истина, ни ложь». Пропозициональным переменным языка Lang эти значения сопоставляются специальной функцией оценки v_3 , а значения сложных формул, образованных логическими связками, вычисляются при помощи следующих матриц.

$\&$	T	X	F
T	T	X	F
X	X	X	F
F	F	F	F

$\vee$	T	X	F
T	T	T	T
X	T	X	X
F	T	X	F

$\neg$	T	X	F
T	F	X	T
X	X	X	X
F	T	X	F

Разница между **K3** и **LP** состоит лишь в том, что в них постулируются разные множества выделенных значений, с помощью которых определяется отношение логического следования: в **K3** этим множеством является {Т}, а в **LP** – {Т, X}.

Теперь мы действительно можем увидеть (см. таблицу ниже), что А и $\neg A$ имеют разный статус в этих логических теориях, ведь в **K3** обе формулы мо-

гут одновременно не принимать выделенное значение, но не могут одновременно принимать выделенное, а в **LP** наоборот – они могут одновременно принимать выделенное значение, но не могут одновременно не принимать выделенного значения.

КЗ		LP	
A	$\neg A$	A	$\neg A$
T	F	T	F
X	X	X	X
F	T	F	T

Становится понятно, что при такой интерпретации логических отношений свойства «быть истинным» и «быть ложным» отождествляются со свойствами «принимать выделенное значение» и «не принимать выделенное значение» соответственно.

Но мы, разумеется, не обязаны занимать эту позицию. Мы могли бы использовать другую интерпретацию, согласно которой свойство «быть истинным» приравнивается к «иметь значение T», а свойство «быть ложным» – к «иметь значение F». Тогда формулы A и $\neg A$ в обеих логиках все-таки можно считать противоречащими друг другу. В дальнейшем, когда мы будем говорить о противоречии между консеквентами в составе импликативных формул, мы будем понимать противоречие именно в этом смысле.

IV

Все логические теории, которые будут предложены в этом разделе, можно рассматривать как импликативные расширения **LP**. Имеет смысл сделать акцент на том факте, что все они будут основаны на более богатом пропозициональном языке Lang_{Imp} , полученном за счет добавления к языку Lang связки импликации $\rightarrow$. Выше мы уже сформулировали семантику самой **LP**, поэтому нам остается просто сформулировать матрицы, при помощи которых будут интерпретироваться импликативные формулы.

Рассмотрим три импликации.

$\rightarrow_{\text{BL}}$	T	X	F	$\rightarrow_{\text{C}}$	T	X	F	$\rightarrow$	T	X	F
T	T	F	F	T	T	X	F	T	T	T	F
X	T	X	F	X	T	X	F	X	T	X	F
F	X	X	X	F	X	X	X	F	X	X	X

Если каждую из этих истинностно-значных функций добавить к тому матричному определению **LP**, которое было дано нами выше, то мы получим три различные логические теории. Две из них уже известны в литературе, в частности логика с импликацией $\rightarrow_{\text{BL}}$ есть не что иное, как логика **dRM3**, предложенная Беликовым и Логиновым в [4], а логика с импликацией $\rightarrow_{\text{C}}$ – это так называемая логика условного отрицания Кэнтвэлла **CN** [5]. В свою очередь, логика с импликацией $\rightarrow$ ранее в литературе не встречалась и является одним из новых результатов этой работы. Обозначим эту логику через **L**.

Итак, каким образом полученные формальные теории решают сформулированную нами проблему? Рассмотрим две формулы $p \rightarrow q$ и $p \rightarrow \neg q$ и

определим, какие значения они могут принимать в **dRM3**, **CN** и **L**, при любой интерпретации p и q (см. таблицу ниже).

		dRM3		CN		L	
p	q	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow \neg q$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow \neg q$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow \neg q$
T	T	T	F	T	F	T	F
T	X	F	F	X	X	T	T
T	F	F	T	F	T	F	T
X	T	T	F	T	F	T	F
X	X	X	X	X	X	X	X
X	F	F	T	F	T	F	T
F	T	X	X	X	X	X	X
F	X	X	X	X	X	X	X
F	F	X	X	X	X	X	X

Из этой таблицы видно, что в **dRM3** формулы $p \rightarrow q$ и $p \rightarrow \neg q$ могут одновременно принимать значение F, но не могут одновременно принимать значение T (противоположны); в **CN** формулы $p \rightarrow q$ и $p \rightarrow \neg q$ не могут одновременно принимать значение F, а также не могут одновременно принимать значение T (противоречивы); в **L** формулы $p \rightarrow q$ и $p \rightarrow \neg q$ могут одновременно принимать значение T, но не могут одновременно принимать значение F (подпротивоположны).

V

В этой работе мы предложили семейство трехзначных логических теорий, которые позволяют моделировать целый спектр отношений между условными высказываниями с противоречащими друг другу консеквентами. К числу интересующих нас отношений относятся противоположность, противоречие и подпротивоположность, т.е. все логические отношения, фиксирующие ту или иную степень семантической оппозиции между высказываниями.

Проблема установления такого рода логических отношений имеет очень важное значение, если мы хотим использовать логические теории для анализа аргументации, ведь там семантическая оппозиция между аргументами или тезисами может играть существенную роль при оценке эффективности аргументации. Предложенные трехзначные логики дают простой и эффективный инструмент для установления логических отношений между способами обоснования противоречащих позиций субъектов аргументации. Здесь мы предполагаем, что рассмотренные нами трехзначные импликации, по сути, могут трактоваться как формальные аналоги условных высказываний.

Одно из возможных возражений может касаться логики **L**, поскольку она позволяет моделировать отношение подпротивоположности между условными высказываниями с противоречащими консеквентами, однако, как мы заметили в начале работы, та же самая задача по силам и классической логике. Здесь может возникнуть вопрос о целесообразности использования логики **L**.

У нас есть два ответа на данное возражение.

Во-первых, нам хотелось предложить единый фреймворк для анализа интересующих нас отношений, т.е. предложить такое семейство логических

теорий, которые бы были сформулированы в рамках одного и того же подхода и отличались бы друг от друга какими-то незначительными деталями. В этом смысле логика **L**, на наш взгляд, идеально вписывается в общую картину, поскольку все рассмотренные теории отличаются друг от друга лишь единственным пунктом в определении импликации. В остальном все три логики идентичны: они трехзначные, они имеют одно и то же определение следования и общезначимости, одни и те же определения других пропозициональных связок и пр.

Во-вторых, важным объединяющим свойством всех предложенных теорий является то, что все они в той или иной степени могут быть отнесены к классу так называемых коннексивных логик. Последние характеризуются наличием следующих логических законов, отражающих специфические свойства отрицания условной связи между высказываниями:

- тезис Аристотеля I: $\neg(A \rightarrow \neg A)$
- тезис Аристотеля II: $\neg(\neg A \rightarrow A)$
- тезис Боэция I: $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$
- тезис Боэция II: $(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(A \rightarrow \neg B)$

Отличительная особенность этих формул в том, что они не являются законами классической логики, но при этом отражают более адекватное естественным рассуждениям понимание условной связи (см., например, [6. С. 13–16]). Несмотря на то, что в логике **L** не сохраняется общезначимость тезисов Боэция, в ней общезначимы тезисы Аристотеля, а значит, ее можно охарактеризовать как «деми-коннексивную логику» [7].

Одним из возможных направлений для будущего исследования является конкретная адаптация предложенных логических теорий к формальному моделированию аргументации средствами «абстрактного аргументативного подхода» Дунга [8]. Таким образом, рассмотренные логики открывают возможность для проведения более тонких различий между такими аргументативными понятиями, как опровержение, критика формы аргументации и отношение «атаки» между аргументами.

Еще одним направлением будущих исследований может рассматриваться задача по более детальному изучению свойств логики **L** как с семантической, так и с теоретико-доказательной точек зрения.

Список источников

1. *Kapsner A.* Logics and falsifications // *Trends in logic*. 2014. Vol. 40. P. 20–24.
2. *Priest G.* The logic of paradox // *Journal of Philosophical logic*. 1979. P. 219–241.
3. *Клини С.К.* Введение в метаматематику. М. : Изд-во иностр. лит., 1957.
4. *Belikov A., Loginov E.* Dummett's theory of truth and connexive logic (unpublished manuscript).
5. *Cantwell J.* The logic of conditional negation // *Notre Dame Journal of Formal Logic*. 2008. Vol. 49, № 3. P. 245–260.
6. *Egré P., Politzer G.* On the negation of indicative conditionals // *Proceedings of the Amsterdam Colloquium* / eds. M. Franke M. Aloni and F. Roelofsen. 2013. P. 10–18.
7. *Wansing H.* Connexive Logic // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2022 Edition) / Edward N. Zalta (ed.). URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/logic-connexive/>
8. *Dung P.M.* On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games // *Artificial intelligence*. 1995. Vol. 77, № 2. P. 321–357.

References

1. Kapsner, A. (2014) Logics and falsifications. *Trends in Logic*. 40. pp. 217.
2. Priest, G. (1979) The logic of paradox. *Journal of Philosophical Logic*. 8. pp. 219–241.
3. Kleene, S.K. (1957) *Vvedenie v metamatematiku* [Introduction to Metamathematics]. Translated from English. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.
4. Belikov, A. & Loginov, E. (n.d.) *Dummett's theory of truth and connexive logic*. [Unpublished manuscript].
5. Cantwell, J. (2008) The logic of conditional negation. *Notre Dame Journal of Formal Logic*. 49(3). pp. 245–260.
6. Egré, P. & Politzer, G. (2013) On the negation of indicative conditionals. In: Franke M., Aloni, M. & Roelofsen, F. (eds) *Proceedings of the Amsterdam Colloquium*. Amsterdam: [s.n.]. pp. 10–18.
7. Wansing, H. (2022) Connexive Logic. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Summer 2022 ed. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/logic-connexive/>
8. Dung, P.M. (1995) On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games. *Artificial Intelligence*. 77(2). pp. 321–357.

Сведения об авторе:

Беликов А.А. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры логики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: belikov@philos.msu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Belikov A.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior lecturer, Department of Logic, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: belikov@philos.msu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 16.06.2022;
одобрена после рецензирования 26.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 16.06.2022;
approved after reviewing 26.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 164 + 161.25

doi: 10.17223/1998863X/71/2

ИСТИННОСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С ПУСТЫМИ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДЕСКРИПЦИЯМИ

Алексей Николаевич Коновалов

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, k-dmf@mail.ru

Аннотация. В виде двух подходов представлены возможные решения проблемы определения истинностных значений составных высказываний с пустыми определенными дескрипциями в рамках страсонианства с привлечением неклассической логики фон Вригта TL: подхода «ленивых вычислений» и функционального подхода. Представлен аргумент в пользу подхода «ленивых вычислений» как более соответствующего языковой интуиции.

Ключевые слова: определенные дескрипции, теория дескрипций, логика истины

Для цитирования: Коновалов А.Н. Истинностные значения составных высказываний с пустыми определенными дескрипциями // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 13–20. doi: 10.17223/1998863X/71/2

Original article

TRUTH VALUES OF COMPOUND UTTERANCES WITH EMPTY DEFINITE DESCRIPTIONS

Alexei N. Konovalov

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation, k-dmf@mail.ru

Abstract. In this paper, an analysis is conducted within the Strawsonian framework of the truth values of compound utterances containing definite descriptions with no denotation. As solutions to this problem, two possible approaches are proposed for calculating the truth values of such compound utterances, namely the “lazy evaluation” approach and the functional approach. With “lazy evaluation” for a conjunction, it is assumed that the conjunction is false if at least one conjunct is false. Otherwise, if at least one conjunct is without a truth value, then the conjunction is without a truth value. If both conjuncts are true, then the conjunction is true. For a disjunction, it is assumed that if at least one disjunction is true, then the disjunction is true. Otherwise, if at least one disjunction is not determined, then the disjunction is not determined. Finally, if both disjuncts are false, then the disjunction is false. From here, the rules for the rest of the logical connectives can be deduced in the same ways as in classical logic, for example, for implication, if it is represented in disjunctive normal form. With the functional approach, any compound utterance is considered undetermined if the utterance is composed of a set of utterances among which there is at least one with no truth value. For the analysis of compound utterances with empty definite descriptions, a suitable tool was found – the non-classical logic TL described by Georg Henrik von Wright. TL contains three types of statements: true, false and indefinite, i.e. without a truth value. Wright defines TL with truth tables for negation and conjunction. At the same time, Wright admits two possible truth tables for the conjunction in TL. The truth tables for the remaining logical connectives in TL are constructed in the same way as in

classical propositional logic. It is shown that the first and second conjunction truth tables in TL satisfy the “lazy evaluation” approach and the functional approach, respectively. An argument is presented in favour of the “lazy evaluation” approach as more consistent with the intuition of native speakers based on a scenario where lawyers are required to determine whether a certain utterance contains slander (which would mean the utterance is false) if this statement refers to a non-existent person (“the current king of France”). It is shown that in such a scenario native speakers think more in the spirit of the first approach than the second one.

Keywords: definite descriptions, theory of descriptions, truth-logic

For citation: Kononov A.N. (2023) Truth values of compound utterances with empty definite descriptions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 13–20. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/2

Введение

Уже несколько десятилетий продолжаются дискуссии вокруг проблемы наличия истинностных значений у высказываний (здесь и далее считаем, что высказывание – это произнесение или воспроизведение (utterance) некоторого предложения (sentence) естественного языка в заданном контексте), содержащих пустые определенные дескрипции, т.е. дескрипции без денотата. Такие дескрипции описывают несуществующие объекты. Естественно предположить, что высказывания о несуществующих объектах не могут быть истинны, но непонятно, можно ли при этом все подобные высказывания однозначно рассматривать как ложные. В аналитической философии языка представлены две основные позиции в отношении этого вопроса – расселианская и стросонианская [1; 2. Р. 67–73, 94–96].

Бертран Рассел и его последователи рассматривали все высказывания с дескрипциями как экзистенциальные. То есть, например,

Нынешний король Франции лыс (1)
по Расселу означает то же самое, что и

Существует объект, являющийся нынешним королем Франции, и что бы ни было королем Франции, оно является этим объектом, и этот объект лыс. (2)

Видно, что если в расселианском парафразе содержится утверждение о существовании такого объекта, как нынешний король Франции, то и сам парафраз, и исходное высказывание, будучи семантически эквивалентными (по Расселу), являются ложными [3].

Питер Стросон в отличие от Рассела решал указанную проблему по-иному. Во-первых, не все высказывания обыденного языка обязательно истинны или ложны. Вопреки рассуждениям Рассела, высказывания об определенных несуществующих объектах вовсе не рассматриваются носителями естественного языка как ложные. Скорее у них просто нет истинностного значения, поскольку условия для этого не соблюдены. Во-вторых, утверждение о существовании входит не в само высказывание, а в его пресуппозицию [4].

В ходе диспута между сторонниками расселианства и стросонианства происходила борьба за языковую интуицию. Представители обеих сторон предлагали друг другу примеры высказываний обыденного языка, которые не укладывались в языковые теории противоположной стороны [1; 2. Р. 94–96; 5. Р. 245; 6]. Расселианцы указывали на высказывания с пустыми определен-

ными дескрипциями, которые тем не менее явно обладают истинностными значениями. Например,

Я не являюсь королем Франции, (3)

что, очевидно, истинно, поскольку автор этих строк действительно не является монархом какой-либо страны.

В попытке объяснить эти несоответствия стросонианцы выделили два способа употребления дескрипций: аргументный и предикативный. В примере выше дескрипция *король Франции* используется предикативно, а в этом случае высказывание может иметь истинностное значение, даже если используемая в нем дескрипция пустая [5. Р. 251; 7].

Мы со своей стороны, стоя на стросонианских позициях, предлагаем рассмотреть класс высказываний, которые, вероятно, могут представлять некоторые затруднения для стросонианцев, и свои возможные решения этих затруднений в рамках стросонианства.

Составные высказывания и высказывания без истинностного значения

Высказывания могут быть элементарными или составными. Элементарные высказывания обычно представляют собой произнесения простых предложений. Самые распространенные примеры составных высказываний – это высказывания сложеносочиненных предложений, составленных из простых предложений с помощью союзов *и* (*хотя*, *а* и пр.) и *или* (*либо*), что соотносится с логическими операциями конъюнкции и дизъюнкции. Существуют правила вывода истинностного значения дизъюнктивных и конъюнктивных высказываний в классической пропозициональной логике.

Нам интересен вопрос: как носитель языка определяет истинностное значение составного высказывания (например, дизъюнктивного или конъюнктивного), если одна из частей высказывания (дизъюнкт или конъюнкт соответственно) не имеет истинностного значения?

К примеру, некая девушка по имени Летисия (супруга реально существующего нынешнего короля Испании Филиппа VI) любит нынешнего испанского монарха. При этом кто-то произносит:

Летисия любит короля Испании или любит короля Франции. (4)

Первый дизъюнкт истинен (во всяком случае, мы можем просто предположить это). Но второй – нет. Каково истинностное значение всей дизъюнкции (4)?

Существует огромное количество высказываний, рассматриваемых по тем или иным причинам как не имеющие истинностного значения [8]. Таковыми являются не только высказывания с пустыми дескрипциями, но и высказывания с пустыми именами («Пегас бел и крылат»), высказывания о будущих событиях («Завтра будет сухопутное сражение»), высказывания с предикатом, не применимым к субъекту («Простые числа пахнут розой»), и пр.

Однако несмотря на то, что заявленный вопрос намного шире проблематики дескрипций, задать его в рамках полемики между расселианцами и стросонианцами нам кажется вполне уместным.

Для расселианцев выполняется принцип бивалентности: каждое высказывание либо истинно, либо ложно. В этом случае если высказывание с пустой дескрипцией имеет истинностное значение, то нет никаких препятствий

для соединения его с другими высказываниями, обладающих определенными истинностными значениями, и истинность составного высказывания определяется законами классической пропозициональной логики.

Не так дела будут обстоять у стросонианцев. Стросон и его последователи настаивают, что в естественном языке существуют высказывания без истинностного значения. Таковыми они считают высказывания с пустыми дескрипциями. В этом случае мы не можем обойтись одними только средствами классической логики высказываний. Поэтому обозначенный нами выше вопрос актуален для стросонианства.

Возможные решения в рамках двух подходов

Стросон, обосновывая свои тезисы, следовал лингвистическому дескриптивизму, т.е. старался описывать язык как он есть и обращать внимание на языковую интуицию говорящего [4. Р. 333]. Мы будем следовать этому же принципу языковой интуиции. Тогда в соответствии с нашей интуицией какое истинностное значение у дизъюнкции (4)? А если бы рассматривалось похожее высказывание с конъюнктивной связкой

Летисия любит короля Испании и любит короля Франции, (4*)
истинностное значение в этом случае было бы иным?

Здесь, как нам кажется, наша интуиция колеблется между двумя возможными решениями. Рассмотрим их по очереди.

Первое решение восходит к ленивым вычислениям – вычислительной парадигме в некоторых языках программирования. Его можно условно назвать програмистским решением. Обычно, если нам требуется вычислить истинностное значение какой-либо длинной дизъюнкции, то в случае обнаружения программой среди дизъюнктов хотя бы одного истинного, она автоматически присваивает истину всей дизъюнкции, пропускает остальные дизъюнкты и переходит к следующей команде. Аналогично для конъюнкции: при наличии хоть одного ложного конъюнкта, все дальнейшие пропускаются, и конъюнкции присваивается ложь.

Такая работа программы полностью согласуется с классической логикой высказываний. Добавление среди конъюнктов или дизъюнктов высказываний без истинностного значения или (будем считать, что это одно и то же) высказываний с неопределенным истинностным значением не меняет описанные выше правила. Однако если среди остальных дизъюнктов (конъюнктов) нет истинного (ложного), то все составное высказывание считается неопределенным. Если предположить, что естественный язык устроен схожим образом, то высказывание (4) будет истинным, а высказывание (4*) не будет иметь истинностного значения.

Но возможен другой подход. Условно назовем его функциональным или математическим. Как известно, необходимым условием определенности математической функции является определенность всех ее аргументов. Тогда, если хотя бы один из операндов дизъюнкции или конъюнкции не определен, то и операция не определена. Тогда оба высказывания, (4) и (4*), будут неопределенными, т.е. без истинностного значения.

Логика истины Вригта

Итак, в зависимости от принимаемого нами подхода, какие будут таблицы истинности для составных высказываний, в чей состав входят элементарные высказывания без истинностного значения? К счастью, этот вопрос уже вполне проработан в литературе.

Логик Георг Хенрик фон Вригт описал в своей работе «Логика истины» три неклассические логики, нарушающие принцип бивалентности: TL, T'L и T"L. Нас интересует первая логика Вригта TL, в которой высказывания бывают трех типов: истинные, ложные и без истинностного значения, т.е. ни истинные и ни ложные одновременно [8].

Вригт составляет для каждой своей логики таблицы истинности отрицания и конъюнкции, справедливо полагая, что для остальных логических связей таблицы истинности легко выводятся на основе этих двух.

Таблица для отрицания состоит из трех строк и вполне очевидна:

Таблица 1. Таблица истинности для отрицания в TL

p	$\sim p$
1	-1
-1	1
0	0

Здесь и далее цифрой 1 обозначено «истинно», -1 – «ложно», а 0 – «неопределенно».

Однако уже для конъюнкции Вригт предлагает два варианта таблицы истинности. Ниже представлен первый вариант таблиц истинности для конъюнкции и дизъюнкции (последняя составлена на основе вригтовских таблиц отрицания и конъюнкции):

Таблица 2. Таблицы истинности для конъюнкции и дизъюнкции в TL при подходе «ленивых вычислений»

p	q	$p \&_1 q$	$p \vee_1 q$
1	1	1	1
1	0	0	1
1	-1	-1	1
0	1	0	1
0	0	0	0
0	-1	-1	0
-1	1	-1	1
-1	0	-1	0
-1	-1	-1	-1

Здесь и далее индексы при символах логических связей обозначают вариант TL.

Из табл. 2 хорошо видно, что конъюнкция и дизъюнкция в этом варианте вригтовской логики соответствует функциям минимума и максимума на множестве $\{-1, 0, 1\}$, подобно тому, как это имеет место для классических конъюнкции и дизъюнкции на множестве $\{0, 1\}$. В этой логике если хотя бы один конъюнкт ложен, то вся конъюнкция ложна независимо от значений другого конъюнкта; в то же время точно так же, если хотя бы один дизъюнкт истинен, то вся дизъюнкция истинна. Это соответствует описанному нами выше программистскому подходу «ленивых вычислений».

Второй вариант таблицы истинности TL для тех же функций выглядит следующим образом:

Таблица 3. Таблицы истинности для конъюнкции и дизъюнкции в TL при функциональном подходе

p	q	$p \&_2 q$	$p \vee_2 q$
1	1	1	1
1	0	0	0
1	-1	-1	1
0	1	0	0
0	0	0	0
0	-1	0	0
-1	1	-1	1
-1	0	0	0
-1	-1	-1	-1

В этом варианте если у одного из операндов нет истинностного значения, то логическая операция не определена и не выдает истинностное значение. Это соответствует нашему функциональному или математическому подходу.

Чтобы яснее увидеть разницу между обеими парадгмами, мы можем вывести все различия между вариантами TL в отдельную таблицу:

Таблица 4. Таблицы истинности для конъюнкции и дизъюнкции в TL при подходе «ленивых вычислений» (индекс 1) и функциональном подходе (индекс 2)

p	q	$p \&_1 q$	$p \vee_1 q$	$p \&_2 q$	$p \vee_2 q$
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	-1	-1	0	0	0
-1	0	-1	0	0	0

Какому же подходу отдает предпочтение сам Вригт? Вригт признается, что вопрос выбора подхода ему не интересен [8. С. 566]:

«Я сомневаюсь, что можно сказать, какая из двух таблиц... лучше отвечает нашим „интуициям“. Насколько я могу судить, выбор одной из них вообще не имеет важных „философских“ следствий».

Таким образом Вригт, описав оба подхода определения истинностных значений составных высказываний, вопрос о предпочтительности какого-то из них для лучшего согласования с языковой интуицией оставляет открытым.

Тяжба президента со стросонианцами из редакции

Чтобы определиться с выбором подхода поиска истинностных значений составных высказываний, мы предлагаем рассмотреть следующую вымышленную ситуацию.

Предположим, что некоторая французская газета публикует новость с таким провокационным заголовком:

Макрон целовался с королем Португалии! (5)

Представим, что нынешнему президенту Франции попала в руки эта газета и он принимает решение подать в суд на редакцию газеты за клевету.

Однако поскольку все работники этой редакции были стросонианцами, они возражают Макрону, утверждая, что клевета не могла иметь место. Ведь они писали о несуществующем объекте – короле Португалии (напомним, что сейчас Португалия – республика). Следовательно, само их высказывание в

заголовке не может иметь истинностного значения, а значит оно не может быть ложным. В этом случае клевета не может иметь место, ведь она основана на лжи.

Нам кажется, что в этом случае решение суда не будет очевидным. Вполне может быть, что в итоге суд вынесет решение в пользу Макрона, но перед этим ему придется тщательно продумать и обосновать свое решение.

Рассмотрим иную ситуацию. Предположим, что газета опубликовала иной заголовок:

Макрон целовался с королем Португалии, хотя влюблен в короля Испании! (6)

Данный текст представляет собой конъюнкцию двух высказываний, первое из которых, то самое (5), не может по Стросону иметь истинностное значение, тогда как второе должно иметь его, ведь Филипп VI существует, и тогда нынешний президент Франции либо влюблен в него, либо не влюблен.

В этой ситуации у Макрона и суда вряд ли возникнут затруднения, подобные тем, какие могли бы быть в случае элементарного высказывания (5) о короле Португалии. Президент может просто проигнорировать трудную первую часть предложения (6) о несуществующем короле и обратить весь свой гнев только на вторую часть (6). Конкретно по этой части высказывания (при условии, что редакция газеты не сможет предоставить никаких доказательств ее истинности) суд, вероятнее всего, вынесет решение в пользу Макрона.

Этот вымышленный пример ясно показывает, что в таких жизненных ситуациях мы не склонны оценивать все конъюнктивное высказывание, подобное (6), в целом как неопределенное, если считаем, что один из его конъюнктов ложен; мы придаем ему истинностное значение «ложь», даже если другой конъюнкт в этом случае не определен. Это значит, что наш выбор был бы сделан скорее в пользу «ленивых вычислений», а не функционального подхода. Следовательно, подход «ленивых вычислений» лучше описывает нашу языковую интуицию.

Заключение

Таким образом на основе всего вышеизложенного мы можем сделать несколько выводов:

1. В рамках стросонианства определение истинностных значений дизъюнктивных или конъюнктивных высказываний, содержащих пустые дескрипции, а потому не имеющих истинностного значения, возможно при двух подходах – подходе «ленивых вычислений» и функциональном подходе.

2. Подход «ленивых вычислений» состоит в том, что:

а) если хотя бы один из конъюнктов ложен, то вся конъюнкция ложна; в противном случае если среди конъюнктов есть хотя бы один без истинностного значения, то конъюнкция не имеет истинностного значения;

б) если хотя бы один из дизъюнктов истинен, то вся дизъюнкция истинна; в противном случае если среди дизъюнктов есть хотя бы один без истинностного значения, то вся дизъюнкция не имеет истинностного значения.

3. Функциональный подход состоит в том, что если у составного высказывания хотя бы одно из составляющих его элементарных высказываний без

истинностного значения, то само составное высказывание не имеет истинностного значения.

4. Нашей языковой интуиции больше соответствует подход «ленивых вычислений».

Список источников

1. Ludlow P. Descriptions // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2021. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/descriptions/> (accessed: 07.09.2022).
2. McGinn C. Philosophy of Language : the classics explained. The MIT Press, 2015. P. 226.
3. Russell B. On Denoting // Mind. 1905. Vol. 14, № 56. P. 479–493.
4. Strawson P.F. On Referring // Mind. 1950. Vol. 59, № 235. P. 320–344.
5. Ramachandran M. Descriptions and Presuppositions: Strawson vs. Russell // South African Journal of Philosophy. 2008. Vol. 27, № 3. P. 242–257. doi: 10.4314/sajpem.v27i3.31515
6. Ramachandran M. Descriptions with an Attitude Problem // The Philosophical Quarterly. 2009. Vol. 59, № 237. P. 721–723. doi: 10.1111/j.1467-9213.2009.616.x
7. Coppock E., Beaver D. Weak Uniqueness: The Only Difference Between Definites and Indefinites // Proceedings of SALT. 2012. 22.
8. Вригт Г.Х. фон. Логика истины // Логико-философские исследования: Избранные труды / ред. Г.И. Рузавина и В.А. Смирнова. М. : Прогресс, 1986. С. 555–579.

References

1. Ludlow, P. (2021) Descriptions. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/descriptions/> (Accessed: 7th September 2022).
2. McGinn, C. (2015) *Philosophy of Language: The classics explained*. The MIT Press. p. 226.
3. Russell, B. (1905) On Denoting. *Mind*. 14(56). pp. 479–493.
4. Strawson, P.F. (1950) On Referring. *Mind*. 59(235). pp. 320–344.
5. Ramachandran, M. (2008) Descriptions and Presuppositions: Strawson vs. Russell. *South African Journal of Philosophy*. 27(3). pp. 242–257. DOI: 10.4314/sajpem.v27i3.31515
6. Ramachandran, M. (2009) Descriptions with an Attitude Problem. *The Philosophical Quarterly*. 59(237). pp. 721–723. DOI: 10.1111/j.1467-9213.2009.616.x
7. Coppock, E. & Beaver, D. (2012) Weak Uniqueness: The Only Difference Between Definites and Indefinites. *Proceedings of SALT*. 22.
8. Wright, G. H. von (1986) Logika istiny [The Logic of Truth]. In: Ruzavina, G.I. & Smirnova, V.A. (eds) *Logiko-filosofskie issledovaniya: Izbrannye trudy* [Logical and Philosophical Research: Selected Works]. Moscow: Progress. pp. 555–579.

Сведения об авторе:

Коновалов А.Н. – аспирант кафедры онтологии, теории познания и методологии науки Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия). E-mail: k-dmf@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kononov A.N. – postgraduate student of the Department of Ontology, Theory of Cognition and Methodology of Science, Institute for the Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: k-dmf@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 30.09.2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 30.09.2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 18

doi: 10.17223/1998863X/71/3

ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ ОБМАНОВ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Даниил Игоревич Небольсин

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия, daniil.nebolsin@gmail.com*

Аннотация. Рассматривается, какими средствами и насколько успешно аналитические теоретики изображений раскрывают проблему визуальных обманов. Выясняется, что при всем методологическом разнообразии и полезном прояснении важных аспектов обманов, большинство авторов редуцируют проблему *trompe-l'œil* к проблеме иллюзии. Как следствие, они упускают из виду важные для анализа этого примера проблемы темпоральности, пространственной локализации, невизуальной активности реципиента и художественных импликаций восприятия изображений.

Ключевые слова: аналитическая философия, изобразительная репрезентация, теория образа, иллюзия, изображение, восприятие

Для цитирования: Небольсин Д.И. Проблема визуальных обманов в аналитических теориях изобразительной репрезентации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 21–28. doi: 10.17223/1998863X/71/3

Original article

THE TROMPE-L'ŒIL PROBLEM IN ANALYTIC THEORIES OF PICTORIAL REPRESENTATION

Daniil I. Nebolsin

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
daniil.nebolsin@gmail.com*

Abstract. The article is dedicated to the reconstruction and criticism of the methodological features of the analysis of the illusionist pictures (*trompe-l'œil*) problem by representatives of various stands of analytic philosophy of depiction. As a rule, representatives of this theoretical school develop theories that aim to give as broad explanatory coverage as possible, so dealing with “borderline” and complex examples of pictures is crucial for them. At the same time, in their analysis of *trompe-l'œil*, they focus on the first stage of their perception – the stage of delusion. It turns out that this class of depictions is the most problematic for theories that explain visual representation through the specifics of image perception: the best example is found in Richard Wollheim’s approach, where visual illusions are not recognized as representational pictures at all. On the other hand, representatives of structural theories tend to leave out the important features of this class of depiction, which allowed it to gain a distinctive cultural status. An interesting alternative is offered by Dominic M. Lopes and Bence Nanay, who emphasize the diversity of ways of perceiving images: in their theories, delusion is not a mandatory and inevitable way of perceiving *trompe-l'œil*. Interestingly, all of these approaches underestimate the importance of the temporal aspect of image understanding, which is important even in less complex and controversial cases. Among other factors necessary for a comprehensive analysis of the problem of *trompe-l'œil*, the spatial, bodily and contextual aspects of pictorial perception, as well as the problem of their non-referential content, are highlighted. In addition, the approaches under consideration (with an important exception of Gombrich) practically do

not specify that the production and exposition of “classical” trompe-l'œil is an artistic practice in which ideas of authorship and skill are always in the foreground. As a consequence, the heuristic value of the issue of trompe-l'œil is not just in helping to test the explanatory potential or validity of a particular theory, but also in identifying some limitations of the methodological apparatus of analytic philosophy of depiction.

Keywords: analytic aesthetics, pictorial representation, depiction, image theory, illusion

For citation: Nebolsin D.I. (2023) The trompe-l'œil problem in analytic theories of pictorial representation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 21–28. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/3

Существует множество направлений исследований визуальности и обманности, и аналитическая философия изображений выделяется среди них стремлением как можно более убедительно объяснить максимальный спектр разновидностей визуальной репрезентации. Поэтому рассмотрение пограничных и сложных случаев оказывается для этой школы особенно важной задачей. Ниже будет рассмотрено, как представители разных подходов в аналитической философии изображений анализируют визуальные обманки, представляющие собой классический пример таких сложных случаев.

В данном контексте под обманками подразумеваются те изображения, которые провоцируют перцептивную иллюзию и интерпретируются смотрящим как «сами» предметы, а не их репрезентации. Примеров подобного рода множество, но в дискуссиях в рамках философии изображений обычно фигурируют только «классические» trompe-l'œil барочного периода, т.е. либо живописные натюрморты, либо иллюзионистские (чаще всего потолочные) росписи Андреа Поццо, Пьетро да Кортоны и других авторов (стоит уточнить, что сам термин получил распространение лишь в первой половине XIX в.). Если воспользоваться описанием, предложенным Бенсем Нэнэем, в большинстве случаев восприятие «классических» обманок разворачивается следующим образом: «...это темпорально сложный процесс. Обычно происходит следующее: мы смотрим на картину, ошибочно думаем, что видим изображенную вещь – а потом понимаем, что нас обманули, и воспринимаем картину как trompe-l'œil – как картину, которая секундой ранее заставила нас думать, что мы видели изображенную вещь. Даже после этого этапа зачастую можно обратиться к картине таким образом, чтобы снова пережить иллюзию – еще раз ненадолго забыть, что мы видим картину, а не изображенную вещь лицом к лицу» [1. Р. 182]. Философам изображений здесь интересна первая стадия – стадия визуального «обмана». Именно этот этап рецепции trompe-l'œil заставляет поставить следующий вопрос: возможна ли теория изобразительной репрезентации, применимая к обманкам в той же степени, что и к более привычным примерам изображений, но при этом не упускающая из виду их нестандартный статус?

Трудно не заметить, что trompe-l'œil – «периферийный» класс визуальных репрезентаций, образцы которого немногочисленны. При этом представители аналитической философии изображений практически не анализируют конкретные примеры обманок, используя стереотипический «идеал» trompe-l'œil в качестве отправной точки для мысленного эксперимента. Но гораздо чаще обманки упоминаются в ходе критики тех или иных теорий: это своего рода «контрольный тест» на их применимость к максимальному количеству типов изображений.

Стоит сразу уточнить, что для некоторых представителей философии изображений данная проблема не вполне актуальна. Это в первую очередь касается Нельсона Гудмена и его последователей: отстаивая структурный подход к изобразительной репрезентации, они рассматривают изображения по модели символа, принадлежащего определенной символической системе [2]. При этом семантические и синтаксические характеристики конкретного изображения зависят от особенностей символической системы, а его понимание практически полностью определяется тем, насколько данная система привычна реципиенту (поэтому, по мнению Гудмену, «ядром» изобразительной репрезентации оказывается денотация, хотя референциальные особенности изображений обычно не ограничиваются ею). В этой перспективе изображения трактуются в обход их визуального восприятия, что позволяет философу сконцентрироваться на их «грамматике» и прагматике.

Случай *trompe-l'œil* наиболее «щекотлив» для подходов, объясняющих визуальную репрезентацию через специфику восприятия изображений. Здесь хрестоматийным примером служит теория Ричарда Уоллхейма [3]. Она основана на двух тезисах. Во-первых, восприятие изображений структурно отличается от обыденного восприятия или пропозиционального («аспектного») «видения-как» (*seeing-as*) и может быть описано по модели «видения-в» (*seeing-in*), т.е. видения объекта, события или положения дел *в* поверхности изображения. Во-вторых, восприятие изображений отличает такое феноменологическое свойство, как двусложность (*twofoldness*): мы одновременно видим и двухмерную поверхность изображения, и его трехмерный объект. Оба тезиса, очевидно, не применимы к обманкам: последние воспринимаются не как репрезентации, а как сами предметы и «скрывают» свой плоскостной характер. Столкнувшись с этой сложностью, Уоллхейм заявил, что *trompe-l'œil* не могут считаться изображениями в собственном смысле слова [4]. Этот тезис был воспринят большинством критиков как неоправданно радикальный, и споры вокруг него существенно поспособствовали росту интереса представителей аналитической философии изображений к *trompe-l'œil*. Он действительно представляется контринтуитивным, но стоит уточнить, что его точная формулировка такова: *trompe-l'œil* не являются *репрезентационными* изображениями. Чтобы считаться репрезентацией, изображение должно продуцировать автономные пространственные отношения, которые не эквивалентны как «метрическим» характеристикам поверхности, так и воспринимаемым характеристикам «самого» изображенного объекта [5]. *Trompe-l'œil* же лишены подобной перцептивной асимметрии в отношении «обыденного» пространства и референта: «Они стимулируют наше осознание глубины, но таким образом, чтобы сбить наше внимание к меткам на поверхности» [4. Р. 62].

Достаточно продуктивное уточнение теории Уоллхейма предложила Сьюзен Л. Фигин: по ее версии, *trompe-l'œil* относятся к *презентациям* [6]. «Маскируя» свою искусственность, обманки могут считаться изображениями в силу особенностей их обращения, но не могут считаться репрезентациями, поскольку функция последних – представлять свой объект, придавая ему те или иные свойства. В функциональном отношении обманки являются презентациями, «показывающими» себя как что-то другое. Это, как отмечает Роберт Брискоу, функция замещения или субституции, что хорошо видно на примерах *trompe-l'œil* элементов архитектуры вроде пилястр [7. Р. 67]. Фигин пола-

гает, что презентационная и репрезентационная функции могут не исключать друг друга «хотя бы потому, что высокая степень успешности в первой сопоставима с успехом в последней» [6. Р. 237]. Но в целом особенности восприятия и оценки презентаций не совпадают с тем, как мы относимся к репрезентационным изображениям – слишком существенна разница между их функциями.

Несмотря на эти нюансы и уточнения, дискуссии вокруг теории Уоллхейма в основном затрагивают проблему специфики опыта восприятия изображений. В рамках этих дискуссий Уоллхейму чаще всего противопоставляется «иллюзионистский» подход, восходящий к работам Эрнста Гомбриха. Наиболее цитируемый в работах по философии изображений тезис из его книги «Искусство и иллюзия» практически противоположен идее Уоллхейма: одновременное восприятие трехмерного изображенного предмета и поверхности изображения невозможно, потому что оно было бы совмещением двух противоречащих друг другу интерпретаций [8. Р. 225]. Было бы поспешным решением полагать, что для Гомбриха *trompe-l'œil* в «классическом» смысле являются образцом изображений как таковых (на эту роль в его теории претендуют скорее оп-арт и художники вроде М.К. Эшера) [9]. Любое изображение неопределенно: подобно пятнам Роршаха, оно может быть понято потенциально неограниченным количеством способов. Однако мы интерпретируем его как однозначное и не предполагающее альтернативных прочтений. Важно, что такая интерпретация обуславливается ментальной установкой (*mental set*), которая включает в себя привычки, воспоминания, ожидания и все, что может регулировать реакцию на окружающий мир. И именно значимость проекции ожиданий реципиента на неопределенный объект позволяет говорить об «иллюзии» как конститутивном факторе восприятия изображений. В этом плане *trompe-l'œil* выступают как «вершина визуальной неопределенности» [8. Р. 222]. Гомбрих подчеркивает, что восприятие изображений неизбежно включено в контекст обыденного взаимодействия с миром, и поэтому иллюзии такого рода исключительно редки: «мы редко демонстрируем изображения в раешниках или кинетоскопах, и стоит нам подвинуться, как иллюзия должна исчезнуть, ведь вещи в натюрморте не передвинутся по отношению друг к другу» [Ibid.].

Доминик М. Лопес тоже указывает на важность понимания обыденного восприятия для разработки теории изображений, но концентрируется на способности распознавания [10, 11]. Основной аргумент в пользу этого подхода таков: было бы по меньшей мере странно упускать из виду столь широко используемую способность, позволяющую узнавать знакомых прежде людей даже после того, как их лица претерпели существенные изменения спустя многие годы. Участие этой способности в актах восприятия изображений практически неизбежно, тем более что процессы распознавания не концептуальны и не осознаваемы человеком в полной мере. Лопес отчасти солидаризуется с предложенной Уоллхеймом концепцией видения-в, но указывает на вариативность последнего: восприятие изображений может быть в разных случаях натуралистским, псевдодвусложным, двусложным, актуалистским либо характерным для *trompe-l'œil* – причем в ряде случаев некоторые из них могут сочетаться друг с другом [11. Р. 28–45]. Последний, «обманочный», тип встречается достаточно редко и, в общем-то, предполагает распознавание изображенного предмета без понимания того, что это именно изображение.

В контексте теории Лопеса такая трактовка ведет к выводу о том, что «каталогизирующее» отнесение изображения к классу *trompe l'œil* не определяет того, каким именно образом оно будет распознано: по большому счету, признание за *trompe-l'œil* «исключительности» основано на генерализации отдельных и в конечном счете контингентных случаев их восприятия.

Наиболее сциентистский подход к рассматриваемой проблеме был предложен Бенсем Нэнэем [1]. Он отталкивается от (опять-таки) теории видения-в и двусложности Уоллхейма и совмещает ее с широко обсуждаемой в нейронауках и психологии восприятия теорией двух путей обработки визуальной информации: вентрального (завершающегося в нижневисочной коре и отвечающего за зрительную, «квази-фотографическую» репрезентацию окружающей среды) и дорсального (завершающегося в заднетеменной коре и обеспечивающего пространственную ориентацию человеческого тела в окружающей среде) [12, 13]. В обычных случаях материальная поверхность изображений репрезентируется дорсальным путем, а репрезентационное содержание – вентральным. Но в случае с *trompe-l'œil* дорсальная система репрезентирует также и содержание изображения, тем самым помещая изображенный объект или сцену в пространство смотрящего. Согласно этой объяснительной стратегии, восприятие обманок оказывается одновременно схожим с восприятием обычных изображений (в случае с ними некоторый трехмерный образ формируется на основе соответствующего двухмерного предмета) и отличным от них (формируемый обманками образ не выделяется перцептивно из массы и потока других предметов в пространстве). Как и Лопес, Нэнэй пишет именно о типах видения, не проясняя, почему же *trompe-l'œil* как объекты провоцируют обсуждаемую иллюзию.

Большинству рассмотренных выше теоретиков интересна стадия иллюзии, а не комплексный опыт восприятия *trompe-l'œil*, позволяющий затронуть проблему темпорального характера восприятия и интерпретации изображений. Даже «базовое» понимание последних может оказаться протяженным во времени и стадийным процессом. В этом легко убедиться, открыв в мониторе компьютера композиционно усложненное и насыщенное деталями изображение (например, «Феномен» Челищева) и сразу же закрыв его после секундного просмотра. Столь ограниченного времени будет достаточно, чтобы распознать изображение определенного рода (фигуративную картину, а не фотографию или коллаж), обладающее рядом особенностей (к примеру, определенной цветовой гаммой, перенасыщенностью мелкими деталями и т.д.). Но его будет недостаточно, чтобы сориентироваться в изображении в той степени, которая позволила бы впоследствии актуализировать его в памяти либо вынести приблизительное (опять-таки не претендующее на иконографическую компетентность) суждение о его фигуративном содержании. Если вспомнить приведенное в начале статьи описание Б. Нэнэем механики восприятия «классических» *trompe-l'œil*, то легко заметить, что они также предполагают сравнительно длительный акт восприятия, стадии которого дисконтинуальны друг другу. И концентрация исследовательского внимания лишь на первой из этих стадий (при всей ее необычности) не только приводит к неполноте теоретического объяснения обманок, но и отрывает это объяснение от теории репрезентаций в целом, ведь последняя должна быть релевантной не только первому или последнему моменту столкновения с изображением.

ем. Кроме того, это ограничение стадией иллюзии сразу же уводит от вопроса о том, как и почему эта стадия сменяется стадией понимания зрителем того, что он имеет дело с визуальной репрезентацией, а не, к примеру, с зачем-то прикрепленным к стене писчебумажным набором с открыткой и шкатулкой.

Эти проблемы также актуализируют пространственный, телесный и контекстуальный аспекты восприятия изображений. Вспомним важный акцент, по-разному проставленный в теориях Гомбриха и Нэнэ: для срабатывания иллюзии необходимо не только обманывающееся зрение, но и сенсомоторный аппарат. В большинстве своем представители аналитической философии изображений игнорируют контекст восприятия (под которым в данном случае подразумевается материальное окружение и невизуальная активность смотрящего), однако для объяснения *trompe-l'œil* недостаточно теории «музейного» восприятия изображений, ведь обычно они производят эффект иллюзии лишь в определенных сконструированных условиях. В большинстве случаев возможность обмана чувств обеспечивается крайне узким выбором изображаемых в *trompe-l'œil* объектов и специально подобранным экспозиционным контекстом. Это поднимает вопрос о том, не являются ли практики обращения с *trompe l'œil* более важными для их объяснения, чем их структурные или перцептивные характеристики.

Кроме того, в рассматриваемых подходах (за важным исключением в лице Гомбриха) практически нет уточнений того, что производство и экспозиция «классических» *trompe-l'œil* – это художественная практика, имплицитно доводящая до зрителя сложную установку, накладываемую зрителем поверх акта восприятия и заметным образом трансформирующую представление о самом моменте иллюзии. Как замечает Джон Хаймен, настоящая цель «обманок» – вывести на передний план мастерство и виртуозность художника [14. Р. 132]. Когда зритель понимает, что перед ним не скрипка, бусы, виноградина и сверток бумаги, а изображение с соответствующими предметами, он не только предается удивлению, но и (если дело происходит в барочную эпоху, хотя подобное развитие событий нередко и в наши дни) неизменно задумывается об авторе этой обманки или мастерстве одного – и с этого момента его отношение к данной обманке будет в существенной, если не в преимущественной степени определено его эстетическими, культурными и иными воззрениями, а также спецификой полученного им образования и прочими факторами, внеположными самой обманке. В большинстве случаев привлечение эстетической или художественной проблематики существенно ограничивает теории изображений, но здесь можно наблюдать случаи, когда понимание последних было бы бесполезно трактовать в связке с тем, как они производятся, используются и – что важно не в последнюю очередь – оцениваются.

Стоит затронуть еще один значимый вопрос: отличаются ли *trompe-l'œil* от других изображений в плане их содержания? Здесь требуется небольшое уточнение: во многих теориях визуальной репрезентации под содержанием подразумевается не фигуративный компонент изображения и не совокупность его референтов, а «те свойства, которые изображение приписывает своему предмету в репрезентации» [10. Р. 4]. Такая семантическая функция изображений не может быть сведена ни к обозначению некоторого предмета или положения дел, ни к нейтральным «стилистическим» характеристикам: изображения – не столько визуальные репрезентации чего-либо, сколько ви-

зуальные интерпретации того, что они представляют. Содержание изображений, как правило, асимметрично по отношению к содержанию опыта обыденного восприятия, ведь репрезентации могут придавать предмету любые визуальные свойства, которых в обыденной практике увидеть невозможно. Специфично ли изобразительное содержание обманок? Вместо образца необыкновенно удачного мимемиса *trompe-l'œil* скорее являют пример габитуализированного изобразительного содержания, помещенного в такие пространственные условия, где оно может быть не распознано зрителем в качестве изобразительного содержания, поскольку все свойства, придаваемые им предметам, полностью предсказуемы и хорошо знакомы – как и способы придачки этих свойств, понимание которых стало культурным перцептивным рефлексом.

Как правило, представители аналитической философии изображений стараются разработать теории изобразительной репрезентации, выстроенные на основе оригинального концепта или единого объяснительного принципа и при этом претендующие на универсальный охват. Такая стратегия редко ведет к дальнейшему развитию предлагаемых гипотез, а также зачастую не дает возможности одновременно принять в расчет все теоретические сложности, возникающие при анализе изображений и, в частности, обманок. Эвристическая ценность проблемы *trompe-l'œil* заключается не только в том, что она помогает проверить объяснительный потенциал или аргументированность той или иной теории, но и в том, что она позволяет выявить некоторую ограниченность методологического аппарата аналитической философии изображений. Вместе с тем последний вполне может быть расширен привлечением релевантных теорий и гипотез, предложенных в рамках других дисциплин и теоретических школ: к примеру, в психологии восприятия и когнитивных науках проблематика иллюзии (в том числе в изображениях) исследуется давно и внимательно, а для описания опыта восприятия изображений может оказаться полезным понятийный аппарат феноменологической философии. Можно предположить, что подобная открытость не навредит аналитической философии изображений, а предоставит новые возможности для более тщательной и многосторонней проработки проблем, интересных ее представителям.

Список источников

1. Nanay B. *Trompe l'oeil and the Dorsal/Ventral Account of Picture Perception* // *Review of Philosophy and Psychology*. 2015. Vol. 6, Is. 1. P. 181–197. doi: 10.1007/s13164-014-0219-y
2. Goodman N. *Languages of Art: An Approach to the Theory of Symbols*. Indianapolis : Bobbs-Merill Company, 1968.
3. Wollheim R. *Seeing-as, Seeing-in and Pictorial Representation* // *Art and its objects*. Cambridge : Cambridge University Press, 1980. P. 205–226.
4. Wollheim R. *Painting as an Art*. London : Thames and Hudson, 1987.
5. Wollheim R. *On Formalism and Pictorial Organization* // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 2001. Vol. 59, № 2. P. 127–137. doi: 10.1111/0021-8529.00013
6. Feagin S.L. *Presentation and Representation* // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 1998). Vol. 56, № 3. P. 234–240.
7. Briscoe R. *Depiction, Pictorial Experience, and Vision Science* // *Philosophical Topics*. 2016. Vol. 44, № 2. P. 43–81.
8. Gombrich E.H. *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. London : Phaidon Press, 1984.
9. Bantinaki K. *Pictorial Perception as Illusion* // *British Journal of Aesthetics*. 2007. Vol. 47, № 3. P. 268–279. doi: 10.1093/aesthj/aym007
10. Lopes D.M. *Understanding Pictures*. Oxford : Clarendon Press, 1996.

11. Lopes D.M. *Sight and Sensibility: Evaluating Pictures*. Oxford : Clarendon Press, 2007.
12. Milner D.M, Goodale M.A. *The Visual Brain in Action*. Oxford : Oxford University Press, 1995.
13. Matthen M. *Seeing, Doing, Knowing: A Philosophical Theory of Sense Perception*. Oxford : Oxford University Press, 2005.
14. Hyman J. *The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art*. Chicago : University of Chicago Press, 2006.

References

1. Nanay, B. (2015) Trompe l'oeil and the Dorsal/Ventral Account of Picture Perception. *Review of Philosophy and Psychology*. 6(1). pp. 181–197. DOI: 10.1007/s13164-014-0219-y
2. Goodman, N. (1968) *Languages of Art: An Approach to the Theory of Symbols*. Indianapolis: Bobbs-Merill Company.
3. Wollheim, R. (1980) *Art and Its Objects*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 205–226.
4. Wollheim, R. (1987) *Painting as an Art*. London: Thames and Hudson.
5. Wollheim, R. (2001) On Formalism and Pictorial Organization. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 59(2). pp. 127–137. DOI: 10.1111/0021-8529.00013
6. Feagin, S.L. (1998) Presentation and Representation. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 56(3). pp. 234–240.
7. Briscoe, R. (2016) Depiction, Pictorial Experience, and Vision Science. *Philosophical Topics*. 44(2). pp. 43–81.
8. Gombrich, E.H. (1984) *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. London: Phaidon Press.
9. Bantinaki, K. (2007) Pictorial Perception as Illusion. *British Journal of Aesthetics*. 47(3). pp. 268–279. DOI: 10.1093/aesthj/aym007
10. Lopes, D.M. (1996) *Understanding Pictures*. Oxford: Clarendon Press.
11. Lopes, D.M. (2007) *Sight and Sensibility: Evaluating Pictures*. Oxford: Clarendon Press.
12. Milner, D.M. & Goodale, M.A. (1995) *The Visual Brain in Action*. Oxford: Oxford University Press.
13. Matthen, M. (2005) *Seeing, Doing, Knowing: A Philosophical Theory of Sense Perception*. Oxford: Oxford University Press.
14. Hyman, J. (2006) *The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art*. Chicago: University of Chicago Press.

Сведения об авторе:

Небольсин Д.И. – преподаватель Школы философии и культурологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: daniil.nebolsin@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nebolsin D.I. – lecturer, School of Philosophy and Cultural Studies, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: daniil.nebolsin@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 16.02.2021;
одобрена после рецензирования 19.01.2022; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 16.02.2021;
approved after reviewing 19.01.2022; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 165

doi: 10.17223/1998863X/71/4

СМЫСЛ ЗНАКА И СМЫСЛ ЗНАЧЕНИЯ В ЭПИСТЕМОЛОГИИ¹

Игорь Дмитриевич Невважай

*Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия,
igornevv@gmail.com*

Аннотация. Показано эвристическое значение понятия смысла в эпистемологии. Вводится широкое понимание смысла как способа связи знака и предметного значения. Предложенное автором понятие смысла значения позволяет обосновать существование в логике не только пустых понятий, но и так называемых бессодержательных понятий. Демонстрируется регулятивная функция смыслов в возникновении знаков и формировании значений.

Ключевые слова: смысл знака, смысл значения, пустое понятие, бессодержательное понятие, выражение, интерпретация

Для цитирования: Невважай И.Д. Смысл знака и смысл значения в эпистемологии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 29–38. doi: 10.17223/1998863X/71/4

Original article

SENSE OF SIGN AND SENSE OF MEANING IN EPISTEMOLOGY

Igor D. Nevvazhay

Saratov State Academy of Law, Saratov, Russian Federation, igornevv@gmail.com

Abstract. The article shows the heuristic significance of the concept of sense in epistemology. It is difficult to overestimate the significance of Gottlob Frege's discovery of the concept of sense for semiotics. But Frege's definition of sense is limited in that it takes into account only one of two relations between the signifier and the signified. It is the relation of substitution, where the signifier expresses meaning. I propose that the Fregean definition of "sense of sign" be supplemented by a definition of "sense of meaning" which is related to the relation of the signifier pointing to the denotative. This introduces a broad understanding of sense as a way of relating sign and object meaning. Frege justified the existence of empty concepts in logic with the help of the introduced concept of sense. The concept of sense of meaning that I suggest allows substantiating the existence of so-called "non-content" (meaningless) concepts. The connection of two interpretations of sense with two basic functions of consciousness is shown: responsible consciousness provides expression, and intentional one provides interpretation. I consider interpretation and expression as the basic functions of consciousness of a subject of cognition as a concretization of the model of cognition, which was proposed by Ernst Cassirer. According to him, the logic of cognition includes the realization of the two most important actions that mediate the human attitude to the cognizing world: symbolization of the observed and giving of meaning to a symbol. Thus, the approach to understanding cognition developed in this article lies within the framework of enactivism, for which cognition is not a reflection in the subject's mind of the external world (as the dominant paradigm in cognitive science and epistemology –

¹ В основе статьи лежит доклад, представленный автором на пленарном заседании Международной научной конференции «Актуальные проблемы аналитической философии» (Томск, 11–12 ноября 2022 г.).

representationalism – claims), but a process of world formation by means of language-mediated interaction between human and the external environment. Therefore, the “given” always exists in relation to the subject and is either a meaning that must be expressed (it is necessary to find its sign, its name) or a sign that must be interpreted (it is necessary to find its meaning). There is no other “given”. The given exists only in relation to acts of consciousness as acts of discernment, that is, either an act of expression or an act of interpretation. Using examples from the history of physics, the heuristic significance of sense of empty concepts and non-content ones is shown, and the regulative function of sense in the emergence of signs and the formation of meanings is demonstrated.

Keywords: meaning of sign, meaning of meaning, empty concept, meaningless concept, expression, interpretation

For citation: Nevvazhay I.D. (2023) Sense of sign and sense of meaning in epistemology. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 29–38. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/4

Ограниченность фреговского определения смысла

Тема смысла неисчерпаема. Подходы к определению смысла жизни или смысла текста, например, будут разными. В предлагаемой статье рассматривается фреговский подход к определению смысла. В отличие от многих версий понимания смысла фреговская концепция обладает той конкретностью, которая позволяет фиксировать, опредмечивать смысл и оперировать им как понятием. Поэтому данный подход, на мой взгляд, наиболее пригоден для исследования динамических процессов возникновения и трансформации научного знания.

Как известно, согласно Г. Фреге, смысл определяется как **способ представления обозначаемого** [1]. Введение понятия смысла для Фреге оправдывалось, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, в математическом выражении $A = B$ знаки «А» и «В» – это не просто синонимы, обозначающие один и тот же предмет. Если бы это было так, то математические равенства были бы лишь фиксацией лингвистической синонимии. Но это не так. Разные символы, знаки могут иметь одно и то же предметное значение, но они имеют разный смысл и несут для субъекта разную информацию, знание о предмете. Так, например, в выражении $e^{i\pi} = -1$ один знак (–1) не просто заменен другим, но в нем отражено важное открытие, несущее знание о том, что простое рациональное число является отношением двух иррациональных величин, или формула «вода = H_2O » раскрывает химический состав вещества «вода». И это связано с тем новым смыслом, которым обладает новый знак. Второе обстоятельство, заставившее Г. Фреге ввести понятие смысла, связано с существованием в логике пустых понятий. Пустые понятия не имеют предметных значений, референтов, но должны обладать, как полагал Г. Фреге, смыслом или смысловым значением.

Мне кажется, что в свете отмеченных выше двух обстоятельств, побудивших Фреге ввести понятие смысла, требуется дополнить фреговское определение смысла еще одним определением. Дело в том, что определение смысла, данное Фреге, и связанное с интерпретацией равенства $a = b$, не согласуется с требованием Фреге, чтобы пустые понятия обладали определенным смыслом, несмотря на отсутствие у них предметного значения, т.е. референта. Действительно, если смысл определять, согласно Фреге, как способ, каким нам дано значение, то нельзя придавать знаку смысл, поскольку

он **не может выражать** то, что отсутствует (референт). Как можно говорить о смысле как способе представления значения, если последнее отсутствует? Вариантом «спасения» фрегевского определения смысла (как смысла обозначающего) и его универсализацией является, например, введение представления о «возможных мирах», которое устраняет саму тему «пустых понятий» [2]. Я предлагаю другой подход, в котором не используется концепция «возможных миров», и таким образом теория смысла Г. Фреге не рассматривается мною как универсальная и достаточная.

Выход из отмеченной проблемной ситуации состоит в том, чтобы ввести разные определения смысла. Это будет возможным, если определять **смысл как способ соотношения знака и значения**. Но поскольку можно различать два типа соотношения знака и значения, то мы получаем два разных определения смысла, одно из которых совпадает с определением смысла по Фреге, другое отлично от него.

Отношение обозначающего и обозначаемого двузначно, разнонаправленно, поэтому можно говорить о двух отношениях: отношении знака к денотату, или предметному значению, и отношении предметного значения к знаку. В этих двух отношениях реализуются две базовые функции знака: знак *замещает* денотат и *указывает* на него. Замещение означает представление, выражение денотата посредством знака. Таковым является, например, акт именования и всякий акт создания знака для данного предметного значения. В этом отношении замещения происходит получение информации о денотате в форме имени (отвечающего на вопрос «что это?»). Когда художник делает рисунок стакана, стоящего перед ним на столе, он использует знаки своего художественного языка. Напротив, указание есть акт создания значения данного знака. Этот акт мы называем интерпретацией. Знак может интерпретироваться по-разному, он может реализовывать разные смыслы и приобретать разные значения.

Указанные выше отношения между знаком и значением могут быть основой типологии культур. Такого рода типология была предложена в конце XX в. известными семиотиками Ю. Лотманом и Б. Успенским [3]. (См. аналогичный подход в работе шведских исследователей [4].) В первом типе культуры определяющую роль играет значение, и оно обуславливает знак, во втором – знак обуславливает значение. В отличие от вышеупомянутых авторов позволю себе по-своему назвать эти два типа культуры. В первом типе культуры – *культуре выражения* – значение определяет знак. Напротив, в *культуре интерпретации* знак определяет значение. Данные два типа культуры предлагают разные онтологии. В культуре выражения значение «находится» как данное в окружающем мире содержание, а знак – это «вторая» «созданная» реальность. В культуре интерпретации, наоборот, данная и найденная в окружающем мире реальность есть знак, который в результате его интерпретации «создает» другую реальность – предметную реальность значения. В каждой из двух культур содержатся предметы, которые мы «находим» («*finding*»), и предметы, которые мы «создаем» («*making*»), но это разные предметы в каждой культуре [5]. То есть в каждой культуре вопрос о том, что нам «дано», решается по-разному. Несмотря на этот релятивизм в каждой культуре различаются знаки и значения, но находятся они в разных отношениях друг к другу. В культуре выражения доминирует установка, со-

гласно которой знаки должны соответствовать значениям, имена вещей самим вещам. В культуре интерпретации другая установка: значения должны соответствовать знакам, вещи должны соответствовать своим именам. То есть в первом типе культуры считается, что язык, знаки не произвольны, не условны, а должны соответствовать данным нам извне предметным значениям. В культуре интерпретации знаки, язык не зависят от предметных значений, но наоборот, последние порождаются знаками, язык создает реальность – систему предметных значений знаков.

Важно отметить, что отношение обозначаемого к обозначающему и отношение обозначающего к обозначаемому не являются симметричными, ибо это качественно разные отношения. В этих разных отношениях реализуются две важнейшие функции знака: знак *замещает* денотат и *указывает* на него. Замещая денотат, знак его представляет, выражает. Таковым является, например, акт именования и всякий акт создания знака для данного предметного значения. В этом отношении замещения происходит формирование информации о денотате в форме имени (отвечающего на вопрос «что это?»). Встречая, например, на улице человека, мы узнаём его, если его видимые признаки совпадают с теми, которые входят в содержание понятия об этом человеке, и когда мы называем этого человека соответствующим именем. Знак указывает на денотат лишь в акте интерпретации знака, когда мы задаемся вопросом о том, что он значит, что он обозначает. Подобный акт происходит всякий раз, когда мы сталкиваемся с незнакомым предметом, и процесс узнавания происходит таким образом, что сначала мы подбираем имя, которое содержит набор признаков, обнаруживаемых в узнаваемом предмете (или нет – в случае не узнавания предмета). В этом случае мы имеем дело с поиском предмета, соответствующего данному имени. Все эти акты являются вполне сознательными и в них реализуются две способности сознания, которые были открыты и изучены в феноменологии.

Мой анализ опирается на семиотическую интерпретацию феноменологической концепции сознания [6, 7]. Феноменология признает существование двух фундаментальных способностей сознания: интенциональности [8] и респонсивности [9, 10]. Интенциональное сознание реализуется посредством акта интерпретации знака, в результате которого знаку придается (making) предметное значение. Напротив, для респонсивного сознания всякий предмет «дан» как некое содержание, которое требует распознавания и выражения. С семиотической точки зрения это акт замещения и выражения значения посредством знака. Здесь мысль преимущественно направлена на выражение, на поиск знаков, текстов, адекватных некоторому «найденному» (finding) содержанию.

Интенциональность и респонсивность как разные модусы сознания объясняют несимметричность двух отношений между обозначающим и обозначаемым: отношении знака к предметному значению и отношении предметного значения к знаку. И эти модусы отвечают за существование двух типов культур. Культура интерпретации основана на интенциональной способности сознания, благодаря которой происходит генерация предметного значения знака. Культура выражения основана на респонсивной способности сознания, благодаря которой осуществляется поиск знака, который соответствовал бы наличному предметному значению.

Необходимо отметить, что Э. Кассирером был предложен аналогичный подход к пониманию сознания, когда он писал, что логика познания включает в себя реализацию двух важнейших действий, которые опосредуют отношение человека к познаваемому миру: символизация наблюдаемого и придание значения символу. Эти два действия, как отмечал Э. Кассирер, являются своего рода аналогами действий анатомических структур, обладающих системой рецепторов и системой эффекторов [11]. Таким образом, «данное» всегда существует относительно субъекта и является либо значением, которое должно быть выражено (необходимо найти его знак, имя), или знаком, который должен быть интерпретирован (необходимо найти его значение). Никакого другого «данного» нет. Данное есть лишь в связи с актами сознания как актами различения, т.е. либо актом выражения, либо актом интерпретации. Необходимо отметить, что подобное понимание познания соответствует позиции энактивизма [12], для которого познание представляет собой не отражение в сознании субъекта внешнего мира (как утверждает доминирующая в когнитивной науке и эпистемологии парадигма – репрезентационализм), а процесс формирования мира путем взаимодействия между человеком и внешней средой, когда посредником выступает язык.

Однако пора задаться важным вопросом: почему человек нацелен на поиск значения знака или на поиск знака для значения? Это вопрос о природе интенции и респонсии, о том, как они возможны. Я думаю, что для поиска ответов на поставленные вопросы необходимо обратиться к понятию смысла.

Определение смысла знака и смысла предметного значения

Фрегевское определение смысла связывает обозначающее (знак) и обозначаемое (предметное значение) в отношении выражения или представления. Поскольку в этом определении смысл связывается со знаком, есть характеристика, свойство знака, то обозначать фрегевский смысл можно с помощью слова «знак» и называть, таким образом, этот смысл посредством языковой конструкции «смысл знака». Здесь знак является переменной в отношении к предметному значению, которое фиксировано (см. формулу $A = B$). Но связь знака и значения содержит еще и другое отношение – отношение обозначающего к обозначаемому, которое не является симметричным отношением обозначаемого к обозначающему. Здесь переменной стороной отношения является предметное значение, а не знак. Это уже не отношение выражения, а отношение, которое может быть определено как интерпретация, или отношение указания. Оно является способом задания обозначаемого. Здесь мы говорим о смысле значения (предметного значения). Это определение другого смысла, отличного от фрегевского. Давать значению знак (представлять, или выражать значение) и придавать знаку значение – это две разные процедуры, в которых реализованы два разных значения смысла. Если снова обратиться к формуле $A = B$, то дать интерпретацию знакам A и B мы можем, только если придадим смысл (предметному) значению, общему и для A , и для B . Придать смысл значению мы можем, если зададим вопрос: что значат « A » и « B ». Например, если обозначаемое знаками « A » и « B » значение имеет физический смысл, то этими знаками мы обозначаем равные физические величины, если значению придается математический, в частности, гео-

метрический смысл, то знаками «А» и «В» мы обозначаем, допустим, площадь плоских фигур.

Теперь мы близко подошли к ответу на вопрос о том, какое значение имеет формальное различие понятия смысла знака и понятие смысла значения для понимания научного познания? Отношение знака и значения опосредовано смыслом. Когда одновременно в наличии есть и знак, и значение, то мы имеем дело с непустыми и содержательными понятиями. При этом возможны явления синонимии и омонимии. Синонимия имеет место тогда, когда одно значение может быть выражено разными знаками и, соответственно, разными смыслами знаков. Например, контурный рисунок на черном фоне является предметным значением, которое может быть выражено разными знаками: словами «утка» или «заяц», имеющими разный смысл.

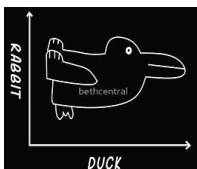


Рис. 1

Омонимия имеет место тогда, когда один знак может указывать на разные значения и поэтому последние обладают также разными смыслами. Примером может быть то же изображение «утко-заяц»: здесь один контурный рисунок-знак может быть интерпретирован двумя способами (смыслами): как имеющее предметное значение «утки» или предметное значение «зайца».

Я не случайно использовал одно и то же изображение для иллюстрации разных семиотических явлений – синонимии и омонимии – и разных смыслов. Просто на первом контурный рисунок рассматривался как обозначаемое (предметное значение), а на втором – как обозначающее (знак). Этим я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что любое так называемое данное может рассматриваться либо как обозначаемое, либо как обозначающее, и это зависит от того, в каком качестве сознание выступает и какую функцию оно выполняет: как респонсивное и выразительное или интенциональное и интерпретативное.

Содержательная «работа» смыслов в деятельности сознания в процессе познания выявляется в особых предельных ситуациях, когда либо 1) есть знак, но не определено еще его предметное значение, либо 2) есть значение, но нет еще его знака. Когда есть знак и, соответственно, признаки содержания, но нет предметного значения, т.е. объема, то в логике мы говорим **о пустых понятиях**. Когда же есть значение (объем), но нет знака (признаков содержания), то в этом случае мы можем говорить о **«не(бес)содержательных» понятиях**. С последнего рода понятиями логика, кажется, дела не имеет. Однако, как у пустых понятий знак обладает смыслом, так и в случае бессодержательных понятий их предметные значения обладают смыслом. Но эти смыслы не соединяют наличествующие знак и значение, поэтому в отмеченных ситуациях смыслы являются либо интенциями, либо респонсиями. Смысл значения – это интенция значения, а смысл знака есть респонсия знака. Или: смысл знака – это направленность сознания на поиск своего возможного предметного значения, а смысл предметного значения – это его направ-

ленность на поиск своего знакового выражения. В повседневной практике мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями. Так, завидя какой-то не очень знакомый предмет, мы задумываемся над тем, **что это** за предмет, т.е. как его имя. Мы ищем ему имя, потому что предмет имеет для нас смысл, который раскрывается процедурой именования. Дав ему имя, мы реализуем интенцию выражения, т.е. интенцию узнавания (респонсию) предмета. Но сознание выполняет и другую функцию, когда, реализуя интерпретационную интенцию, оно либо ищет предмет, который соответствовал бы уже имеющемуся знаку, либо создает его. Это хорошо иллюстрируется известным изображением на рис. 2.



Рис. 2

Это изображение известно под названием «жена-теща». Если спросить смотрящего на рис. 2, что он видит, то ответы могут быть разными, но всегда альтернативными. Допустим, что кто-то говорит, что видит пожилую женщину, условно говоря, «тещу». Мы можем объяснить этот результат таким образом, что в видимом изображении человек узнал «тещу», поскольку сработало респонсивное сознание, которое было в поиске имени видимого предмета. Но если этому же человеку предложить новое имя «жена» и попросить найти ее на изображаемом рисунке, то после некоторых усилий он увидит молодую женщину – «жену». Здесь мы наблюдаем интенциональный акт сознания. Но в обоих случаях, т.е. как в респонсивном акте, так и в интенциональном акте, сознательное действие продуцируется смыслами, которые мы придаем либо предметному значению, либо знаку. Результатом этих актов является, соответственно, фиксация смысла в знаке (в респонсивном акте) или фиксация смысла в предметном значении. При этом необходимо иметь в виду, что смысл не сводится ни к одной из конкретных фиксаций – ни к знаку, ни к значению, поскольку ни респонсия, ни интенция не могут реализовываться в разных знаках и разных предметных значениях. То есть смысл всегда шире того, в чем он раскрывается, воплощается, реализуется.

Смысл как генератор знаков и значений

Все описанные семиотические действия сознания обнаруживаются не только на примерах из повседневной практики, но и на множестве примеров из истории науки. В истории науки встречается немало примеров пустых понятий, которые с течением времени могут обрести свое предметное значение и таким образом перестать быть пустыми, но могут и исчезнуть из языка науки вообще. Возьмем пример с понятием атома. Имя «атом» появилось в эпоху Античности благодаря Левкиппу и Демокриту, но что обозначало, на какую реальность указывало это имя, тогда еще не было ясным. Имя «атом» (по-гречески «неделимое») ни на что не указывало. Правда, Демокрит придумал, что этим именем называются особого рода частицы, которые тот же Демокрит наделял произвольным набором свойств. Предметное значение

знака «атом» стало постепенно формироваться лишь начиная с XVIII в. (Джон Дальтон) и в XX в. окончательно сложилось в квантовой теории атома. Почему понятие атома так долго сохранялось? Я полагаю, что дело в том смысле, который изначально интуитивно мыслился Демокритом, а именно: атомы являются составными частями всякого сущего. Этот смысл «двигал» сознанием ученых, искавших простейшие элементы материальных тел. Смысл был генератором предметных значений. Напротив, понятие флогистона, которое должно было обозначать особую субстанцию, отвечающую за горение веществ, так и осталось в науке пустым. Никаких научных подтверждений существования флогистона найдено не было. Стоит отметить, что изначально пустые понятия могут не только превращаться в непустые или просто устраняться из научного языка, но возможен третий вариант, когда пустое понятие остается таковым в научном языке, но приобретает статус научной фикции. Так, понятие вечного двигателя в термодинамике остается пустым и сегодня, но в отличие от флогистона выполняет важную функцию: с его помощью формулируются термодинамические принципы. Таким же является понятие абсолютного нуля температур по шкале Кельвина.

Но в науке функционируют не только пустые понятия, но и понятия **бессодержательные** (выражаясь осторожнее, можно их назвать понятия с **неопределенным содержанием**), но также обладающие смыслом. Бессодержательность означает отсутствие набора общих существенных признаков у предметов, мыслимых в объеме данного понятия. Дело в том, что нам могут быть пока неизвестны общие признаки, которыми обладают предметы, ибо мы нашли лишь имена, знаки, которые указывают на наличие предметного содержания. (Здесь уместно вспомнить средневековых номиналистов, реалистов и концептуалистов. Номиналисты считали, что мир состоит из единичных предметов, общим для них являются лишь имена, знаки, которые создают люди. Реалисты считали, что общее существует до предметов, сотворенных Богом, концептуалисты видели общее между предметами также и внутри самих предметов.)

Таким образом, человек может осознавать, что есть определенная предметная область, которую он пока не может представить, выразить посредством набора общих признаков некоего предполагаемого содержания. Это видно из того, что у человека есть имя, которое он относит к определенной предметной области, но это имя не содержит еще общих признаков предметов этой области. С таким феноменом мы встречаемся не только в истории науки, но и в исследовании психологических процессов в формировании научных понятий. Так, Жан Пиаже, изучая процесс формирования понятия скорости у детей, отмечал, что дети поначалу определяют скорость интуитивно как «обгон». Быстрота – признак скорости, но определяется величина скорости по ситуации «обгона»: кто обгоняет, тот и быстрее. Но этого признака явно недостаточно, чтобы отличать состояние, в котором присутствует скорость, от состояния, где ее нет. И в истории науки всем знакомая формула скорости как частного от деления пути на время была введена Эйлером лишь в XVIII в., благодаря которой признаками скорости стал пройденный путь и затраченное на это прохождение время. В результате бессодержательное вначале понятие скорости приобрело содержание за счет найденной знаковой математической формой выражения предметного значения «быстроты».

Другой любопытный пример из истории физики. Давно существовало представление о силе, но долгое время не были ясны признаки, свойственные любым силам (притяжения, отталкивания, трения, тяжести и т.п.). Лишь благодаря Декарту, который ввел представление о системе координат, появился язык, с помощью которого стало возможным описать или выразить силу в виде шести проекций вектора силы на оси координат: начало вектора (x_1, y_1, z_1) и его конец (x_2, y_2, z_2). Со временем сформировалось математическое описание силы как вектора, который имеет направление и величину.

Нельзя не вспомнить предшественника Декарта Галилея, который сделал принципиальный шаг к формированию математического языка физики, высказав метафору «книги природы», которая написана на языке математики, буквами которого являются числа и фигуры. Этой метафорой Галилей открыл путь к тому, чтобы ранее лишь интуитивные, но «бессодержательные» понятия движения, скорости, ускорения, массы, силы приобрели признаки и соответствующие знаки, чтобы можно было сформулировать физическое содержание этих понятий. Если пустые понятия присущи культуре интерпретации, в которой смысл знака определяет значение, то бессодержательные понятия присущи культуре выражения, в которой смысл значения определяет его признак и знак. Главной заслугой, которая принадлежит Галилею, состоит в том, что он нашел универсальный **математический** язык, которым можно было бы выразить и описать наблюдаемые физические явления. Поэтому можно сказать, что основой современного естествознания была культура выражения, которую сформировал прежде всего Галилей. Но любопытно то, что в современном естествознании доминирует интерпретативная культура, которая продуцирует предметные значения математического научного языка. В физике XX в. уже при построении квантовой физики важную роль играл метод математической гипотезы. При этом главной задачей был поиск новых предметных значений математических символов. Например, поиск интерпретации уравнения Э. Шрёдингера и физического значения волновой функции в квантовой механике шел в течение многих лет.

Таким образом, учет семиотической структуры понятий, введение смысла в качестве базовой составляющей всякого понятия позволяют раскрыть важные ранее неизвестные механизмы возникновения нового знания и его эволюцию.

Список источников

1. Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика : сб. трудов / пер. с нем. Б.В. Бирюкова. М. : Аспект Пресс, 2000. С. 230–246.
2. Золян С.Т. О модальном измерении языкового знака: семантическая теория Г. Фреге и ее возможное расширение // Вопросы языкознания. 2014. № 3. С. 96–111.
3. Лотман Ю.М., Успенский В.А. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. V. С. 144–166.
4. Gluer K., Wikforss A. Against Content Normativity // Mind. 2009. Vol. 118. P. 31–70.
5. Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст / пер. с англ. под ред. А. Рубцова. М., 1997. 288 с.
6. Апель К.-О. Трансформация философии. М. : Логос, 2001.
7. Searle J.R. Intentionality. New York : Cambridge University Press, 1983.
8. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М. : ДИК, 1999. Т. 1.
9. Райнах А. Собрание сочинений. М., 2001.
10. Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск, 1999.

11. Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры / пер. с англ. Ю.А. Муравьева // Избранное. Опыт о человеке. М. : Гардарика, 1998. С. 440–722.

12. Thomson E. *Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Science of Mind*. Cambridge : Harvard University Press, 2007.

References

1. Frege, G. (2000) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Translated from German by B.V. Biryukov. Moscow: Aspekt Press. pp. 230–246.

2. Zolyan, S.T. (2014) O modal'nom izmerenii yazykovogo znaka: semanticheskaya teoriya G. Frege i ee vozmozhnoe rasshirenie [On the modal dimension of a linguistic sign: the semantic theory of G. Frege and its possible extension]. *Voprosy yazykoznavaniya*. 3. pp. 96–111.

3. Lotman, Yu.M. & Uspenskiy, B.A. (1971) O semioticheskom mekhanizme kul'tury [On the semiotic mechanism of culture]. *Trudy po znakovym sistemam*. V. pp. 144–166.

4. Gluer, K. & Wikforss, A. (2009) Against Content Normativity. *Mind*. 118. pp. 31–70.

5. Rorty, R. (1997) Relyativizm: naydennoe i sdelanoe [Relativism: The found and the done]. In: Rubtsov, A. (ed.) *Filosofskiy pragmatizm Richarda Rorti i rossiyskiy kontekst* [Philosophical Pragmatism of Richard Rorty and the Russian Context]. Translated from English. Moscow: [s.n.].

6. Apel, K.-O. (2001) *Transformatsiya filosofii* [The Transformation of Philosophy]. Translated from German by V. Kurennoy, B. Skuratov. Moscow: Logos.

7. Searle, J.R. (1983) *Intentionality*. New York: Cambridge University Press.

8. Husserl, E. (1999) *Idei k chistoy fenomenologii i fenomenologicheskoy filosofii* [Ideas towards pure phenomenology and phenomenological philosophy]. Translated from German. Vol. 1. Moscow: DIK.

9. Reinach, A. (2001) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Translated from German Moscow: [s.n.].

10. Waldenfels, B. (1999) *Motiv chuzhogo* [The Motif of Other]. Translated from German. Minsk: Propilei.

11. Cassirer, E. (1998) *Izbrannoe. Opyt o cheloveke* [Selected Works. About Human]. Translated from English by Yu.A. Muraviev. Moscow: Gardarika. pp. 440–722.

12. Thomson, E. (2007) *Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Science of Mind*. Cambridge: Harvard University Press.

Сведения об авторе:

Невважай И.Д. – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Саратовской государственной юридической академии (Саратов, Россия). E-mail: igornevv@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nevvazhay I.D. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, head of the Department of Philosophy, Saratov State Academy of Law (Saratov, Russian Federation). E-mail: igornevv@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.11.2022;

одобрена после рецензирования 20.01.2023; принята к публикации 21.02.2023

The article was submitted 25.11.2022;

approved after reviewing 20.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 14+130.2

doi: 10.17223/1998863X/71/5

ПРОБЛЕМА СВЯЗИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ С ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ФАКТАМИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ

Антон Павлович Никитин

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, nikitinanton5891@gmail.com

Аннотация. В своей теории социальной реальности Дж. Серл утверждает, что язык является фундаментом построения институциональных фактов, так как другие социальные институты не могут без него существовать. При этом он рассматривает язык в широком смысле и отрицает, что естественные языки играют существенную роль в формировании институциональной реальности. В связи с этим решается вопрос о связи институциональных фактов именно с естественными языками, а социальная онтология Дж. Серла классифицируется как своеобразный лингвистический детерминизм.

Ключевые слова: язык, институциональный факт, статусная функция, конститутивные правила, лингвистический детерминизм

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 22-28-20099, при паритетной финансовой поддержке Правительства Республики Хакасия, <https://rscf.ru/project/22-28-20099/>

Для цитирования: Никитин А.П. Проблема связи естественных языков с институциональными фактами и лингвистический детерминизм // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 39–48. doi: 10.17223/1998863X/71/5

Original article

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP OF NATURAL LANGUAGES WITH INSTITUTIONAL FACTS AND LINGUISTIC DETERMINISM

Anton P. Nikitin

Katanov Khakass State University, Abakan, Russian Federation, nikitinanton5891@gmail.com

Abstract. The study is based on the thesis that institutional facts are constructed by language and cannot exist without language. This thesis is substantiated in the works of John Searle. In his theory, institutional facts are formed by ascription of status functions in accordance with constitutive rules. The constitutive rule has the formula “X counts as Y in context C” and creates the possibility of institutional actions, it defines deontology for individuals. Language (in broad sense) performs the following functions in the construction of institutional facts: (1) it represents an institutional fact and the fact exists because of this representation; (2) it represents deontology of the institutional fact; (3) it fixes this deontology; (4) through language, institutions are recognized as such. In addition, language allows the existence of a status function without being tied to any object. Natural language can be presented as a set of institutional facts also. Natural language has its own deontology, its own constitutive rules and status functions. The institutional fact formula “X counts as Y in context C” can be read as “This sentence has a certain meaning in a certain language”. If all institutional facts are formed by language, then meanings of natural language sentences are also formed by

language. However, Searle denies this and points out that the meanings of natural language sentences do not require any declaration. Linguistic facts are institutional but arise without institutions. In any case, natural languages are part of the institutional reality. In the modern world, deontology of institutional facts is represented precisely in the system of natural languages. This function of natural languages refers to the idea of linguistic determinism in broad sense (as a doctrine about the decisive role of natural languages to any phenomena): if an institutional fact is not represented in a particular language, then this fact does not exist for the corresponding culture in principle. The linguistic representation of an institution determines its functioning within the framework of a linguistic community.

Keywords: language, institutional fact, status function, constitutive rules, linguistic determinism

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation and the Government of the Republic of Khakassia. Project No. 22-28-200, <https://rscf.ru/project/22-28-20099/>

For citation: Nikitin A.P. (2023) The problem of the relationship of natural languages with institutional facts and linguistic determinism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 39–48. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/5

Проблема связи естественных языков с институциональными фактами непосредственно связана с проблемой влияния языка (понимаемого в широком смысле) на формирование институциональной реальности. Данная работа опирается на положение, обоснованное в работах Дж. Серла по социальной онтологии, в соответствии с которым институциональные факты сконструированы языковыми средствами и без языка не могут существовать [1–3]. Теория социальных институтов Дж. Серла проанализирована в различных аспектах. В частности, раскрыты ее метафизические основания [4], ее связь с теорией речевых актов [5] и соответствующей концепцией происхождения языка [6], ее применимость к решению проблемы «гильотины Юма» [7], ее использование как методологического принципа в экономических исследованиях [8] и т.д. Однако недостаточно освещенным остается вопрос о связи институциональных фактов конкретно с естественными языками. В самой теории Дж. Серла по данному пункту есть некоторые противоречия. Чтобы их обнаружить, необходимо эксплицировать основания теории, т.е. первоначальная задача – определение того, какое воздействие оказывает язык в широком смысле на конструирование институциональных фактов. Такой предварительный анализ позволит более точно описать специфику связи естественных языков с институциональными фактами в дальнейшем.

Институциональные факты как языковое конструирование статусных функций. Особенности институциональных фактов обнаруживаются в контексте нескольких классификаций. Во-первых, институциональные факты являются эпистемологически объективными, но онтологически субъективными. То есть институциональные факты не зависят от личных предпочтений и желаний (эпистемологическая объективность), но не могут существовать без людей (онтологическая субъективность). Во-вторых, они являются разновидностью социальных фактов, а существование последних опирается на наличие фактов естественных наук, которые Дж. Серл называет «грубыми» («brute facts»). К примеру, чтобы в племени был вождь, а в стае доминирующий самец, этот субъект (X) в принципе должен существовать физически, воплощая социальный смысл в своих действиях по отношению к другим. Но

социальность автоматически не подразумевает институциональность, последнее – признак именно человеческой цивилизации. Все институциональные факты являются социальными, но не все социальные факты являются институциональными.

Принцип вычленения институциональных фактов из всей совокупности социальных фактов непосредственно связывает их с языком: любой институциональный факт содержит в себе деонтологию, т.е. набор некоторых полномочий и обязательств; для того чтобы такая деонтология была действенной, она должна быть представлена в языке. Если какой-то факт может существовать только в том случае, если он представлен лингвистически и содержит в себе деонтологию, то он является институциональным, если же он может существовать и без языкового представления, то он институциональным не является.

Как в среде животных, так и в среде людей существуют доминирующие самцы и доминирующие индивиды. Их доминирование складывается из объективных природных данных и действий, выражающих соответствующие намерения превалировать над другими. При этом окружающие акторы могут реагировать на этих субъектов как на доминирующих без всякого языкового представления каких-либо обязательств. Другое дело, когда два человека имеют закрепленные за ними статусы начальника и подчиненного (к примеру, заведующего кафедрой и ассистента, офицера и рядового). Их отношение является институциональным, поскольку деонтология их статуса представлена лингвистически.

Еще один пример отношения грубых, социальных и институциональных фактов – практика дорожного движения. Для того чтобы дорожное движение существовало в принципе, должны существовать сами дороги, самоходные и несамоходные транспортные средства, пешеходы и многие другие элементы, составляющие совокупность грубых фактов. При этом люди могут быть недовольными манерой вождения других, могут быть агрессивными по отношению друг к другу и могут уступать дорогу другим, не пользуясь никакими специфическими терминами вроде «дорожно-транспортное происшествие» или «главная дорога». Стоит вспомнить, что в среде животных также существуют коллективные маршрутные коммуникации. Данный срез – совокупность социальных фактов, не являющихся институциональными. Все отношения на дороге, но уже с использованием правил дорожного движения, которые представлены лингвистически, являются совокупностью институциональных фактов. Применяя институт дорожного движения, наблюдатель видит на дороге не просто аварию, но может определить того, кто был ее виновником, а кто нет, кто ехал по главной дороге, а кто по второстепенной, и т.д.

Правила, благодаря которым становится возможным институциональный факт, в теории Дж. Серла называются конститутивными. Конститутивные правила противопоставляются регулятивным: последние разрешают и запрещают какие-либо действия, первые выступают в качестве условий для осуществления действий. Правила дорожного движения в этом смысле являются и конститутивными, и регулятивными. Без них невозможно ехать по главной или второстепенной дороге (конститутивный аспект), они же определяют, что можно и нельзя делать водителям, находящимся на главной или второстепенной дороге (регулятивный аспект).

Более иллюстративны в этом отношении правила шахматной игры: «Очевиден контраст между регулятивными правилами вождения, таким как движение по правой стороне дороги, и конститутивными правилами игры в шахматы. Вождение может существовать без регулятивного правила, требующего двигаться справа или слева; правило регулирует ранее существовавшую деятельность. Но шахматы не могут существовать без правил, потому что поведение в соответствии с правилами (хотя бы в минимальной мере) конституирует игру в шахматы» [2. Р. 9]. Дж. Серл в своей манере не утруждает себя ссылками, хотя кажется очевидным, что пример с шахматами – скрытая цитата «Философских исследований», где Л. Витгенштейн упоминает эту игру довольно часто, решая проблему следования правилу. К примеру: «...игра становится именно шахматной игрой благодаря всем ее правилам» [9. С. 161], «Но разве шахматная игра не определяется ее правилами? А каким образом эти правила присутствуют в сознании того, кто намеревается играть в шахматы?» [9. С. 164]. Также разделение регулятивных и конститутивных правил во многом отсылает к идее Дж. Ролза о наличии суммарных и практических правил, изложенной в работе «Две концепции правил» [10]. Пример Дж. Ролза, иллюстрирующий применение практического правила, – игра в бейсбол. Люди могут перекидываться мячом, бегать и махать куском дерева, но это станет игрой в бейсбол только в том случае, если они будут совершать все эти действия по правилам бейсбола и признавать их. Нельзя украсть базу, если твое действие не предполагает правилосообразную практику. Суммарные правила же определяют, что люди могут и не могут делать, чтобы избегать неприятностей и получать блага. Аналогии с конститутивными и регулятивными правилами здесь не избежать.

Еще одно важное понятие в институциональной теории Дж. Серла – понятие статусной функции, т.е. такой функции, которая приписывается предмету вне зависимости от его физических, химических или биологических свойств. Дорога может быть главной, даже если по своим видимым параметрам она ничем не отличается от второстепенной; человек может командовать другими людьми, даже если он физически значительно их слабее; шахматная фигура коня ходит буквой «г», хотя ничего в ее форме не указывает на эту необходимость, и т.д. По сути, конститутивное правило и есть приписывание статусной функции какому-либо объекту в соответствии с формулой «X считается Y в контексте C» (к примеру, «эта дорога является главной в соответствии со значением знака 2.1», «этот человек является заведующим кафедрой в соответствии с приказом под таким-то номером» и т.д.).

Дж. Серл пишет: «Я хочу сделать очень сильное заявление. Институциональная онтология человеческой цивилизации, особенности, которыми человеческая институциональная реальность отличается от социальных структур и поведения других животных, – это содержание статусных функций, налагаемых в соответствии с конститутивными правилами и процедурами. Статусные функции – это клей, который держит человеческие общества вместе» [2. Р. 9]. Природные явления разнообразны, но при этом существуют естественные процессы, объединяющие их (так, костер и ржавчину на лопате объединяет процесс окисления). Аналогично игра в шахматы и выборы заведующего кафедрой – совершенно различные явления, но все их объединяет процесс приписывания статусных функций в соответствии с конститутивными правилами.

Такой процесс приписывания невозможен без языка: «Это интуитивная очевидность, даже до теоретического обоснования, что язык фундаментален в очень определенном смысле: вы можете иметь язык без денег, собственности, правительства или брака, но вы не можете иметь деньги, собственность, правительство или брачные отношения без языка» [2. Р. 12]. В формировании институциональных фактов язык выполняет четыре основные функции: 1) институциональный факт существует постольку, поскольку он представлен существующим языковыми средствами; 2) наделение статусной функцией предполагает наделение деонтическими полномочиями, чтобы существовать, эти полномочия должны быть представлены в языковой форме; 3) деонтология институционального факта может существовать даже в том случае, если агенты забудут о ее существовании, это возможно благодаря языковой фиксации; 4) с помощью языка институты распознаются как таковые. Кроме того, некоторые статусные функции могут существовать даже без физического предмета, без того самого X, которому приписывается функция Y, существуя только как свободно стоящие Y («freestanding Y») [3. Р. 20], что возможно как раз благодаря их языковой объективации.

Место естественных языков в структуре институциональной реальности и лингвистический детерминизм. Утверждение, что без языка невозможно существование социальных институтов, вписывается в концепцию лингвистического детерминизма в широком смысле этого термина, — как учения об определяющей роли языка в отношении любых феноменов. В узком смысле лингвистический детерминизм чаще всего ассоциируется с радикальной версией гипотезы лингвистической относительности, в соответствии с которой язык не просто оказывает базовое воздействие на мышление, но и формирует особенности самого восприятия мира через свою структуру, в первую очередь через способы категоризации. Если сравнивать позицию Дж. Серла с лингвистическим детерминизмом в узком смысле, то он в большей степени говорит не о влиянии языка на мышление, а о влиянии языка на формирование институтов, а через них на культуру отдельных сообществ и на весь социальный мир. Для основателей лингвистического релятивизма культура интерпретируется в рамках гумбольдтианского направления, как «дух народа». Для Дж. Серла культура является совокупностью определенных норм и установок, поэтому также определяется существованием языка, поскольку любая деонтология в его учении формируется именно лингвистически: «Нет языка — нет деонтологии» [2. Р. 13].

Указывая на фундаментальную роль языка в процессе построения институциональной реальности, Дж. Серл не выглядит оригинальным, поскольку в работах по социальной онтологии мнение о языке как порождающей структуре является доминирующим, «ведь именно язык, причем язык естественный, оказывается, в конечном итоге, единственным рациональным (пусть хотя бы рациональным в особом смысле) горизонтом исследования и у неокантианцев, и в неопозитивизме, и в феноменологии» [11. С. 40]. Вместе с тем трудно определить, подразумевает ли он естественный язык. С одной стороны, им утверждается, что любые институциональные факты «требуют лингвистического представления для того, чтобы существовать... Но предложения английского языка не требуют лингвистического представления, чтобы быть предложениями английского языка» [3. Р. 110–111]. С другой

стороны, класс естественных языков как будто совсем выведен им из класса «фундаментальных» для институциональной реальности: «Я не имею в виду, что полноценные естественные языки с относительными предложениями, повторяющимися модальными операторами и неоднозначной сферой действия кванторов необходимы для конституирования институциональной реальности. Я так не считаю» [2. Р. 13]. Язык для него – способ символического описания, в первую очередь описания статусов, не связанных с физическими свойствами, – это лингвистическая форма представления в самом широком смысле («in the broadest sense linguistic») [2. Р. 13]. Не ясно только, почему язык в самом широком смысле полноценные естественные языки не включает.

Здесь возможно два ответа. Во-первых, любой естественный язык также может быть признан набором институциональных фактов со своей деонтологией, конститутивными правилами и статусными функциями. Публичный и коллективный характер естественных языков также предполагает наличие обязательств, а языковые выражения в этом смысле принуждают подразумевать определенное значение. Обращает на себя внимание, что пример шахматной игры, который использует Дж. Серл для иллюстрации конститутивных правил, у Л. Витгенштейна является своеобразной метафорой употребления языкового выражения. Как младенец может беспорядочно передвигать шахматные фигуры, не вкладывая в это передвижение никакого смысла и не следуя никаким правилам, так и любитель французского шансона может напевать себе под нос «Et si tu n'existais pas», не понимая ни одного значения произносимых им слов французского языка. Младенца могут привлекать замысловатые формы шахматных фигур, а взрослого человека могут привлекать бархатные звуки французской песни, но никакой деонтологии в этом содержаться не будет, поскольку не будет никакого признания статусных функций. К тому же идеи, изложенные в «Философских исследованиях», наводят на мысль, что «любое частное употребление языкового выражения может быть подведено под неограниченное количество правил употребления» [12. С. 12], аналогично этому конкретный ход в шахматной игре может соответствовать любым правилам, а не только тем, что признаны ФИДЕ.

Также формула институционального факта «X считается Y в контексте C» легко приложима к значению слов и предложений естественного языка и может читаться как «Это высказывание имеет такое-то значение в таком-то языке». Говоря о статусной функции, Дж. Серл особенно подчеркивает, что предмет, которому она приписывается, в своей физической структуре не имеет ничего, что обязало бы данную функцию ему присвоить. Лексические значения произвольны, и, когда произносятся слова «шах и мат», в этих звуках нет ничего, что непосредственно связывало бы их с победой одной стороны и поражением другой в шахматной игре. Естественный язык – это деонтология, требующая обязательств вкладывать в слова и предложения определенное значение, пусть и вариативное в контексте употребления.

Поэтому тезис Дж. Серла о том, что предложения английского языка не требуют лингвистического представления, чтобы быть предложениями английского языка, можно интерпретировать в том смысле, что они не требуют обращения к самим себе, чтобы иметь значение, т.е. английский язык не формируется английским языком. Но точно также корректно утверждение, что правила шахматной игры сформировали себя не сами. Тем не ме-

нее есть существенное различие: историки предполагают, что правила шахматной игры были конституированы с использованием языка хинди, однако трудно указать на какой-то «метанглийский», в рамках которого установили значение слов английского языка. Такого рода метаязык, который мог бы быть и праязыком в лингвистическом понимании, вполне соответствует концепции «языка в самом широком смысле», исключаящем при этом естественные языки.

Дж. Серл такой ответ исключает: «Я утверждал, что вся институциональная реальность создается декларативами, поддерживается в своем постоянном существовании репрезентациями (мыслями, а также речевыми актами), которые функционируют как декларативы. Но сам язык не создается декларативом» [3. Р. 110]. Здесь он имеет в виду именно естественный язык, в качестве примера указывая на популярный пример с белым снегом: «Мы считаем произнесение предложения „Снег бел“ как утверждение о том, что снег бел» [3. Р. 110], но для такого подразумевания никакого декларатива не нужно.

Второй возможный ответ заключается в следующем. Под воздействием критики идей «Конструирования социальной реальности» Дж. Серл пришел к мнению, что в некоторых случаях институциональные факты существуют без институтов, предполагая только статусные функции и определенную деонтологию [3. Р. 23]. Один из членов племени может стать вождем, приобретая соответствующие статусные функции и полномочия, даже при отсутствии института вождей и их выборов. А уже обладая соответствующими статусными функциями, он способен конструировать социальные институты декларативно, к примеру, вводя систему платежей – прообраза налоговой системы. То есть в формуле « X считается Y в контексте C » исчезает контекст C (просто « X считается Y »), а Y в дальнейшем может надстраиваться, выступая в качестве $C1$: « $X1$ считается $Y1$ в контексте $C1(Y)$ ». К примеру: «Салоуме(X) считается вождем в племени Висайя(Y)» и «Раковины каури($X1$) считаются платежной единицей($Y1$) по приказу вождя племени Висайя($C1 = Y$)». Такие институциональные факты, которые возникают без институтов, но несут в себе деонтологию, являются базовыми институциональными фактами, из которых конструируются сами институты и другие факты. Выражения естественных языков в этом отношении могут выступать базовыми институциональными фактами. Как член племени становится вождем без института вождей и их выборов, так и предложения английского языка обретают значения без института английского языка.

В любом случае естественные языки являются частью институциональной реальности, и у них по отношению к другим институциональным фактам есть функция не только конструирования посредством декларативов, но и лингвистической репрезентации. Деонтология институциональных фактов в современном мире представлена и поддерживается в первую очередь естественными языками. И обращение к этим фактам через систему естественного языка может давать результаты для понимания специфики соответствующей культуры в гораздо большей степени, чем обращение к репрезентации любых других фактов. Связано это с тем, что существуют статусы, представленные только в отдельных культурах. В большинстве естественных языков есть обозначения тех самых Y , которые не встретить в других языках.

Если в качестве примера брать конкретно социальные статусы, то многие слова, их обозначающие, при переводе с одного языка на другой либо транслитерируются, либо описываются. Так, социальный статус «хайчы» в хакасском языке переводится как «хайджи» в русском языке, и нельзя перевести этот термин просто как «сказитель», поскольку статус хайджи подразумевает как раз особого рода деонтологию, признаваемую в традиционной хакасской культуре, но трудно объяснимую на русском языке (эта деонтология включает в себя особое отношение к семье, собственности, личной жизни). Когда на русский язык переводится социальный статус англоязычной культуры «postgraduate student» как «аспирант», то это опять же не совсем корректно, поскольку система «postgraduate studies» в целом включает разнообразные программы обучения на базе высшего образования, что не всегда сопряжено с защитой диссертации; все эти программы возможно только описать, чтобы в полной мере объяснить значение слова «postgraduate student» на русском языке.

Отсюда следует вывод, что если определенная статусная функция представлена только в одном языке, то соответствующая ей деонтология существует только в рамках соответствующей культуры (что не означает невозможность ее описания на других языках). Вполне реальной выглядит ситуация, в которой в каком-нибудь языке институт аспирантуры не представлен в лексической единице или в их комплексе, – для данной культуры такого института и сопутствующей ему деонтологии просто нет. Языковое существование социального института определяет и его объективное существование, которое выражается в первую очередь в формировании действий, независимых от субъективных желаний. Об этом говорят и некоторые специалисты в области когнитивной лингвистики, так С. Пинкер и Р. Джакендорф указывают, что священные, специфические системы родства, официальные социальные роли (такие как судья или казначей) могут существовать только через языковое представление [13. С. 265].

Как было отмечено выше, лингвистический детерминизм данной теории стоит отличать от лингвистического детерминизма, сложившегося в рамках гипотезы лингвистической относительности. Гипотеза Сепира–Уорфа в большей степени говорит о влиянии естественного языка на мышление его носителей, а также затрагивает проблемы влияния языка на традиционную этническую культуру. Дж. Серла вопросы этнической культуры и ментальности не волнуют, однако сам подход, который он предлагает, эффективен для понимания того, как язык влияет и на первое, и на второе.

При этом сформулированный вывод сближает две позиции. В радикальной версии гипотезы Сепира–Уорфа предполагалось, что если в языке нет аналога слова «голубой», то нет и вычленения такого цвета в мышлении. В теории Дж. Серла получается, что если институциональный факт не представлен в конкретном языке, то он (факт) не существует в культуре. Существуют также косвенные свидетельства в установлении смысловых параллелей между этими концепциями. Как отмечает С.Ю. Бородай, принцип лингвистической относительности «означает, что носители языков с разной структурой приходят к различным выводам по поводу одних и тех же физических явлений и создают различные картины мира» [14. С. 123]. Дж. Серл в свою очередь указывает, что совокупность естественных фактов одна для

всех, но эти факты наделяются статусными функциями вариативно, в одном сообществе человек может быть «postgraduate student», в другом сообществе аспирантом, хотя в своем физическом существовании он один. Также за гипотезой Сепира–Уорфа стоит попытка перенесения релятивистского принципа из физики в лингвистику, а Дж. Серл в своей теории выделяет два блока: специальную теорию социальной реальности и общую теорию социальной реальности, очевидно отсылая к соответствующим названиям теорий А. Эйнштейна. Остается только лишний раз подчеркнуть, что Дж. Серл не является прямым продолжателем концепции Э. Сепира и Б. Уорфа, его творчество, безусловно, включено в совершенно другую традицию, однако идею языка как способа конструирования мира (институционального мира и мира событий соответственно) можно считать общей для них.

Список источников

1. Searle J.R. *The Construction of Social Reality*. New York : Free Press, 1995. 242 p.
2. Searle J.R. What is an institution? // *Journal of Institutional Economics*. 2005. Vol. 1, Is. 01. P. 1–22.
3. Searle J.R. *Making the Social World: the Structure of Human Civilization*. New York : Oxford University Press, 2010. 208 p.
4. Левин С.М. Метафизика и общая теория социальной реальности Дж. Серла // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина*. 2011. Т. 2, № 3. С. 161–170.
5. Юрьев Р.А. Теория речевых актов в аналитической философии и источник институционального факта // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2016. № 2 (34). С. 196–201.
6. Каримов А.Р. Джон Серл о происхождении языка и деонтологии // *Ученые записки Казанского государственного университета*. 2010. Т. 152, кн. 1. С. 82–93.
7. Сычев А.А. «Гильотина Юма» и институциональный подход Дж.Р. Серля // *Этическая мысль*. 2012. № 12. С. 143–156.
8. Никитин А.П. Аналитическая философия и институциональная экономика // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2018. № 41. С. 24–31.
9. Витгенштейн Л. *Философские работы*. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. 612 с.
10. Rawls J. Two concepts of rules // *Philosophical Review*. 1955. Vol. 64, № 1. P. 3–32.
11. Чистанов М.Н. О социальной онтологии // *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия*. 2007. Т. 5, № 1. С. 34–40.
12. Суровцев В.А., Ладов В.А. Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. 136 с.
13. Пинкер С., Джакендорф Р. Компоненты языка: что специфично для языка и что специфично для человека? // *Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка*. М. : Языки славянских культур, 2008. С. 261–293.
14. Бородай С.Ю. *Язык и познание: Введение в пострелятивизм*. М. : Садра : Изд. дом ЯСК, 2020. 800 с.

References

1. Searle, J.R. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
2. Searle, J.R. (2005) What is an institution? *Journal of Institutional Economics*. 1(01). pp. 1–22.
3. Searle, J.R. (2010) *Making the Social World: the Structure of Human Civilization*. New York: Oxford University Press.
4. Levin, S.M. (2011) Metafizika i obshchaya teoriya sotsial'noy real'nosti Dzh. Serla [Metaphysics and General Theory of Social Reality by J. Searl]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina*. 2(3). pp. 161–170.
5. Yuriev, R.A. (2016) Theory of speech acts and the source of institutional fact. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State*

University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2(34). pp. 196–201. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/34/23

6. Karimov, A.R. (2010) Dzhon Serl o proiskhozhdenii yazyka i deontologii [John Searle on the origin of language and deontology]. *Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta*. 152(1). pp. 82–93.

7. Sychev, A.A. (2012) “Gil’otina Yuma” i institutsional’nyy podkhod Dzh.R. Serlya [Hume’s Guillotine and J.R. Searle]. *Eticheskaya mysl’*. 12. pp. 143–156.

8. Nikitin, A.P. (2018) Analytical philosophy and institutional economics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 41. pp. 24–31. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/41/3

9. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Gnozis.

10. Rawls, J. (1955) Two concepts of rules. *Philosophical Review*. 64(1). pp. 3–32.

11. Chistanov, M.N. (2007) O sotsial’noy ontologii [On social ontology]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya*. 5(1). pp. 34–40.

12. Surovtsev, V.A. & Ladov, V.A. (2008) *Vitgenshteyn i Kripke: sledovanie pravilu, skepticheskiy argument i tochka zreniya soobshchestva* [Wittgenstein and Kripke: Following the Rule, the Skeptical Argument, and the Community Perspective]. Tomsk: Tomsk State University.

13. Pinker, S. & Jackendorf, R. (2008) Komponenty yazyka: chto spetsifichno dlya yazyka i chto spetsifichno dlya cheloveka? [Components of language: what is language-specific and what is human-specific?]. In: Koshelev, A.D. & Chernigovskaya, T.D. *Razumnoe povedenie i yazyk* [Reasonable Behavior and Language]. Vol. 1. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur. pp. 261–293.

14. Boroday, S.Yu. (2020) *Yazyk i poznanie: Vvedenie v postrelativizm* [Language and Cognition: An Introduction to Postrelativism]. Moscow: OOO “Sadra”: YaSK.

Сведения об авторе:

Никитин А.П. – доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия). E-mail: nikitinanton5891@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nikitin A.P. – Cand. Sci. (Philosophy), docent, associate professor of the Department of Civil Law and Criminal Law Disciplines, Katanov Khakass State University (Abakan, Russian Federation). E-mail: nikitinanton5891@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 17.11.2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 17.11.2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 122

doi: 10.17223/1998863X/71/6

КАУЗАЛЬНОСТЬ В ПЕРЕКРЕСТИИ КРИТИКИ

Алексей Николаевич Фатенков

*Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия;
Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия,
fatenkov@fsn.unn.ru*

Аннотация. Поставлена цель уточнить суть каузальности (причинности) и рассмотреть теоретические претензии к ней, выделив среди них онтологически обоснованные и необоснованные. Каузальность не отождествляется с детерминированностью, а трактуется, наряду с фундированностью и состоятельностью, одной из ее иерархически сосуществующих форм, уступающей в онтологическом весе двум другим.

Ключевые слова: каузальность, фундированность, состоятельность, детерминированность, определенность, самость

Для цитирования: Фатенков А.Н. Каузальность в перекрестии критики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 49–58. doi: 10.17223/1998863X/71/6

Original article

CAUSALITY SUBJECTED TO CRITICISM

Aleksey N. Fatenkov

*Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation;
Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation,
fatenkov@fsn.unn.ru*

Abstract. The author aims to clarify the essence of causality (causation) and to consider the theoretical challenges laid down against it by distinguishing ontologically justified ones from those unjustified. Causality is not to be equated with determinacy, but to be interpreted as one of its forms, one of its levels. Determinacy is understood by the author as the composition of internal and external definiteness of things in existence. In addition to causation, this hierarchically structured composition includes founding and validity. Causation, which is ontologically inferior to the two above-mentioned determinants, forms part of them in an extracted (sublimated) form. Moreover, its inferiority to founding does not mean the cult of sufficient reason. On the contrary, the exaltation of the normalized basis can be regarded as an evidence of explicit or implicit reduction of founding to causality. In a truly existential state, causality is extracted by founding, which, in turn, is extracted by validity being the highest form of determinacy-definiteness. When ontologically rising above itself, validity appears as a self. The latter is characterized by a combination of maximum definiteness and definite indefiniteness. The distrust to causal determination is always due to the belittlement of the self, which is truncated either actually or speculatively. A relevant example of a speculative belittlement of the self and the veiling of the ontological status of causality is the actor-network theory considered in the text in Bruno Latour's version. Objections against causality are justified when it claims to be the dominant or even the only determinant of things in existence. This kind of hegemony is associated with a groundless belittlement of the corporeal world and the self of the subject. Reproaches to the polar

interpretations of causality – purely objectivist and purely subjectivist – are not unfounded. The former belittles the person, turning the causal matrix into a fetish, while the latter portrays causality as a speculative product of a creature incapable of decisive resistance to external threats. The attacks against causal determination are invalid when they attempt to fictitiously weaken its oppression by referring to the existence of “free” causation or damp it by the horizontal connections of network structures. The networks only mask the causal vertical. Freedom cannot beat causation on its own field. It can only try its strength against causal pressure at the level of the self.

Keywords: causality, founding, validity, determinacy, definiteness, self

For citation: Fatenkov A.N. (2023) Causality subjected to criticism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 49–58. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/6

Детерминированность как определенность и ее уровни: состоятельность, фундированность, каузальность

Детерминированность есть определенность. Такова известная и, сразу подчеркнем, эвристически емкая этимология. Держась, впрочем, и ее, мы сталкиваемся с концептуальными проблемами, связанными прежде всего со смысловой вариативностью «определенного», «имеющего предел». Оно может пониматься либо скорее как «ограниченное», либо скорее как «конкретное». При этом ясно и то, что онтологический вес конкретного и ограниченного существенно разнится, и то, что они не существуют врозь, в дуалистическом отсечении друг от друга. Ограниченное не может не быть так или иначе конкретным, а конкретное – в той или иной степени ограниченным. Однако ограниченно сущее определяется по преимуществу или даже исключительно извне, тогда как конкретно сущее способно по большей части само себя определять. Отсюда и развилка в понимании детерминированности. Либо как взаимосвязанности всего со всем или чего-то с чем-то, как взаимообусловленности одного другим, редуцируемой к каузальной (причинной) взаимозависимости фрагментов сущего. Либо как собственно определенности всякого сущего, не сводимой к каузальной обусловленности, в том числе и к комплексу внутренних причин. Именно такое толкование детерминированности как собственно определенности имеет смысл продвигать и отстаивать. И еще одно предварительное уточнение: в очерченной трактовке детерминированность не приравнивается к результату логических, умственных процедур, а распространяется (не без риска, конечно же) и на внеинтеллектуальную реальность, ту, что находится за рамками и человеческого сознания, и психосоматической единичности.

Всякое нечто становится определенным, если оно: или *состоятельно*, или *фундированно* (обоснованно, имеет основание), или *каузально* (причинно) обусловлено. Иными словами, определенность являет себя в трех формах. Онтологически они неравноценны и потому квалифицируются одновременно и как уровни. В собственно бытийном состоянии, т.е. в координатах подлинности, фундированность сильнее каузальности и слабее состоятельности. В некотором смысле состоятельность тут вбирает в себя, снимает собой обе другие формы детерминированности. Тогда и достигается предельная определенность. Она не претендует, разумеется, на полноту и абсолютность – и незачем: ведь если, скажем, в предельной беспредельности есть несомненный, диалектического толка изыск, то ни в наложении предела абсолюту, ни

в абсолютизации предельного и определенного никакого изыска нет – одни недоразумения, логические и жизненно-практические. Исчерпывающая полнота оборачивается узостью и пустотой. Исчерпывающая определенность оказывается неопределенностью касательно того, включена или не включена в нее определенная неопределенность. Неполнота (неабсолютность) состоятельности не говорит о наличии в ней определенной неопределенности, поддающейся устранению и, стало быть, прокладывающей своим устранением путь к полноте и абсолюту. Рассуждения же о неопределенной (полной в своей отрицательности) неопределенности заведомо бессодержательны. В стороне и вдалеке от подлинности, т.е. в инобытийных и небытийных состояниях, состоятельность утрачивает первенство, уступая его как минимум фундированности, как максимум – и каузальности тоже. Налицо тогда – при гегемонии каузальности – несостоятельность.

Ее противоположность, при всех очевидных частичных оговорках касательно состоятельности несостоятельного и остального ценностно-негативного, обладает неоспоримо более высоким статусом: и онтологическим (в плане ценностно-положительного сущего), и онтическим (в плане ценностно-нейтрального сущего). Быть онтически состоятельным означает: в каждом состоянии быть тем, кем (чем) ты есть. Быть онтологически состоятельным означает: в каждом состоянии быть тем, кем ты мог стать и стал. Онтологическая состоятельность и несостоятельность суть качества живой природы, ее субъектов разного уровня сложности. Онтическая состоятельность и несостоятельность (при допущении возможности последней) качественно характеризуют все сущее, включая неживую природу (если таковая имеется) и мир вещей, созданных людьми. В структуре определенности всякого нечто онтологическая состоятельность – в собственно бытийной ориентации – много выше каузальности и выше фундированности. Онтическая состоятельность выше каузальности и чуть выше фундированности, асимптотически приближающейся к ней.

В рассуждениях автора о недоминирующей, подчиненной роли каузальных влияний на определенность сущего решающую, пожалуй, роль играет гегелевский мотив (см.: [1. С. 510–521]). Причина онтологически слаба – тем, что растворяется в своем действии (следствии) или регрессирует к цепочке причин, вызвавших ее саму. И даже если она возвращается к себе (как, скажем, в субстанции), то не может не быть снятой чем-то более онтологически весомым и основательным (иначе та же субстанция перестанет быть самой собой, ибо утратит способность к развитию). Авторская линия на пересмотр статуса каузальности отчасти созвучна сегодняшней критике корреляционизма (см., в частности, работы К. Мейясу [2] и Л.Р. Брайанта [3]), но ориентирована не столько на объект, сколько на все тот же субъект. Тому не обойтись без включенности в причинные и прочие отношения, однако не они бытийно определяют его.

Обоснование и причинение

Всякое конкретно сущее имеет свое *основание* и свою *причину* (комплекс причин). Исключение составляют два случая. Во-первых, тезису о безосновности чего бы то ни было находится место в религиозной или квазирелигиозной парадигме, постулирующей наличие трансцендентности и более чем

странного ничто. В теистической матрице нетварное оказывается безосновным и беспричинным, тварное – безосновным и причинно обусловленным. Во-вторых, тезис о безосновности и беспричинности приводит-возвращает нас к идее чуда – тривиальной и вместе с тем опасной для теизма (чудесное способно затмить собой божественное) и нетривиальной, оберегающей человека от падения в цинизм, в нерелигиозной картине мира. В остальных онтических ситуациях обоснование и причинение наличествуют и сосуществуют. Взаимоотношения между ними, ранее рассмотренные автором применительно к событию социальной революции (см.: [4]), неизбежно становятся предметом философской полемики.

Так, М. Хайдеггер, знаковая фигура в экзистенциальной онтологии, утверждает: «Несомненно, всякая причина является неким родом основания. Но не всякое основание вызывает нечто в смысле некоего причинения» [5. С. 194].

В соотношении с очерченной авторитетной позицией позволим себе выстроить иную: 1) и основание, и причина – каждая из двух детерминант по-своему – вносят определенность в конкретно сущее; 2) при этом не всякое основание причиняет и не всякая причина обосновывает.

Внутренняя причина, если компоненты ее подвижны (см.: [6]), может, подчинившись основанию, продуктивно вписаться в него. Внешняя причина, пытаясь подчинить себе основание, обречена на конфронтацию с ним. Основание онтологически мощнее и внешней, и внутренней причины. Причина, любая, гнетет; внешняя – особенно: и тут нет принципиальной разницы между влиянием извне *causa efficiens* и *causa finalis*. Основание, напротив, питает энергией, укрепляет. Сильное основание не нуждается в сильной причине: та не внесет существенной прибавки в фундированность сущего, а стало быть, и в его определенность. Исключение составляет генезис. Сильнейшая причинная связь при сильнейшем основании – связь по рождению. Противостоящее ей творение из ничего подразумевает наличие сильнейшей причины при слабейшем или вовсе отсутствующем основании. Дистанцируясь от креационизма, имеет смысл утверждать: бытие, снимая и преодолевая причинение, обосновывает само себя; *causa sui* и *causa causalis* ответственны за редукцию бытия к инобытию; разрушение основания причинением означает падение в небытие.

Небытийную интенцию причинения нельзя недооценивать, а тем более игнорировать, но и спекулятивно набивать ей цену тоже нет нужды. Онтологически негативное воздействие каузальности не устраняется ни постулированием далекой от реальной свободы «свободной» причинности, действующей вариативно в отличие от инварианта ординарной причинности; ни подменой каузальности корреляцией (координацией), т.е. переходом от сильных, вертикальных связей к связям слабым, горизонтальным, которые на деле лишь маскируют систему причинно-следственных отношений. Идиллически-наивно и абстрактно-метафизично суждение о полной непричастности каузальности бытийным и событийным состояниям сущего. Опрошенческий соблазн, однако, велик. На него попадается и Ф. Ницше, намеревавшийся ликвидировать отвлеченную метафизичность и избыточный рационализм философской мысли. При этом он заявляет: «Событие не имеет причины и само не действует как причина. Causa есть способность действовать, при-

сочиненная к процессу бывания» [7. С. 309]. Но нет. Если бы причинение было чистой выдумкой, то бытие, или даже бывание, не испытывало бы никаких угроз и преспокойно пребывало бы, оставаясь непоколебимо равным самому себе. Реалии жизни, однако, заметно, существенно иные, что несомненно осознает и немецкий интуитивист, отдавая должное онтологическому статусу опасности. Да и человеческое *ratio*, пусть Ницше и возражает, никак не довесок к инстинктам и воле, не что-то наносное. От ума, конечно, и вправду, не только счастье, но и горе – и не сочиненное лишь, а бередающее душу, испытывающее на прочность натуру человека. Дорога, а скорее все же тропинка, к бытию и событию пролегает не в пространстве чистой интеллигибельности, тут «философ жизни» прав, – и не в условиях интеллигибельного табуирования каузальности, на что надеется почему-то автор «Воли к власти». Онтологические высоты достигаются тогда, когда причинная детерминация преодолевается, преодолагается – для начала пусть только фундированностью индивида и ближайшего к нему конкретно сущего.

Онтологический приоритет фундированности перед каузальностью отнюдь не означает культа достаточного основания. Наоборот, превознесение нормированного основания свидетельствует о явной или неявной редукции фундированности к причинному комплексу. Тот детерминирует сущее, не только не требуя экзистенциальной определенности, но и всячески пресекая ее. Так что даже внутренняя причина становится внешней по отношению к экзистенциальным состояниям, действиям и переживаниям. Сугубо каузальная определенность, уравненная с детерминированностью достаточным основанием, оказывается онтологически скудной, не могущей концептуально справиться ни с бытием без достатка, ни с избыточно данным бытием, ни с притягательностью стихии, которая всегда несет в себе изрядную долю неопределенности и которую не обуздать без всегда рискованных экзистенциальных усилий.

Симптоматично, как заметил Хайдеггер, что принцип достаточного основания и принцип страхования жизни сформулированы одним человеком – Г.В. Лейбницем (см.: [5. С. 204]). В отличие от основания как такового, этого немецкого *Grund*, достаточное основание отсылает нас не к онтологически полновесному, небесстрастно-почвенному миру, а к безжизненному чистому разуму. К латинскому *ratione* (из знаменитого «*Nichil est sine ratione*»), этимология которого упирается в язык римских торговцев, в операции исчисления (см.: [5. С. 212]). Жиль Делёз, правда, пытается взять Лейбница под защиту, утверждая, что достаточным основанием лейбницевской монады выступает не отвлеченная неизменная сущность, а спонтанность, внутренняя активность, энергийность (см.: [8]). Однако и подобное толкование не выводит ситуацию за рамки панлогизма. Ведь и спонтанность, как отмечает сам французский интерпретатор, не гарантирует существования реального, обеспечивая лишь существование актуального, иными словами – виртуального, сугубо интеллигибельного. Когда же он заводит речь о достаточном основании для пространственно-временного сущего, производного от монадологической структуры, то оно и вовсе отождествляется с согласованностью – аналогично тому, как в матрице когеренции корректно сочетаются мысли человеческого ума и(или) фразы искусственного интеллекта. Вдобавок в де-

лёзовской трактовке лейбницианства индивидуальное сущее (с очевидностью близкое тому, что автор настоящего текста именует состоятельным сущим) панлогистски опять же уравнивается с достаточным основанием, редуцируется к нему. И тут двойная незадача: умаляется и индивидуальность-состоятельность, и фундированность. Индивидуальное опускается до безликой активности и узловой ячейки в сети корреляций (с последующей утратой и этого своего узлового статуса). Достаточное основание – сливаясь с тем, что оно обосновывает, – становится неотличимым от полной безосновности (того, к чему оно примеряется нами): аналогично тому, как всего лишь мыслимое бытие неотлично от небытия. Ни каузальная, ни нормативно фундированная детерминированность не придают сущему собственно бытийную определенность.

Детерминированность и самость

Состоятельность, обоснованно выступая высшей формой детерминированности-определенности, притязает на то, чтобы, возвысившись над собой, предстать как *самость*. Та (в том аспекте, в котором она здесь нас интересует) характеризуется сочетанием предельной определенности и определенной неопределенности. Тут минимум игры в парадоксальность: по-другому корректную характеристику не выписать. Неопределенность, присущая самости и наделяющая ее потенцией свободы и самостоятельности (практически утверждаемой свободы), небеспредельна: ни для сущего как такового (оно никогда не станет вовсе не-сущим, аналогично тому, как бывшее, пусть и позабытое, не станет не-бывшим), ни для всякого конкретно сущего, с которым может произойти многое, но не все что угодно. Определенность, будучи самой собой, имеет вне себя свою полярную противоположность – неопределенность (содержательную вариативность). Самость, содержащая в себе долю неопределенности, не имеет внешней полярности, соотносясь с чем-то или со всем не столь радикально, а именно лишь по сходству и различию.

Состоятельность и несостоятельность адекватно распознаются извне: в настоящий момент или в будущем. Самость не поддается внешнему распознаванию, да и внутренние усилия по ее самоидентификации достигают цели непрогнозируемо эпизодически, время от времени. Трудности с ее сторонним удостоверением провоцируют редукцию самости к состоятельности, что оказывается на поверку исходным или завершающим шагом редукционистской стратегии, сводящей состоятельность, и детерминированность в целом, к каузальности. Разочарование в такого рода упрощении скачкообразно ведет к индетерминистским декларациям, которые, впрочем, могут быть вызваны и встречной тенденцией, опрометчиво настаивающей на полной автономии самости, на независимости ее от чего бы то ни было, включая состоятельность, и на разрыве цепочки детерминации, отсекая от состоятельности фундированность, а от фундированности каузальность.

Подозрительное отношение к причинной детерминации всегда обусловлено умалением самости – действительно усеченной (в том числе, или даже прежде всего, системой каузальных отношений) либо спекулятивно усеченной (той же каузальностью, объективной или надуманной, а возможно и чем-то иным). Так, Ницше, иронично отзывавшийся о субъекте, о человеческом Я и его притязаниях, уничижительно высказывается, как помним, и о причин-

ной связи – будто бы сугубо измышленной (ущербным «последним человеком», вероятнее всего).

Дистанцируясь от сведения каузальности исключительно к ее субъектной, психологической компоненте – как в радикальной ницшевской версии или у Л. Витгенштейна в «Логико-философском трактате» (см. афоризм 5.1361: [9. С. 139–140]), так и в умеренной юмовской вариации, со скепсисом, но без дискредитации позиционирующей фигуру субъекта, – опрометчиво настаивать и на отсутствии этой компоненты в системе каузальных отношений, в которую, по крайней мере, вовлечен человек. Я могу помыслить-представить диковинное растение или животное, которое (или похожее на него) находится за тысячи километров от меня или вовсе не встречается за пределами моего сознания, – и все же, пусть на миг, диковинный образ и мысль о нем повлияют на мое душевное состояние, отчасти детерминируют его. Приглушая антисубъектные мотивы нищезанятия, стоит поддержать немецкого интуитивиста в том, что причинение антропоморфно ассоциируется нами с намерением и что о намерении, отличным от действия, мы оправданно говорим, пока действие и каждый очередной его акт еще не совершены или уже завершены. В процессе же самого действия отличать от него его (наше) намерение смысла большого нет. Это уловка вечно спешащего и(или) вечно опаздывающего сознания.

Возражая ницшевскому толкованию причинности, следует подчеркнуть: присутствие в каузальности субъективной составляющей (именно составляющей, а не формы, в которую облекается объективная каузальность) не отрицает наличия и объективной компоненты – особенно в том случае, если под объективностью понимается не нечто, вовсе независимое от субъекта, а максимально принудительное по отношению к нему и вне его по преимуществу существующее. Концептуальное умаление субъекта не проясняет сути и нюансов причинной детерминации – напротив, спекулятивно затуманивает ее онтологический статус. С подобным эффектом мы встречаемся сегодня в претенциозном *IT*-дискурсе.

Каузальность и «сетевое» мышление

Броским интеллектуальным эпифеноменом *IT*-экспансии выступает акторно-сетевая теория (АСТ). Предпринятая ею очередная попытка табуировать априоризм и эссенциализм оборачивается, в частности, редукцией обоснования к причинению и вуалированием каузальной проблематики вплоть до поощрения индетерминистских коннотаций. По факту же последние, дополняя, то прикрывают собой, то оттеняют каузальный технологический детерминизм с решающей ролью в нем техники семиотических процедур.

Брюно Латур (см.: [10]), знаковая фигура в ряду разработчиков АСТ, не видя большого смысла в оппозиции субъекта и объекта, отказывается (на словах, по крайней мере) как от сплошной субъективации каузальных отношений, так и от наведения мостов между субъектным и объектным сегментами каузального поля. Держась исключительно объектно-ориентированной линии рассуждений, он предлагает выделять несколько типов причинности, одинаково встречающихся и в природе, и в обществе, и на их границе (в их мозаичном симбиозе).

Может сложиться впечатление, что французский интеллектуал озабочен снятием всех препон и всех иерархий (направленностей) в пространстве действия каузальности: дескать, она везде одна и та же. Но на деле обнаруживаем кардинально иную картину. Общество, по мысли Латура, исходно может и не быть детерминировано природной средой, ведь их взаимные влияния полагаются равносильными. При этом область социального формально уравнивается и с техносферой – реально становясь вместе с природным сущим подчиненной ей. И удивляться тут нечему, ведь именно в технических системах качественное различие видов причинности (скажем, демаркация сотворения и порождения) перестает играть важную роль, количественные характеристики всякой связи и всякой детерминации становятся исчерпывающими, определяющими результирующую направленность взаимодействия. Латуровская декларация о распространении всех типов каузальности на все сегменты мыслимого сущего оказывается, по сути, ширмой для утверждения каузального приоритета техносферы над обществом и над природой, т.е. для тривиального переворачивания естественного порядка вещей, для его аберрации в пользу технологического детерминизма. Более того, при желании, несомненно имеющемуся у адепта сетевых структур, минимизируя и обнуляя количественные различия в пучке причинных детерминаций, можно исподволь продвигать идею и о ликвидации каузальности, в частности, под благовидным предлогом укрепления значимости каждой единичной сущности или с целью расщепления будто бы исключительно спекулятивных сильных связей на эмпирически достоверные слабые.

Не вызывает сомнений, что каузальность в своих абсолютистских притязаниях отменяет и всякое нереляционное сущее, и саму себя. Стопроцентная причинная обусловленность чего бы то ни было означала бы, что нечто как таковое, не сводимое к чему-то иному, не существует вовсе. Абсолютная причинность, стало быть, априори растворяется в небытии, совпадает с абсолютной индетерминированностью, моментально утрачивая и собственную определенность, и свою способность определять-детерминировать хоть какое-то нечто.

Неоспоримо, конечно, и то, что причинная связь всегда так или иначе ограничивает, умаляет сущее, к которому она приложима. Язык, если вдуматься, не лжет: причиняется обычно не радость и счастье, а горе, страдание, боль. Латур же полагает умаляющим не только причинение, но и обоснование (по крайней мере, когда основание не совпадает с обосновываемым). Тем самым фундированность с очевидностью редуцируется к каузальности. Если, однако, упорно сторониться редукции, то целесообразно допустить наличие никак – ни логикой, ни эмпирикой – не запрещенного основания, которое дает не убыль, а рост того, что оно обосновывает. Игнорирование такого рода поддержки, проводимое под флагом антиэссенциализма, ничуть не укрепляет, напротив, ослабляет состоятельность конкретно сущего.

Критика каузальности – обоснованная и необоснованная (некоторые выводы в ракурсе экзистенциальной онтологии)

Претензии к причинной детерминации оправданны, когда она, усилиями своих сторонников, пытается, устранив или подмяв под себя фундированность и состоятельность, предстать единственной или главенствующей де-

терминантой конкретно сущего. Такого рода гегемония причинности связана с беспочвенным умалением телесно-вещного мира и самости субъекта, свобода которого оказывается тогда, по сути, фиктивной, легко редуцируемой к комплексу несвободных, вынужденных актов.

Небезосновательны упреки, адресуемые полярным – сугубо объективистской и сугубо субъективистской – трактовкам каузальности. Первая унижает человека, превращая причинную матрицу в безапелляционно повелевающую инстанцию. Вторая выставляет причинность спекулятивным продуктом, произведенным существом с непомерным самомнением, но на деле не способным к решительному сопротивлению внешним угрозам.

Несостоятельны выпады против каузальной детерминации, когда ее гнет пытаются фиктивно ослабить ссылкой на существование «свободной» причинности или демпфировать горизонтальными связями сетевых структур. Сети лишь маскируют причинную вертикаль. Им ее не обуздать.

Список источников

1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Ч. 1. Объективная логика. Ч. 2. Субъективная логика / пер. Б. Столпнера. СПб.: Наука, 2002. 800 с.
2. Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности / пер. Л. Медведевой. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2015. 196 с.
3. Брайант Л.Р. Демократия объектов / пер. О.С. Мышкина. Пермь: Гиле Пресс, 2019. 320 с.
4. Фатенков А.Н. Онтологические жесты и образы революции // Вопросы философии. 2020. № 3. С. 75–87.
5. Хайдеггер М. Положение об основании // Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты / пер. О.А. Коваль. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ: Алетейя, 2000. С. 17–213.
6. Фатенков А.Н. Концепция подвижно-иерархической причинности (на пути преодоления механистической каузальности) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения. 2005. № 2. С. 155–161.
7. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / пер. Е. Герцык и др. М.: Культурная Революция, 2005. 880 с.
8. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко / пер. Б.М. Скуратова; общ. ред. В.А. Подороги. М.: Логос, 1997. 264 с.
9. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Избранные работы / пер. В. Руднева. М.: Территория будущего, 2005. С. 14–221.
10. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.

References

1. Hegel, G.W.F. (2002) *Nauka logiki* [The Science of Logic]. Translated from German by B. Stolpner. St. Petersburg: Nauka.
2. Meillassoux, K. (2015) *Posle konechnosti: Esse o neobkhodimosti kontingentnosti* [After finiteness: An essay on the need for contingency]. Translated from French by L. Medvedeva. Ekaterinburg; Moscow: Kabinetnyy uchenyy.
3. Bryant, L.R. (2019) *Demokratiya ob"ektov* [Democracy of Objects]. Translated from English by O.S. Myshkin. Perm: Gile Press.
4. Fatenkov, A.N. (2020) Ontologicheskie zhesty i obrazy revolyutsii [Ontological gestures and images of the revolution]. *Voprosy filosofii*. 3. pp. 75–87.
5. Heidegger, M. (2000) *Polozhenie ob osnovanii. Stat'i i fragmenty* [Provision on the Foundation. Articles and Fragments]. Translated from German by O.A. Koval. St. Petersburg: Laboratory for Metaphysical Research of the Faculty of Philosophy, St. Petersburg State University: Aleteyya. pp. 17–213.

6. Fatenkov, A.N. (2005) Kontsepsiya podvizhno-ierarkhicheskoy prichinnosti (na puti preodoleniya mekhanisticheskoy kauzal'nosti) [The concept of mobile-hierarchical causality (on the way to overcome mechanistic causality)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6. Filosofiya, politologiya, sotsiologiya, psikhologiya, pravo, mezhdunarodnye otnosheniya*. 2. pp. 155–161.

7. Nietzsche, F. (2005) *Volya k vlasti. Opyt pereotsenki vseh tsennostey* [The will to power. Experience the revaluation of all values]. Translated from German by E. Gertsyk et al. Moscow: Kul'turnaya Revolyutsiya.

8. Deleuze, J. (1997) *Skladka. Leybnits i barokko* [The Fold: Leibniz and the Baroque]. Translated from French by B.M. Skuratov. Moscow: Logos.

9. Wittgenstein, L. (2005) *Izbrannye raboty* [Selected Works]. Translated from German by V. Rudnev. Moscow: Territoriya budushchego. pp. 14–221.

10. Latour, B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembly of the social: An introduction to the actor-network theory]. Translated from French by I. Polonskaya. Moscow: HSE.

Сведения об авторе:

Фатенков А.Н. – доктор философских наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Ниžний Новгород, Россия); Приволжский исследовательский медицинский университет (Ниžний Новгород, Россия). E-mail: fatenkov@fsn.unn.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Fatenkov A.N. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation); Privolzhsky Research Medical University (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: fatenkov@fsn.unn.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 29.12.2020;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023

The article was submitted 29.12.2020;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Original article

УДК: 17 + 21 + 34.01 + 81 + 51-7 + 512

doi: 10.17223/1998863X/71/7

ANALYTIC PHILOSOPHY OF NATURAL LANGUAGE OF JURISPRUDENCE, ETHICS, AND THEOLOGY (FOUR MATHEMATICALLY DIFFERENT FORMAL-AXIOLOGICAL MEANINGS OF “LAW” AND FOUR ONES OF “POWER”)

Vladimir O. Lobovikov

*Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, Russian Federation, vlobovikov@mail.ru*

Abstract. The analysis of the natural language of the philosophy of natural law, natural morality and natural theology results in the realization of the existence of a quartet of mathematically different formal-axiological meanings of the word “law” and their definition in the two-valued algebra of formal axiology. The positive constitutional law of the separation of legislative and executive powers is substantiated by calculating the corresponding functions in this algebra.

Keywords: law, power, moral-legal-value-function, two-valued algebra of moral-legal actions, formal-axiological law, separation of law-giving and law-executing powers

For citation: Lobovikov V.O. (2023) Analytic philosophy of natural language of jurisprudence, ethics, and theology (Four mathematically different formal-axiological meanings of “law” and four ones of “power”). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 59–67. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/7

Научная статья

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ЭТИКИ И ТЕОЛОГИИ (ЧЕТЫРЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ЗАКОН» И ЧЕТЫРЕ – «ВЛАСТЬ»)

Владимир Олегович Лобовиков

*Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук,
Екатеринбург, Россия, vlobovikov@mail.ru*

Аннотация. Результатом анализа естественного языка философии естественного права, естественной морали и естественной теологии является осознание существования квартета математически различных формально-аксиологических значений слова «закон» и определение их в двузначной алгебре формальной аксиологии. Позитивный конституционный закон разделения законодательной и исполнительной властей обосновывается путем вычисления соответствующих функций в этой алгебре.

Ключевые слова: закон, власть, морально-правовая ценностная функция, двузначная алгебра морально-правовых действий, формально-аксиологический закон, разделение законодательной и исполнительной властей

Для цитирования: Лобовиков В.О. Аналитическая философия естественного языка юриспруденции, этики и теологии (четыре математически различные формально-

аксиологические значения слова «закон» и четыре – «власть») // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 59–67. doi: 10.17223/1998863X/71/7

It must be emphasized then – and with all rigor – that Classical law was a law of *bodies* while ours is a law of *functions*. The Romans created a juristic static; our task is juristic dynamics. For us persons are not bodies, but units of force and will; and things are not bodies, but aims, means and creations of these units. The Classical relation between bodies was positional, but the relation between forces is called action.

O. Spengler [1. P. 82].

“The future will be called upon to transpose our entire legal thought into alignment with our higher physics and mathematics. Our whole social, economic, and technical life is waiting to be understood, at long last, in this wise. We shall need a century and more of keenest and deepest thought to arrive at the goal. And the prerequisite is a wholly new kind of preparatory training in the jurist.

O. Spengler [1. P. 83].

“...the end of the Divine government is God Himself, and His law is not distinct from Himself.

T. Aquinas [2. P. 208].

1. Analyzing the semantics of natural language and quartets of mathematically different formal-axiological meanings of “law” and “power”

Since the mid-20th century, the analytic philosophy of natural language of jurisprudence and of lawyer practice has been studied systematically. Intellectually respectable examples of such studies can be found, for instance, in [3–10]. However, some aspects of juridic language are still almost not analyzed. Today, the *descriptive-indicative* semantics of juridic language is investigated sufficiently, but the *formal-axiological* (moral-legal-value-*functional*) semantics of natural language of theory of law-and-state still remains an almost blank. The blank is almost not filled in, either by negligence or on principle (due to the legal positivism, for example). The almost unknown moral-legal-value-*functional* (formal-axiological) semantics of natural language in general (and of juridic one especially) is based on the presumption that meanings of the language are either elementary *functions* or compositions of *functions* (in proper *mathematical* meaning of the term “function”). Initially, such an unusual view (ideal) of language of lawyers and philosophers of law was proclaimed by Oswald Spengler [1] about a century ago, but still his extraordinary view remains relevant as the grave problem he formulated in [1] is not solved yet, and the aim (ideal) formulated by Spengler is still not realized.

According to Spengler, who was a celebrated specialist in both history of mathematics and history of law-and-state, in contrast to the ancient Roman law doctrine which had been a jurisprudence of *persons and things*, our contemporary theory of law-and-state should be a jurisprudence of *functions* in the proper mathematical meaning of the term “function” [1. P. 82]. When, at the very beginning of the 1970s, I was creating and developing a two-valued algebra of actions (as a system of compositions of moral-legal-value-*functions*) [11], I was not aware of the relevant content of Spengler’s famous treatise [1], discussing history of jurisprudence and history of mathematics. Later (in 1985, in Helsinki), when I had read the treatise by Spengler, I recognized that my innovative work was developing exactly in that very direction which had been indicated by Spengler in [1]. But I noticed that Spengler had not constructed a concrete system of legal functions determined by legal arguments (in proper mathematical meanings of the terms). Moreover, he had not indicated even concrete examples of such legal functions. His innovative discourse of the fundamental similarity and coordination between different cultures of mathematics and different cultures of jurisprudence had been too abstract, ambiguous, and metaphorical, as during the discourse he had been confined within natural language exclusively. In contrast to Spengler himself and to the professional lawyers ignoring his genius discourse, I constructed such an algebraic system of *functions* which could be used for mathematizing jurisprudence. In this article, I shall try to demonstrate that the mentioned algebraic system could have fruitful applications in law theory and practice.

Continuing movement in the concrete direction indicated originally by Spengler, I have arrived to the below-presented interesting results concerning meanings of the words “law” and “power”. In natural language, these words have many different meanings. Some of them are well-known. But some of them, namely, *formal-axiological* meanings of words are almost unknown. By definition, the *formal-axiological meanings are nothing but moral-legal-evaluation-functions determined by their moral-legal-evaluation-arguments*. Herein it is important to recognize that the words “law” and “power” are *homonyms* even within the *formal-axiological* subsystem of semantics of natural language. In this subsystem, each of the two words has no single and only formal-axiological meaning but several mathematically different ones. If, in the two-valued system, the discourse is reduced to *only one-placed* moral-legal-evaluation-functions, then the qualitatively different formal-axiological meanings of “law” and “power” (in natural language) can be defined precisely by the following Tables 1 and 2, respectively.

Table 1. Law

x	L_1x	L_2x	L_3x	L_4x
g	g	b	b	g
b	b	g	b	g

In Table 1, the symbol L_1x stands for “*law by* (what, whom) x ”, or “*law of* (what, whom) x ”, or “ x ’s law”, or “ x ’s *being a law*”. Herein, x denotes the moral-legal-value-argument, taking its values from the set {g (good), b (bad)}, and the sign L_1x denotes the moral-legal-value of the function L_1 determined by x . The functions L_1, L_2, L_3, L_4 take their moral-legal-values from the set {g (good), b (bad)}, as well. The symbol L_2x stands for “*law for* (what, whom) x ”, or “*law over* (what, whom) x ”, or “ x ’s being regulated by law”. The sign L_3x denotes “*oneness*

(unity) of L_1x and L_2x ”, or “ x ’s law for (over) x ”, or “*absolute lawlessness, anomie (normlessness)* concerning x , i.e. existence of *neither* L_1x *nor* L_2x ”. The symbol L_4x stands for “*absolute lawfulness* concerning x ”, i.e. “*division (separation) of* L_1x *and* L_2x ”. The functions L_1, L_2, L_3, L_4 are defined by Table 1 placed above.

In Table 2 located below, the symbol P_1x stands for “*power (rule) by* (what, whom) x ”, or “*power (rule) of* (what, whom) x (as a ruler)”, or “ x ’s *power (rule)*”, or “ x ’s *being a power*”. P_2x stands for “*power (rule) over* (what, whom) x ”, or “*overpowering, forcing, violating* (what, whom) x ”, or “ x ’s *being overpowered, violated, subjected*”. The sign P_3x denotes “*oneness (unity) of* P_1x *and* P_2x ”, or “ x ’s *power over* x ”, or “*absolute powerlessness* concerning x , i.e. existence of *neither* P_1x *nor* P_2x ”. The symbol P_4x stands for “*absolute powerfulness* concerning x ”, i.e. “*division (separation) of* P_1x *and* P_2x ”. The moral-legal-value-functions P_1, P_2, P_3, P_4 are defined below by Table 2.

Table 2. **Power**

x	P_1x	P_2x	P_3x	P_4x
g	g	b	b	g
b	b	g	b	g

Comparing the above-presented tables, one can notice a surprising isomorphism between them to be explicated below by means of algebra of moral-legal actions.

2. Modeling formal axiological semantics of natural language of jurisprudence, ethics, and theology by two-valued algebra of formal axiology

By definition, the two-valued algebraic system of natural-law-and-morals as formal axiology is based on the set Δ of all such and only such *either-realized-or-not-realized actions* (elementary or complex ones – it does not matter), *or either-existing-or-not-existing agents* (individual or collective ones – it does not matter), which are *either good or bad* ones from the viewpoint of a *moral-legal valuator* V (individual or collective one – it does not matter).

Algebraic operations defined on the set Δ are *moral-legal-value-functions*. *Moral-legal-value-variables* of these functions take their *moral-legal-values* from the set $\{g, b\}$. Here the symbols “ g ” and “ b ” stand for the *moral-legal-values* “good” and “bad”, respectively. The functions take their values from the same set. Thus, in contrast to the ancient Roman law focused on concrete moral-legal *relations among various elements of the set of bodily persons and bodily things*, the here-presented *qualitatively new* (substantially modernized and mathematized) natural legal-law theory is focused on *formal-axiological relations* among various *moral-legal-value-functions*. In perfect accordance with [1], *not bodies* (i.e. sensual things and persons reduced to bodies) but *moral-legal actions and functions* make up the proper subject-matter of successfully reanimated and progressively developed natural jurisprudence of our time [12]. The set of actions and agents (persons), on which the algebraic system of actions is defined, is quite homogeneous, as persons are effectively reduced to totalities of actions realized by these persons.

The symbols “ x ” and “ y ” stand for *moral-legal-evaluation-forms* of elements of Δ . Moral-legal-evaluation-forms of actions and persons can be either elementary or compound ones. Elementary moral-legal-evaluation-forms deprived of their concrete contents represent independent *moral-legal-value-arguments*. Compound moral-legal-evaluation-forms deprived of their concrete contents represent *moral-legal-value-functions* determined by these arguments. In the previous section of the article, the abstract discourse of moral-legal-value-functions has been instantiated by the four one-placed ones called “law” and the four one-placed ones called “power”. Now, by means of the following glossary, let us introduce and define some additional one-placed moral-legal-value-functions immediately related to contents of the present article.

The *glossary* for the below-located Table 3: Let the symbol Rx stand for “restriction, limitation, definition, definiteness, limitedness of/for (what, whom) x ”. The symbol Cx stands for “creation, construction, generation, production of (what, whom) x ”. Ex is “execution, performance, realization of (what, whom) x ”. Bx – “being (existence), life of x ”. Nx is “nonbeing (non-existence), death of x ”. Zx is “absolute nonbeing of x ”. Ax is “absolute being of x ”. Ox is “opposite of/for (what, whom) x ”. Gx is “God of/for (what, whom) x (or x ’s God) in a *universal monotheistic* religion”. δx is “infinite, indefinite, unlimited, eternal, immortal (what, who) x ”. Fx stands for “finite, definite, limited, temporal, mortal (what, who) x ”. Mx is “mutable, changeable, variable, volatile (what, who) x ”. Ix is “immutable, constant, perpetual (what, who) x ”. Ux is “universal (what, who) x ”. Yx is “particular, partial (not universal) x ”. Sx is “contingent, accidental (not necessary) x ”. The introduced unary moral-legal-value-functions are defined below by Table 3.

Table 3. The one-placed functions

x	Rx	Cx	Ex	Bx	Nx	Zx	Ax	Ox	Gx	δx	Fx	Mx	Ix	Ux	Yx	Sx
g	b	g	g	g	b	b	g	b	g	g	b	b	g	g	b	b
b	g	b	b	b	g	b	g	g	g	b	g	g	b	b	g	g

In the two-valued algebra of natural law-and-morals as formal axiology, not only one-placed moral-legal-value-functions but also two-placed ones are considered. Let us introduce some binary moral-legal-value-functions by the following glossary for Table 4.

The *glossary* for the below-located Table 4. (In this article the upper number-index 2 standing immediately after a capital Latin letter informs that the indexed Latin letter denotes a moral-legal-value-function determined by *two* moral-legal-value-arguments.) Let the symbol L^2xy stand for the two-placed moral-legal-value-function “ y ’s law for (over) x ”. R^2xy stands for the binary moral-legal-value-function “ y ’s restriction, regulation, limitation, definition of/for x ”. P^2xy is “ y ’s power (rule), violence over x ”, or “overpowering, violating (what, whom) x by y ”. K^2xy – “ x ’s being with y ” or “ x ’s and y ’s being together”, or “joint being of x and y ”, or “oneness (unity) of x and y ”. N^2xy is “realizing neither x nor y (annihilation of both x and y)”. D^2xy – moral-legal operation “divorce (division), separation of x and y ”. T^2xy is binary moral-legal operation “termination, destruction, corruption of x by y ”. C^2xy is binary moral-legal operation “conservation, preservation, protection, defense of x by y ”. O^2xy is “ y ’s being an opposite of/for x ”, or “ y ’s

contradiction with (opposition to) x ". These moral-legal-value-functions determined by two arguments are precisely defined below by Table 4.

Table 4. The moral-legal-value-functions determined by two arguments

x	y	L^2xy	R^2xy	P^2xy	K^2xy	N^2xy	D^2xy	T^2xy	C^2xy	O^2xy
g	g	b	b	b	g	b	b	b	g	b
g	b	b	b	b	b	b	g	b	g	b
b	g	g	g	g	b	b	g	g	b	g
b	b	b	b	b	b	g	g	b	g	b

Now let us define precisely the notions "*formal-axiological equivalence (of moral-legal-value-functions)*" and "*formal-axiological law*" (or "*universally and immutably good form of moral-legal actions*"), which (notions) are fundamental ones of/for the two-valued algebraic system of formal axiology of moral-legal actions.

Definition DF-1 of the binary relation "*formal-axiological-equivalence (of moral-legal-value-functions)*": in the algebraic system of formal axiology, any moral-legal-value-functions Ξ and Θ are *formally-axiologically equivalent* (this is represented by the expression " $\Xi=+=\Theta$ "), if and only if they acquire identical moral-legal-values (from the set $\{g \text{ (good)}, b \text{ (bad)}\}$) under any possible combination of the moral-legal-values of their moral-legal-evaluation-variables.

Definition DF-2 of the fundamental notion "*formal-axiological law*": in algebra of *formal axiology of law and morals*, any evaluation-function Θ is called *formally-axiologically (or necessarily, or universally, or absolutely) good one*, or a *law of algebra of formal axiology* (or a "*law of natural jurisprudences and natural ethics*"), if and only if Θ acquires the value g (*good*) under any possible combination of the values of its moral-legal-evaluation-variables. In other words, the function Θ is *formally-axiologically (or constantly, or absolutely) good one*, iff $\Theta=+=g$ (*good*).

With respect to the above-given definition DF-1, here it is worth mentioning and emphasizing that in the ambiguous natural language, very often the relation " $\Xi=+=\Theta$ " is represented by the words-homonyms "is", "means", "implies", "entails", "equivalence" (They may stand for the *formal-axiological equivalence* relation " $=+=$ "). As in the ordinary natural language the words "is", "means", "implies", "equivalence" also may stand for the logic operations "equivalence" and "implication", there is a possibility of confusions produced by absolute identifying and, hence, substituting for each other the substantially different notions " $=+=$ " and logic operation "equivalence" (or " $=+=$ " and logic operation "implication"). In the above-defined algebraic system of formal axiology of moral-legal actions, such chaotic linguistic blends and substitutions are strictly forbidden. Ignoring this prohibition necessarily heads to grave logic-linguistic paradoxes.

To expose how the above-defined discrete mathematical model can be utilized with respect to natural law, natural morals, and natural theology, i.e., to illustrate the above-presented abstract formal-axiological discourse by concrete examples, now it is opportune to start constructing and discussing the algebraic equations concerning the quartet of mathematically different meanings of "law" and the quar-

tet of mathematically different meanings of “power”. Using the above-presented definitions one can generate the following list of *formal-axiological equations* of compositions of the above-defined functions.

- 1) $Bx = + = L_1x$: being of x is equivalent to being of x 's law.
- 2) $x = + = L_1x$: any x is equivalent to x 's law.
- 3) $L_1Yx = + = YL_1x$: law by particular x is particular (not universal) law by x .
- 4) $L_1Fx = + = FL_1x$: law by definite (limited) x is definite (limited) law by x .
- 5) $L_1Sx = + = SL_1x$: law by contingent x is contingent law by x :
- 6) $L_2Fx = + = FL_2x$: law for/over finite (temporal) x is temporal law for/over x .
- 7) $L_1Gx = + = Gx$: law by God of x is identical to God of x . “... His law is not distinct from Himself” [2. P. 208].
- 8) $8Gx = + = 8L_1Gx$: eternal God of x is identical to eternal law by God of x .
- 9) $L_1Fx = + = Fx$: law by mortal x is equivalent to mortal x .
- 10) $L_1x = + = P_1x$: law by x is equivalent to x 's power (rule).
- 11) $L_2x = + = P_2x$: law for (over) x is equivalent to power (rule, violence) over x .
- 12) $L_2x = + = Rx$: law for (over) x is equivalent to restriction, limitation of/for x .
- 13) $L^2xy = + = T^2xy$: there is the formal-axiological equivalence between “ y 's law for (over) x and destruction (termination) of x by y ”.
- 14) $L_2x = + = OL_1x$: law for (over) x is an opposite of/for law by x .
- 15) $Bx = + = RL_2x$: being (life) of x is equivalent to definiteness (limitedness) of law for (over) x .
- 16) $NRL_2x = + = Nx$: nonbeing of definiteness (limitedness) of law for (over) x is formally-axiologically equivalent to nonbeing (death) of x .

Thus, according to the mathematical model, in contrast to *Divine* law which is a *constant*, usually, *positive* laws are represented by the functions L_1 , L_2 , and L^2 , which are not constants. However, in some rare situations, *positive* laws are represented by the functions L_3 and L_4 which are constants. A concrete example of such a rare situation is given below.

3. Justifying the positive constitutional law of separation of legislative and executive powers of state by computationally demonstrating a natural (formal-axiological) legal law of separation of law-giving and law-executing in the two-valued algebra of moral-legal actions

Above, it has been exposed how the discrete mathematical model can be utilized with respect to natural law, natural morals, and natural theology, namely, in relation to the quartet of mathematically different moral-legal-value-functions called “law” and in relation to the quartet of the ones called “power”. Now it is opportune to consider a concrete example exposing how the mathematical apparatus works in relation to a concrete *positive* law created and executed by the corresponding powers of a human-made state. In this article, the concrete example shall be taken from the *positive constitutional* law. Rationally to limit the indicated domain of application of the algebraic system, I have decided to reduce the domain to the *positive constitutional* law systems of the Russian Federation and the U.S.A.

According to Tables 1–3, under any value of the variable x , the functions P_1Ex (power of *execution* of x) and P_1CL_2x (power of giving a *law for* x) possess opposite values. According to Table 4, the function D^2xy has the value g (good), when

and only when x and y have opposite values. Consequently, under any value of the variable x , the composition of functions $D^2P_1Exp_1CL_2x$ possesses the value g (good). Consequently, due to the definition DF-2, the function $D^2P_1Exp_1CL_2x$ is a natural (formal-axiological) law of algebra of moral-legal actions. A translation of the equation $D^2P_1Exp_1CL_2x = + = g$ from artificial language into natural human one is the following: separation (division) of power of *executing* x and power of *giving a law for* x is a natural legal law. By definition, the natural legal law is such a moral-legal-value-function which is a *positive* moral-legal-value-constant. The natural legal law is “always good” according to the ancient Roman law doctrine personified by Paul – one of its famous representatives [13. P. 2–3].

Thus, the *positive* constitutional law of separation (division) of the executive and the legislative powers of a human-made state has been vindicated (justified strictly deductively by computing compositions of relevant functions) in the two-valued algebraic system of natural legal law as formal axiology. Hence, the two philosophies of legal law (the naturalistic and the positivistic ones) are not absolutely excluding each other. The mathematized theory of natural legal law can provide a convincing demonstration (vindication) of some well-done positive laws. Thus, the concrete example, showing how the algebraic system in question can help to find out, clarify, and define precisely some almost unknown formal-axiological meanings of words and word-combinations of natural language of jurisprudence (and to justify a proper *positive* law created by law-giving power of human-made state), is provided.

In [10], a theoretically interesting proper *axiomatic* view (pattern) of positive constitutional law has been presented. Being a complement to [10], the given article has presented a theoretically interesting proper *algebraic* view (pattern) of positive constitutional law.

References

1. Spengler, O. (1928) *The Decline of the West*. Vol. 2. New York: Alfred A. Knopf. Inc.
2. Aquinas, T. (1994) *The Summa Theologica*. In: Adler, M.J. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 18. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopedia Britannica, Inc.
3. Hart, H.L.A. (1961) *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
4. Hart, H.L.A. (1983) *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
5. Ogleznev, V.V. (2012) *G.L.A. Hart i formirovanie analiticheskoy filosofii prava* [H.L.A. Hart and Formation of Analytical Philosophy of Law]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Bix, B. (1991) H.L.A. Hart and the “Open Texture” of Language. *Law and Philosophy*. 10. pp. 51–72.
7. Ogleznev, V.V. (2019) Brian Bix of the “Open Texture” (of Juridic Language). *Trudy instituta gosudarstva i prava RAN – Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences*. 14(5). pp. 64–83.
8. Didikin, A.B. & Ogleznev, V.V. (2012) *Ontologiya i epistemologiya prava: analiticheskaya traditsiya* [Ontology and Epistemology of Law: Analytical Tradition]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
9. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2016) *Analiticheskaya filosofiya, yuridicheskiy yazyk i filosofiya prava* [Analytical Philosophy, Legal Language and Philosophy of Law]. Tomsk: Tomsk State University.
10. Ogleznev, V. & Surovtsev, V. (2018) The Constitution as an Axiomatic System. *Axiomathes*. 28. pp. 219–232. [Online] Available from: <https://doi.org/10.1007/s10516-017-9359-x>
11. Lobovikov, V.O. (1984) *Modal'naya logika otsenok i norm s tochki zreniya soderzhatel'noy etiki i prava* [Modal Logic of Evaluations and of Norms from the Viewpoint of Content Ethics and Law]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University.

12. Lobovikov, V.O. (2022) Natural Legal Law as Mathematics of Freedom (Four Mathematically Different Moral-Legal-Value-Functions “Freedom” and Four Ones “Slavery” Defined Precisely in Two-Valued Algebra of Formal Axiology of Ethics and Jurisprudence). *Antinomies*. 22(1). pp. 65–90. DOI: 10.17506/26867206_2022_22_1_65

13. Watson, A. (ed.) (1998) *The Digest of Justinian*. Vol.1. Philadelphia: Philadelphia University Press.

Information about the author:

Lobovikov V.O. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, chief researcher, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: vlobovikov@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Лобовиков В.О. – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург, Россия). E-mail: vlobovikov@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The article was submitted 20.11.2022;

approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Статья поступила в редакцию 20.11.2022;

одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023

Original article

УДК 16

doi: 10.17223/1998863X/71/8

ON THE PROBLEM OF REDUCING SEMANTICS TO FORMAL RULES IN ANALYTIC PHILOSOPHY

Pirmin Stekeler-Weithofer

University of Leipzig, Leipzig, Germany, stekeler@uni-leipzig.de

Abstract. The sciences, including social sciences and the humanities, are institutions in which we develop and control general knowledge as the material content in our semantic systems – which we presuppose and use in assertions and other speech acts. Dialectical reason consists in free judgements that take possible exceptions of generic truths in empirical applications into account. All content rests on equivalence relations in perspectival change and is, therefore, not finer, but coarser than qualitative distinctions and syntactic forms in particular languages.

Keywords: generic knowledge, default inference, pure domains, formal logic

For citation: Stekeler-Weithofer P. (2023) On the problem of reducing semantics to formal rules in analytic philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 68–84. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/8

Научная статья

О ПРОБЛЕМЕ СВЕДЕНИЯ СЕМАНТИКИ К ФОРМАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Пирмин Штекелер-Вайтхофер

Университет Лейпцига, Лейпциг, Германия, stekeler@uni-leipzig.de

Аннотация. Науки, включая социальные и гуманитарные, – это институты, в которых мы развиваем и контролируем общее знание, понятое как материальное содержание в наших семантических системах, которое мы предпосылаем и используем в утверждениях и других речевых актах. Диалектический разум состоит в свободных актах суждения, которые принимают во внимание возможные исключения из генерических истин в их эмпирических применениях. Все содержание покоится на отношении эквивалентности в изменении перспектив и тем самым не является более точным, но скорее более грубым, чем качественные различия и синтаксические формы в конкретных языках.

Ключевые слова: генерическое знание, стандартный вывод, чистые области, формальная логика

Для цитирования: Штекелер-Вайтхофер П. О проблеме сведения семантики к формальным правилам в аналитической философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 68–84. doi: 10.17223/1998863X/71/8

1. There is no immediate correspondence between verbalized knowledge and the world

The statements that function in this text as section-titles are no claims that one has to prove, but articulate important truisms. The task of philosophy is to make truisms explicit, the task of the sciences is to argue for specific theories or models

as good means for representing certain domains of the empirical world. Most so-called arguments in philosophy thus turn into giving reasons for a specific way of *commenting* on well-known practices or facts. If they are successful, the comments can *show* us why a certain form of speaking can be helpful for better understanding. In a way, the situation of philosophers is, therefore, similar to that of art-critics. They do not at all compete with what they comment, even though there are cases, in which their commentaries can help us to see things and matters in a “clearer” light, for example when we learn to put them into the right context.

It was an important insight developed by Kant and Hegel, re-discovered by the young Wittgenstein, that the world as we refer to it is not structured *per se* – which means here: without reference to *our* conceptual *representations* of the world. However, there are important differences between talking about *my world*, *our world* and *the world*. We therefore should have problems with Wittgenstein’s aphorisms in the *Tractatus*, especially where he says that I am my world and that the world is my world¹.

The structured world to which we refer in our world-related knowledge is, however, indeed always already formed by our system of concepts, which Hegel addresses in short, generically, as “the concept”. Concepts are, as Plato already knew, ideal forms. We purposefully articulate such forms in so-called theories. I propose to understand theories as systems of sentences or structured propositions. We use them in talking about the world by saying that this or that is an instance or manifestation of this or that generic form or structure.

A purely mathematical structure comes into being through our symbolic constructions and idealizations, which lead to time-general standing sentences expressing generic knowledge about perfect forms. A paradigm case is geometry as the system of ideal *forms of rectangular solids* that we can (re-)produce like bricks in different, but by far not arbitrary, sizes and exactitudes². Before Einstein, no-one had realized that Euclidian geometry, if applied to the space of relatively moved bodies, is just an *analogy*: Outside the so-called point-space of Euclidean mathematical geometry, there is no infinite “rectangular” space at all. There are no straight lines and no flat planes in “real space”. This is the true content of the ominous, dark and misleading, statement that real space is not Euclidean. However, real space is also not exactly of the form of Einstein’s General Relativity Model, even though it makes ingenious use of *Tensor Analysis* developed by Carl Friedrich Gauss and Bernhard Riemann, taking Minkowski’s model for Simple Relativity Theory as its basis³.

Using analogical models in concrete cases is always mediated by a projective use, just as any use of a metaphor or other figurative forms of speech. Therefore, we have to distinguish between the *sentences* that we set as formally true *in* a theoretic model, on the one hand, and their *applications* in empirical contexts and concrete *speech acts*, on the other hand.

In the *Tractatus*, Wittgenstein does not distinguish (enough) between language and speech (parole), i.e. between (words or) *sentences* and *assertions* about present

¹ Ludwig Wittgenstein says in the *Tractatus Logico-Philosophicus* (= TLP) [1] Nr. 5.62 “that the world is my world”, TLP 5.63: “I am my world”, TLP 5.621: “The world and the (= our) life are the same”, but TLP 1: “The world is all what is the case”.

² Cf. [2. P. 92f].

³ Cf. [2. P. 283f and 359f].

or past affairs¹, even though he distinguishes between the sentence as an expression (sentence-sign, *Satzzeichen*)² and the “structured proposition” (called “sentence”) expressed by it. The main problem is not so much the vague ambivalence in talking about the logical “deep structure” of normal language sentences, but the following fact: Bertrand Russell and the whole tradition of analytic philosophy systematically overlook the crucial fact that *we can never abstract from the speaker, time and place in empirical propositions*. “Empirical” should always mean, indeed, that we deal with assertions or narrative stories about *this* or *that*.

If we thus understand the word “empirical”, empirical reference to the world presupposes: (1) a reference to a place and situation *here and now* or *then and there*, relative to a real or imagined speaker, (2) an *instantiation* of a *genus*, *manifestation* of a *species* or *token* of a *type* at this “place in space and time”, as we say – depending on (3) a corresponding context of speech that determines the subject matter to which we (want to) refer.

It is a deep illusion to think that we could get rid of these dependencies from context and subjective perspectives in empirical assertions. Replacing, for example, deictic pronouns by definite descriptions does not help much in the domain of empirical matters: They just presuppose silently some spatial and chronological places as “zero-points” of reference – together with an explicit characterization of the conceptual type of the empirical instance. Even though a definite description in the empirical realm like, for example, a date like 1.1.1900 AD and a place like the centre of St Peter’s Square is indeed “more objective” than a deictic reference “here and now”, this is only due to a corresponding practice of changing perspectives. We go, so to speak, from today via the conventional birth of Christ to 1900 and we imagine some travel from here to Rome. In other words, descriptions of the time and space of historical objects or events are definite only in relation to our time and place, whatever we take as “zero-points”, Jerusalem or Rome, the birth of Christ or the mythical founding of the city of Rome.

It is a non-trivial truism that, in empirical reality, there is only one way of *changing perspectives*, namely by moving to other places. There is no travel into the past and the future; and there is no way of looking into the heads of other persons. This makes the use of *generic knowledge about types of things and events* so essential when we try to talk about objective matters: We can jointly refer to them *only* as *instantiations of generic types* – and place them into a space-time-order of other empirical manifestations of things and matters. In a sense, Kant came already quite near to this insight.

For perspectival changes and object-related references, *we already must master the practical semantic forms of projecting* generic knowledge about types of things and processes onto “our experience”. In this way, generic models give structure to our world and make objectivity possible. This is the reason why children acquire *generic* knowledge in the phase of learning a first language *before* they (can) speak about *particular* properties of *singular* items.

These are very deep general truths. They show how metaphorical the thesis of a so-called isomorphism between the world and the linguistic representation of the world is, as we find it illustrated in Wittgenstein’s sketches of gnomonic oracles in

¹ [1. TLP 2–TLP 2.014].

² [1. TLP 3.12–TLP 3.2].

the nevertheless deservedly famous *Tractatus*¹. However, there is a whole manifold of structures hidden in the very notion of “sentence” as Wittgenstein uses the word – just as in the concept of *Konstantierung* (i.e. *empirical assertion*) from Moritz Schlick to Wilfrid Sellars.

Careless thinkers are regularly seduced into the thesis of a plurality of worlds or even of an incommensurability of world pictures. The unity of the world as real reality (*Wirklichkeit*) is *not* determined by a *single world-model*. The later Wittgenstein approaches this insight by recognising the purpose-dependence of our always merely local models of the world. There is not only one theory of the world, not only one ‘true’ world view; rather, we work with local structures that can be *complementary* to each other – precisely in the way that Niels Bohr recognises, or at least suspects, as the basic form of the various forms of physical world modelling.

It is, however, not easy to cope with this locality of all our representations and explanations of the world. The same holds for the dependency of empirical assertions on a priori generic knowledge – and on a concrete set of relevant aspects. When we say that there is milk in the fridge, for example, we assume a priori that it is fresh cow-milk, not poisonous, etc. We cannot check all these normal dispositional properties of milk just by present perception.

Wittgenstein’s idea of purely empirical sentences in the *Tractatus* is, therefore, utterly unrealistic. All empirical assertions *presuppose* generic knowledge expressed in sentences that are *learnt* as conceptually true. Logical atomism and empiricisms cannot account at all for *dispositions* as *default inferences* that are responsible for the very fact that virtually any empirical utterance (*Konstatierung*) is fallible – due to the limitation of controlling dispositional properties *here and now*. The fulfilments of the normally, generically, *expected resp. predicted consequences* frequently lie in the future and are, as such, mere possibilities.

Almost all interesting properties of objective things and matters are *inferentially thick* or, what amounts to the same, *dispositional*. This must be so because only on their ground we can judge how the object to which I (want to) refer from here and now normally relates to you over there or then, to other subjects or to other objects.

As a result, we have to admit that, pace Russell and Wittgenstein, there are *no purely empirical state descriptions*. This was already an insight of Hegel’s semantic holism, which correctly starts its analysis not with sentences or assertions about objects, but sees that *joint coordination of qualitative distinctions* (sometimes of whole situations) lies at the ground of all objective reference and of our talking about objective things, matters, events, and processes.

2. There are no sufficient causes for all events in the world

We probably still live, as Heidegger puts it, in the times of world-views, ideologies, precisely when we do not grasp the conceptual status of our principles for representing and explaining the world. Heidegger’s warning not to confuse the world of beings and being with our idealistic world-pictures applies, for example,

¹ See [1. TLP 2.1–TLP 2.22 and TLP 4.01], where Wittgenstein talks about an image or picture of (real) reality (*Wirklichkeit*).

to the fulfilments of our wishes to make global predictions. The “belief” in a continuous causal nexus of all world events is only a counterfactual fulfilment of our wishes.

The principle of sufficient cause (Leibniz) or, better, of *causal connectedness in causations* of events by a suitable *causa efficiens*, is, indeed, deeply confused. The Latin word “causa” just refers to all possible themes and topics, things and matters. Not even a principle of continuity holds without exceptions for all bodily movements, at least if we view subatomic particles as “bodies”.

Hegel’s insight is still underestimated that it is part of *our* scheme that we try to represent the whole system of moved bodies as good as possible by a good distribution of dynamical *forces* responsible for the movements and changes of material bodies (things, matters) in a holistic way. Even though Newton’s system was and is a great success, it was and is naïve to think that such a theory could explain “all” events in the world. The theory uses the different *masses* of the different bodies effectively as a differential condition for inferential consequences in the overall system of mechanical interactions (*Wechselwirkung*). However, we should not overestimate the scope of this approach. Friedrich Wilhelm Schelling and Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Wilhelm Ritter and Hans Christian Ørsted saw already that electromagnetic forces are of a different type, such that they have urged a new understanding of physics that surpasses Newtonian mechanics.

The principle of continuity of bodily movements is vaguely expressed by the thesis that nature does not make leaps. However, it is wrong if we transfer it to a completely different realm of experience and speech, for example, when we apply it to subatomic particles and thus to electrodynamic and quantum mechanical phenomena. Nevertheless, some still talk as if these particles behaved in the same way as “normal solids” on the one hand, the *mass points* of 18th century mathematical mechanics on the other, even though all “particles” are theoretical objects of speech. In any case, the transfer of normal properties of solids to subatomic particles is not trivial. Otherwise, one would not be so surprised that the behaviour of these particles obviously differs substantially from the behaviour of solids.

These differences are known to be so essential that some again resort to a principle of direct action at a distance (*actio in distans*) – and thus distance themselves from the basic principle of relativity according to which, roughly speaking, all effects in space take time and are attributed to specific things in space. Some commentators even argue for *backward causation*, according to which the future causally determines the past.

I do not want to deny here that such a modelling of phenomena can make mathematical sense. However, if one likes to talk in this way, one expands the concept of a *causa efficiens*, which is bound to a directed time, the temporal sequence of the before and after of real movements of real bodies, into the domains of a *causa finalis*, and this already in quantum theory, not only in biology. The problem is not the use of anticipations of later events in the representation of natural processes, but the fact that one does not know that one is anticipating events in this way. Instead, one talks as if one were only reckoning with a *causa efficiens*. Incidentally, the question arises as to how the general principle according

to which nothing that has happened in the past can be undone by a future event coheres with the picture of backward causation.

In the context of a reversal of the arrow of time and a merely mathematical talk of backward causation, the result is incomprehensible mystifications of one's own modelling of experience. It is contradictory to assume, on the one hand, a universal causal connectedness of all events, while at the same time annulling this assumption without noticing it. In the first case, one implicitly operates with a concept of *causa efficiens* that presupposes that causation leads from the past to the future, as it results from classical and Einsteinian dynamics; in the second case, one talks about backward or teleological causation. No future can have some causal influence on the past. In reality, any teleological form of causal explanation, any *causa finalis*, is just *holistic*. At least in relativity theory, cause and effect as relations between (spatiotemporally localised) events still *presuppose* a distinction between the temporal regions past, present and future. According to it, there can be no *causal effect into the past* or on other locations in the pure present. The principle, according to which there is no purely simultaneous *actio in distans* at all, is however anything but clear and a priori true.

The “mechanical” principle of a universal causal connectedness of all events is thus, on the one hand presupposed as quite general; on the other hand, it apparently only applies to certain types of events. This means, in turn, that the Cartesian ideal of a mathematical total description of the whole world in the form of pre-determined trajectories of particles or *points* is an *ideal conception* that makes only *a desired mathematical form* of representation and explanation metaphorically explicit.

I am not interested here in an assessment of the reasons for the apparent abolition of some material-conceptual basic principles for bodily movements at the level of quantum-theoretical entities or particles. I am only interested in the fact that they show why the status of the principles mentioned is not only questioned in philosophy, but already worthy of discussions in physics.

3. There are no space-time-points in the world

When we think that some real explanations, for example, in solid-state dynamics, are quite exact, we are only saying that they come sufficiently close to our ideal wishes.

Our causal predictions of real movements of bodies are indeed highly precise in some respects. Yet, each of these “approximations to an exact ideal” is always of the structure of Platonic *methexis*. This means that we use rather coarse scales or margins of precision, at least in comparison to the ideal. How we proceed in this process can already be seen in a case that Plato himself apparently knows. We say, for example, that a real surface comes close to the ideal form of a plane, i.e. is sufficiently flat, if we are happy enough with its fitting conditions to a certain class of surfaces – for certain purposes. All real planes are therefore merely more or less flat. The same applies to straight lines, right angles or circles.

There is a concealed idealism or Platonism in modern mathematical natural science. It consists in the hypostasis of our own, ideally desired, forms of representation and explanation of experienced events in the world as “the” actual reality. Nancy Cartwright's question, how the laws of physics lie, is therefore entirely justified [3]. The question is how the laws of physics or the basic

principles of the other natural sciences are applied appropriately, how their status is to be understood, i.e. what it means at all to declare them formally true, and how we justify these formal truths of laws and principles. The first step to be taken here is, of course, the insight into the formality or ideality of the truth of natural laws and principles.

Max Planck famously thinks that the problems of quantum theory show us how and why human freedom of action is possible. However, it does show us only that our principles of representation and explanation in all natural sciences *are local* and fit to certain *aspects of measurement or observation*. I consider this to be an important insight of Niels Bohr. The laws of physics are no global and absolute basic laws of nature.

This outrageous claim gets clearer if we understand the real content of Werner Heisenberg's uncertainty principle. It estimates, so to speak, in general terms, *the mistake that we always make* when we calculate with mathematical points of space and time and *trajectories* and when we interpret the *differential geometric gradients as impulses*. Reality is never more precisely determined than Heisenberg's estimate. The details are not of interest here, especially because Heisenberg's uncertainty principle is only a special case for the much more general vagueness in all our applications of structural models to the world of empirical experience.

4. The method of science consists in experienced applications of good analogies

Our ideal world-views and favourite theories, or their axioms or principles, can always hold our thinking captive, as we can say with Wittgenstein. Such Platonism, or, better, Pythagoreanism, belongs to the childhood of philosophizing, as Hegel's apt commentary says¹. It is a feature both of the theological world-views of Mediterranean Stoicism, Hellenized Judaism, Christianity and Islam, *and* the anti-theological scientific world-view after the 18th century as the time of the so-called Enlightenment. Platonism was and is highly successful in both theology and science, indeed. The reason for this does not yet seem to be understood, especially because Plato himself was no Platonist. As the dialogues *Theaitet*, *Sophist* and (first part of the) *Parmenides* and its discussion about perception, *methexis*, *epistēmē* and *doxa* show, Plato clearly knew that practical experience is still necessary for a competent use of the ideal forms of *epistēmē*, i.e. the ideal theories produced in the sciences expressing generic knowledge. We use such generic knowledge in speech, representation and explanation. Applications of theories on empirical observation (*doxa*) still need experienced judgements indeed. Hegel calls this empirical form of a reasonable, yet never purely schematic or literal, application of theories to real, empirical cases "dialectical".

Our theories and world-views and the linguistic divisions of our experience of the world that are guided by them are neither the consequences of purely subjective "experience" in the sense of perception, nor simply the result of arbitrary settings. Rather, their implicit, empractical, and also explicit, verbalised, recognition *reflects* the generic experiences that we make in the use of our concepts in the

¹ Cf. [4. P. 321] with [5. P. 1076].

representation and explanation of the world. We develop them in the history of spirit, i.e. of humankind.

Like science, the development of philosophical language(s) for reflection on knowledge and truth is, indeed, a world-wide enterprise with many participants, mediated by all kinds of translations and copies of ideas and insights, together with many forms of commentaries. When we say that “we” develop the sciences and generic knowledge about forms as the conceptual system and transcendental precondition for all thinking, this “we” has a *generic* meaning. The same holds when we talk about “science”. It is just equivalent to say that *we develop* the sciences, the concepts and the languages and to say that the *sciences*, the concept(s) and the language(s) *develop*. Hegel’s Concept with capital C thus is nothing but general semantics encoding *epistēmē*, or, what is more or less the same, the international system of it called *langage* in French, emerging from our practices of translation. This is one of Hegel’s basic insights.

Reality shows itself via the average success of our always already generically constituted conceptual orientations. This makes talking about the empirical world as ambiguous as about “empirism”. In the narrow sense, only narrative and subjective reports about my or our observations of individual facts here and now, possibly as a result of a mere trial and error, are empirical. Genuine experiments are already controlled testings by which we move the limits of previous general ability and generic knowledge. In the context of a logic of research, Hegel’s word “dialectic” therefore refers to what Charles Sanders Peirce called the “abductive” form of justifying theoretical models as the best among the available modellings or linguistic representations or explanations in a field of phenomena.

5. Conceptual knowledge as a precondition of thinking contains pre-judgements

Conceptual norms of differentiation and differentially conditioned inferences hang together with general a priori knowledge. For many propositions to have any meaning at all, and thus to be false or true at all, many other propositions must already be true¹. The search for elementary propositions beyond these gradations is illusionary. Heidegger and Gadamer were therefore right to say that all empirical human cognition and even all forms of thinking rest on *pre-judgements*. In a certain sense, these preconditions come in steps. They start, so to speak, with what was called in earlier times pre-formed animal instinct. This old word stands for what we today could call with Alva Noë [6] “enactive perception”, which means that perceptive “inputs” lead in relative immediacy by inborn and acquired habits to a behaviour of living beings.

The main difference between animals and human beings lies in the fact that humans can produce spontaneously speech and silent thoughts. We thus are able to represent non-present possibilities relatively independent from the actual situation and check which of the possibilities are rational to count with in present actuality. No animal has access to this realm of possibilities and thus does not live, as we do, in a world of possibilities. The *grade of being a competent person* depends, indeed, on the grade in which we are able to *transcend mere actuality* of subjective or

¹ Wittgenstein suggests in [1. TLP 2.0211] that the question if a sentence has meaning could not depend on a (relatively a priori) truth of certain other sentences. However, his idea that we design “truly isomorphic” pictures of the world is already highly ambiguous, to say the least, just as the word “world” itself.

collectivist feelings of desire and satisfactions of self-interests in view of a possible *joint world* in which *all persons* live together. This transcendence surpasses by far the domain of all social animals and, what is even more important, all nationalisms.

In particular, a distinction must be made between a transcendental or presuppositional logical relation of sense-dependence (as Robert Brandom calls it in *Making It Explicit* [7]) and a quite different kind of dependence of the reference on the existence of the objects we talk about. Our talk of the moon is sense-dependent on our distinction between suns or stars, solar planets and moons. It is reference-dependent on the fact that the moon exists, existed and will exist, independently of what we know about it. By saying something like this, and perhaps by adding that the other things of physics really do exist, such as electrons or other subatomic particles, we are admittedly investing words that are meaning-dependent on our knowledge or our theoretical convictions. We immediately erase the time-dependency and perspectivity of this very knowledge, abstracting from ourselves as speakers, and speak *de re* about the reference-dependency of the good experiences we have had with the corresponding theories.

Brandom shows how we are to understand this form of speech *de re*, namely not as the eradication of any perspective of speakers in a statement of nowhere about a world in itself, but by ourselves standing up for the assertion as true. The distinction between a speech *de re*, for example about the sun, and *de dicto*, for example about the sun-god Helios, who the Greeks think leads the sun-chariot, is thus an internal distinction. It concerns the difference between one's own assumption (undertaking; also acknowledgment or recognition) of validity claims within each of our conceptually formed systems of knowledge and the attribution (assignment) of such validity claims to others, if necessary without assuming them or under criticism of their falsity. While I would say in *modus de dicto* that the Greeks believed that the sun was a disc on the chariot of Helios, I cannot say anything about this disc *de re*: it does not exist, as I know. I can say in the *formal* *modus de re* that the sun-disc might have been made of gold, just as I can say of *Rübezahl* that *according to the fable* he was an earth spirit in the Giant Mountains. But then the whole context is already marked as a *de-dicto* context, so to speak.

De-re statements are distinguished from *de-dicto* statements by different inferential norms for the respective commitment of the speaker (with respect to substitutability rules), as Brandom shows in detail, adopting logical insights that Willard Van Orman Quine developed in *Word and Object* [8]. This makes it even clearer than it already was in the writings of Gottlob Frege that in so-called oblique contexts the *speaker's perspective is always relevant* for the inferential content. It therefore belongs to the *logical analysis of the meaning of a statement* and not *merely to an extra-logical pragmatics*. This holds, however, not only for cases in which we speak about statements of others and distinguish our world reference from that of others.

6. Theories are generic articulations of general experience

In the *development* of *concepts*, a certain *harmony* between *distinctions* of species of things or matters and reliable *dispositions* is essential. Brandom shows this at an example already discussed by Michael Dummett. In the French expression “*boche*” for Germans, as its use goes back to World War I, there is *no* harmony between the criterion for application and its inferential content. The

criterion for being a *boche* is just to be German. However, a boche is especially brutal, barbarious and stupid.

In mathematics, there is a perfect harmony between the differential conditions to fall under a predicate like “prime number” or “rectangle” and its inferential consequences. This harmony is man-made, such that all mathematically true sentences express at the same time mathematically allowed rules of inferences, just as a true conditional of the form $\phi \rightarrow \psi$ corresponds to an allowed rule $\phi \Rightarrow \psi$ and vice versa.

Another insight follows almost from what has been said so far: There is no classification of things or qualities without corresponding inferential commitments and entitlements, i.e. permissions to infer something and obligations to justify the inferences. Already the early Wittgenstein remarks that we cannot be interested in mere classificatory statements without further inferences. Nevertheless, he did not see how inferential content enters state-descriptions.

Brandom’s idea of sanctioning behaviour against mistakes in rule-following and sanctioning acts against all kinds of abuse cannot *define* the norms they support. The right way of dealing with inferential commitments and entitlements does not coincide with being not sanctioned by other speakers or actors. Feelings of satisfactions or dissatisfactions do also not suffice as criteria. The empractical mode of existence of forms and norms in speech acts and consequential actions intrinsically refers to sufficient fulfilments of forms.

What is even more important is this: In relation to the world, conceptual inferences cannot be neatly separated from normal case experiences. In this, Hegel and Quine agree. Nevertheless, we should not fall into an all too generous theory holism as heralded by Quine, Paul Feyerabend, and Richard Rorty. Hegel’s development of Kant’s transcendental philosophy seems to do a better job. It recognises the methodological gradations in our articulation of empirical knowledge and thus the relative a priori nature of generic knowledge.

Wittgenstein also came to similar conclusions: Practical knowledge of certain conceptual truths (inferences) W_1 are systematic prerequisites for the sense-understanding of certain other empirical truths W_2 or statements qua meaningfully uttered propositions. That is, the sense-determining presuppositions W_1 can neither be adequately justified nor refuted by examining the individual empirical correctness of W_2 . Nevertheless, there are experiential checks on the conceptual “pre-judgments” explicitly encoded in W_1 relative to W_2 . Therefore, and only therefore, a philosophical reflection on *the concept* as the whole *system* of content-determining general knowledge (*epistēmē*) is of a different type than *empirical controllings of a statement* (*doxa*) that is already well-determined in terms of what I call *differentially conditioned inferential content*.

We thus have to modify Quine’s thesis that the conceptual (“analytical” or, better, what counts a relative a priori conceptual knowledge) cannot be distinguished from the empirical (“synthetic”). Quine’s “naturalization” of epistemology therefore goes much too far by its renunciation of further reflections on the various forms of knowledge. We should better leave these undesirable developments in analytic philosophy behind.

In any case, linguistic competence requires not only the mastery of lexicon and syntax, but also of content-determining inferential norms, as I would like to summarize the (criterially effective) forms of correct material-conceptual reasoning

and judgement. Loosely following both Paul Lorenzen's use of the German word "materialanalytisch" and Robert Brandom's use of the word "material", I use the German word 'materialbegrifflich', in English just: 'conceptual', in order to express the following: Material, but generic knowledge determines the form of correct prima-facie inferences of judgements.

In this context, we have to distinguish premises and forms of inference that stem from a public and social domain of learned general knowledge from premises that occur as special knowledge and cognitive claims of individuals, even many individuals. The latter belong to a separate category of empirical statements.

7. We count with fallibilities in applying generic norms

When I hear from you that a cat is lurking over there, I assume that it is neither a tiger nor a stuffed animal. I also "infer" from your statement that the animal is not dead. Dead animals do not lurk. I expect that the animal does not just look like it is lurking. If it turns out that the animal is blind and deaf, you would have to retract your statement. If you know that a normal expectation, such as that the animal is not seriously ill, is not fulfilled, you usually have to make that explicit. It is in this non-psychological sense that we "expect" a cat to have four legs and not just three, that it will come into heat regularly and, if not sterilised, that it will normally have some kittens. In a similar sense, we expect a garment that you say is green to stay green, when we take it from a show into sunlight. If it does not, you have to correct yourself and say that it just looked green in the yellowish light of the warehouse.

Without the public domain of material conceptual general knowledge, the author's commitment and the recipient's entitlement corresponding to it would obviously remain undetermined in terms of content. The criterion for what would be a permissible inference or a related asking for or giving of reasons would then be missing. Without a judgemental and experienced projection of generic conclusions onto real cases and without the associated resistance of the reality experienced through the senses and the associated validity control, a mere verbal conclusion and schematic reasoning would remain a kind of spinning in the void, an empty turning wheel, as John McDowell puts it.

The concrete application of conceptual resp. generic knowledge in a real-world context, however, is, I repeat this central point, by no means schematic. It presupposes the mastery of a kind of *projection filter*, which consists of an *appropriate consideration of the respective limited speech context* and a *consideration of relevance connected with the concrete communication situation*.

This can be seen particularly well in dealing with the truths of ideal mathematical geometry. Their projective use in the representation of real body shapes or spatial relations requires corresponding power of judgement. Not every theorem of ideal geometry that can be formally deduced is a direct criterion for whether a surface is sufficiently flat or an edge sufficiently straight. The propositions that are generically marked or set as "true" in Euclidean geometry therefore by no means simply articulate a representative theory of "empirical space". They cannot be directly projected without a special consideration of a practice of measurement that we have set up accordingly.

For empirical statements, there is always the possibility that a correction is necessary. This is not merely due to our inability to know anything certain. It is a

systematic part of our language and part of the form of communication, linguistically or otherwise symbolically mediated. All judgements about what we perceive already contain *an inferential surplus due to the inferential norms outlined*: The individual subject, the speaker, by no means completely controls whether “all” default inferences are secured.

Empirical individual statements by individual subjects therefore do not belong to the category of generality of trans-subjective knowledge of Plato’s *epistēmē*, but only to the *doxa* of subjective certainty. The justification of the assurance or the reliability of the statement is still evaluated “by us”, not only by the concrete addressees.

8. Only in good cases we need no retractions

Plato argues in the *Theaetetus* that the so-called “standard” definition of “knowledge” in present day “epistemology” with Edmund Gettier as a prominent figure is wrong from the beginning. Plato’s formula reads *alethes doxa meta logou*, which I would propose to translate by “empirical assertion with a proof” (not just: with “some justification”). Plato refutes the definition by his later analysis of Parmenides’ differentiation between *epistēmē* as generic and time-general truth canonized in a public domain and *doxa* as merely perspectival empirical apperception.

However, when communication works, no further questions about the “actual truth” of an empirical statement like “there is milk in the fridge” or “this is a barn” are meaningful. This means the following: If I tell you that there is a chair outside, you go out, bring it in and sit on it, doubting the “real” existence of the chair no longer makes sense. Empirical individual knowledge in this sense is always more or less situational, limited. It is indeed fallible, insofar as certain conditions reaching into the future may not already be assessed as fulfilled; but it finds its fulfilment in successful communication and cooperation, just as goal-oriented action finds its fulfilment in reaching the goal.

At the same time, ideal ideas of perfect fulfilment, not unlike the ideal forms of geometry in real use, only serve the reflection-logical articulation on the ideal forms of knowledge that are never fulfilled in all details. Ideal forms articulate a kind of direction to perfection and always come with a measure for judging about sufficiently good satisfactions of criteria according to situation, context and relevance, as Plato already seems to have known.

What we refer to as “empirical hypotheses” are general sentences that are still tested whether they can be canonized as content-determining default inferences. In normal language, we use the word “knowledge” not only for general knowledge, which I as an individual might have learned at home or in school, but also for empirical assertions about what I (assume or think to) perceive here and now.

Empirical claims are necessarily “finite”, i.e. always to be judged as sufficient or insufficient in relation to the particular situation, perspective and relevance and to be understood accordingly. Material conceptual knowledge is achronous, in this sense “eternal”, i.e. “situation-invariant” – but only in form, status and role. It can change in details, in the course of our work at the concept, which amounts in part to the same as what we do in the sciences. In the sciences, we are not interested in merely historical narratives of singular cases, even though in all cases of

exceptions like “miracles”, we indeed look for generic causes or reasons that turn the case into an instantiation of some generic form.

Generic truths thus are no empirical assertions. They belong to a system of non-linguistically and linguistically learnable *normal expectations*. They form the background for what speakers or authors can or must say or write in order to be understood correctly in a particular case (“to the best of their knowledge and belief”), and on which listeners or readers may then rely.

9. Formal logic holds in all its details only in purely mathematical set theory

Perhaps we can now see a little more clearly how generic knowledge essentially co-determines the inferential content of empirical statements in the form of a system of default conclusions and normal expectations. As material knowledge, it goes far beyond purely formal inferences, especially beyond mere definitional and terminological language-rules as, for example in the standard use of the logical words “not”, “and” and “for all” defining the rules of Frege’s predicate calculus, as it holds in all details and without exceptions only in pure arithmetics.

Inferences that operate merely on the level of syntactic-configurative deductions are called “purely schematic” or “purely formal”. Purely formal in this sense is, for example, a conclusion or transition from “ ϕ and ψ ” to “ ϕ ” or from “ $\forall x.\phi(x)$.” (read: “for all x holds $\phi(x)$ ”) to “ $\phi(N)$ ” for appropriate names and namings N in a genus G . Negation “non” or “ $\neg$ ” poses a special problem, especially because of the following three “Fregean” principles:

1. For any proposition ϕ (“in G ”), either ϕ or $\neg\phi$ is true.
2. For any proposition $\phi(N)$ there is a predicate $\phi(x)$ in G such that for any other M in G either $\phi(N)$ or $\neg\phi(N)$ is true.
3. Because of 1. and 2., all predicates $\phi(x)$ split G up into exactly two parts, namely the set $A = \{x \in G: \phi(x)\}$ and the set $G-A = A^C = \{x \in G: \neg\phi(x)\}$.

Frege’s formal logic turns out as a complex scheme for defining complex predicates on the ground (a) of negations ($\neg$), universal quantifications ($\forall$) and conjunctions ($\&$), (b) of *basic* relations in G like, for example, the relation “ $x < y$ ” in the numbers and the identity $x = y$.¹

Unfortunately, predicates defined in a Fregean way fulfil all the conditions 1.–3. only in the “harmonious” domains G of entities and predicates in pure mathematics. There we can *force* G to fulfil the condition of harmony by the very constitution of G . We cannot do so when we talk about the empirical world. This is so because for any world-related predicate $\phi(x)$ there are *intermediary* cases N , which we silently exclude if we use formal logic. Nevertheless, one tends to overlook that the continuities of the world produce *contradictions*. For intermediary cases N , *neither* $\phi(N)$ *nor* $\neg\phi(N)$ “holds” or, what sometimes amounts to the same, $\phi(N)$ *and* $\neg\phi(N)$ “hold”. The causes for this lie in the limits of possible

¹ A relation R of Hegel’s category “being for itself” or *Fürsichsein* fulfils the condition that from $g_1 R g_2$ it follows that $g_1 = g_2$, such that it is a *metalevel relation* “of an object in G to itself”, which is, in fact, a relation between different, but equivalent, *presentations* or *representations* of one G -object. Hegel’s expression *Sein-für-Anderes*, “being for others” refers to relations R such that we can conceptually infer $g_1 \neq g_2$ from $g_1 R g_2$, just as we do in the case $x < y$.

joint differentiations, grounding all world-related truth-conditions, as Hegel realizes.

All “true” sentences and deductive rules of Frege’s *formal logic* “hold” indeed just like those of *geometry* only for the *ideal constructions* of mathematics.

Nevertheless, when we want to know about which object(s) someone talks, we have to find out 1) the relevant system *G* of different *representations* or *appearances* and 2) the appropriate *equivalence* relation between them that *define* the *identity* of the objects we want to talk about.

Especially in its “ontologies”, analytic philosophy tends to underestimate a third point, namely, 3) that the so-called Leibniz-Principle is merely *formal*.

The principle says that the *G*-identity $g = g^*$ between instantiations of *G*-variables of a conceptual structure *G* holds if and only if *no G-predicate* $\varphi(x)$ makes in its application to instances a distinction between *g* and *g**.¹ This means that *G* is not just determined by the identity of possible objects but also by a fixed system of *G*-predicates $\varphi(x)$, harmoniously fitting to the *G*-identity “=”. There are, therefore, as many identities in our languages, in abstract domains and in the empirical world, as there are conceptual genera or species resp. types of things. Analytic philosophy is still in need of grasping the significance of this “Hegelian” insight.

We can put the problem also in this way: We never can abstract from all material content of the names and predicates in a genus of things. If we try to do so, we do not arrive at a philosophical logic of language and its relations to reality, as Fichte suggests,² rather at the highly idealistic constructions of mathematics.

Main steps in the history of (commenting on) these constructions are: a) Plato’s arithmetic of pure numbers and pure proportions, b) Euclid’s geometry of pure forms, c) their unification in Descartes’ analytic geometry, and d) Cantor’s naïve set-theory *V*.³

Frege’s formal logic is, indeed, just an explicit notation for possible predicative definitions of subsets in the so-called cumulative hierarchy *V* of all Cantorian sets, i.e. in “higher arithmetic”. *V* is *the largest possible domain for the pure variables of formal logic* – and all its “power sets” are even defined by a scheme wholly analogous to Anselm’s proof of the existence of the whole world (sometimes called “nature”, sometimes “God”, as Spinoza recognizes), namely as

¹ This means, in turn, that $\varphi(g)$ “holds” but not $\varphi(g^*)$. Of course, we still have to think about the difference between the different *representations* *g* and *g** and the identical or different *G*-objects that are represented.

² “In der totalen Abstraktion von durchaus allen materialen Objekten des Wissens <...> besteht die Logik, und alles, was sich Philosophie nennt, [ist] seinem innern Geist nach nur Logik” [9. P. 224].

³ We can start the constitution of Cantor’s pure *hereditary-finite* sets *V*_ω with one term or name *∅* – which is later viewed as a name for “the empty set”. The notational system for set formation is easy: If *t*₁, ..., *t*_{*n*} are already names for pure sets, then {*t*₁, ..., *t*_{*n*}} as well. We say that the set thus named has exactly *t*₁, ..., *t*_{*n*} as elements and that different names represent the same set if the elements are equal (such that their order does not play a role). The usual definition of *V*_ω as sets designated by sortal terms of the form {*x*: *x* = *t*₁ or ... or *x* = *t*_{*n*}} already presupposes a well-defined genus *G* for the variable *x*, for example *V*. However, *V* is constituted on the ground of *V*_ω via the so-called *power set* of all different subsets of *V*_ω followed by all possible subsets of all resulting power sets. We obviously can embed the *pure numbers* in diverse ways into *V*_ω. As this short sketch shows, Cantor’s pure sets do not result at all from the empirical, time-dependent, *classes of concrete things*, as Aristotle, Hume, even Frege and Russell and their successors still believe(d). Empirical classes *change*, since all concrete things *disappear* in time, just as apples in a basket or living beings. All mathematical *purity* rests, instead, on the arbitrary *reproducibility* of “identical” forms, including names and terms. Plato was more adept here, since he defined already *the real numbers* as *pure proportions (of lengths) in pure geometric forms*.

the largest possible sets of subsets of a set¹. We obviously must still learn to understand the development of formal logic and set theory from Dedekind, Cantor, and Frege to Gödel, whose theorems are undeniable proofs of the facts mentioned.

Abstraction is never just *neglecting particularities*. But not only the definitions of abstract objects or general content, all determinations of concrete object also presuppose *equivalence relations* (for example in perspectival changes), such that *objectivity* rests on *coarser* distinctions than *syntactic forms* and qualitative *appearances*.

10. The sciences are institutions for developing language in a world-wide co-operation

The difference between purely verbal terminological inferential rules and materially thick conceptual inferences lies (1) in the way they are justified and (2) in that in the last case the rules correspond to some normal form and behaviour of instantiations of types. All references to empirical things and matters, events and processes are mediated by concepts, i.e. generic species or types in such a way that it is naïve to assume that types are just sets of empirical tokens or species just classes of empirical individuals.

In the formal-analytical and terminological case, the linguistic setting is a purely verbal convention of abbreviative definition just as in the following standard examples: “bachelor” is a shorter expression for “unmarried (young) man”, “primes” is short for numbers that are not the product of smaller numbers. In the material-conceptual case, a sentence expressing a rule or norm fixes a general knowledge of the world – as in the case “whales are mammals” – or articulates inferential norms of a general practice – as in the case “there are sanctions for trespassing legal norms”.

The word “general knowledge” names only a sub-area of the meaning-determining public domain. Wittgenstein’s talk of a form of life, on the other hand, sounds slightly too big and, like the word “culture”, sometimes carries with it certain relativistic connotations.

We do not only codify everyday experiences in the conceptual rules of our languages. We develop generic knowledge explicitly since the emergence of diverse practices of writing, as the traditions impressively show that reach from Mesopotamia and Egypt to India, China and East Asia. Of course, there are parallel developments in the Americas. All holy books belong to these traditions. The difference of the sciences, as they are developed in Ancient Greece, lies in their idea to *control* implicit traditions of general knowledge and to institutionalize the development of generic knowledge (*epistēmē*). Pythagoras, Heraclitus, Parmenides and Plato are founding fathers for this idea. Since then, we have been developing and controlling the “conceptually basic” knowledge we teach and learn in schools in world-wide co-operations, at least in the good case. The sciences thus provide us with the *material backbone* of our *semantic systems* for *understanding*.

¹ The entities and relations in V , the cumulative hierarchy of all pure sets “above” V_ω as the standard model of axiomatic set theory are neither just psychologically imagined nor metaphysically postulated. I.e. accusations of psychologism and Platonism (for example against Cantor or Gödel) are both wrong. In order to see this, we must, however, learn to comprehend general forms explained by phrases like “and so on” far beyond lists of “all” names and namings for pure sets in V and far beyond the wrong idea that we could (schematically) *decide* for all sentences and utterances about V_ω or even about V if they are true or not.

Just as we have different systems of ciphers and terms for numbers like the Roman or Arabic numerals as “XII” or “12” and number-words as “twelve” or “dozen” and corresponding translation schemes, we have systematic translations between different languages. Even though the first development of generic knowledge or, what amounts to the same, of concepts take place in a particular language, humans are always intelligent enough to translate the important ones into “all” languages. Under this view, there is virtually *only one* human language (French: *langage*) which is essentially the same as Hegel’s generic Concept with capital C, i.e. “der Begriff”, that is, in turn, the general material semantic system of language as such.

However, the “Romantic” movement of looking at the peculiarities of national languages after Johann Gottlieb Herder and any merely “philological” approach to the original language of a text like the Bible focus on the *differences* between the languages and the expressions. This has the unfortunate result of overestimating national languages and underestimating the deep fact, that *content* presupposes *equivalence relations* in perspectival changes such that on the level of content our distinctions are not finer, but coarser than on the level of particular languages or expression. In other words, any content can be expressed more or less sufficiently in any language. Even though the inferential norms of default inferences and possible readings for texts in an original language are “more precise” or “distinct” compared to the set of possible translations into other languages, we know at the latest after the good experiences with automatic translation systems like, for example, Deeple Translator that and how general content is always *transnational*. In fact, all modern European languages owe most of their semantic norms and rules (1) to translations and glossaries of Ancient Greek and Latin, (2) to the emergence of written literatures in the diverse “vernaculars” (at first medieval Italian, French, English, and German especially since the 12th century), and (3) to the re-emergence of the sciences in Western Europe, partially mediated by Arabic sources.

We should understand the modern sciences, indeed, as a kind of enterprise to canonize generic knowledge in developed languages, at first in Greek and Latin, but then also in the new national languages with only petty differences between, say, Slavonic, Indian or Chinese languages and cultures. At the latest in the 17th century, a kind of all-European culture emerges, despite all the competitions between countries, such that it is almost ridiculous to muse about an allegedly necessary “new identity” for Europe. More recently, a really world-wide culture of knowledge and reason with its various forms of life and co-operation emerged. Not to acknowledge this would turn ourselves back into a merely regional civilization.

References

1. Wittgenstein, L. (1973) *Tractatus logico-philosophicus*. Frankfurt/ M.: Suhrkamp.
2. Stekeler-Weithofer, P. (2008) *Formen der Anschauung. Eine Philosophie der Mathematik*. Berlin: de Gruyter.
3. Cartwright, N. (1983) *How the Laws of Physics Lie*. Oxford: Oxford University Press.
4. Hegel, G.W.F. (n.d.) *Gesammelte Werke*. Bd. 21. Hamburg: Meiner.
4. Stekeler-Weithofer, P. (2020–2022) *Hegels Wissenschaft der Logik. Ein dialogischer Kommentar*. Hamburg: Meiner.
6. Noë, A. (2001) *Action in Perception*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

7. Brandom, R.B. (1994) *Making It Explicit*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
8. Quine, W.V.O. (1960) *Word and Object*. Cambridge/Mass.: MIT Press.
9. Fichte, J.G. (1997) *Darstellung der Wissenschaftslehre (1801/1802)*. Hamburg: Meiner.

Information about the author:

Stekeler-Weithofer P. – professor emeritus, Dept. of Philosophy, University of Leipzig (Leipzig, Germany). E-mail: stekeler@uni-leipzig.de

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Штекелер-Вайтхофер П. – заслуженный профессор, факультет философии Университета Лейпцига (Лейпциг, Германия). E-mail: stekeler@uni-leipzig.de

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

*The article was submitted 30.11.2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023
Статья поступила в редакцию 30.11.2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023*

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья

УДК: 1(091)

doi: 10.17223/1998863X/71/9

И.Я. ФОЙНИЦКИЙ И Н.С. ТАГАНЦЕВ ОБ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФСКОМ СМЫСЛЕ НАКАЗАНИЯ: КАРА, ВОЗМЕЗДИЕ, ПОЛЬЗА И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Юлия Анатольевна Головина

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
jagolovina@gmail.com*

Аннотация. Представлены отдельные аспекты истории формирования института уголовного наказания в изложении дореволюционных русских правоведов И.Я. Фойницкого и Н.С. Таганцева. Выявление смысловых акцентов наказания позволяет продемонстрировать недостатки действующего «легального определения» понятия «наказание».

Ключевые слова: И.Я. Фойницкий, Н.С. Таганцев, уголовное наказание, история наказания, сущность наказания, право наказания, обязанность наказания

Для цитирования: Головина Ю.А. И.Я. Фойницкий и Н.С. Таганцев об истории и философском смысле наказания: кара, возмездие, польза и юридические отношения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 85–95. doi: 10.17223/1998863X/71/9

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

IVAN FOYNITSKY AND NIKOLAI TAGANTSEV ON THE HISTORY AND ON THE PHILOSOPHICAL MEANING OF PUNISHMENT: RETRIBUTION, RETALIATION, BENEFIT, AND LEGAL TREATMENT

Yulia A. Golovina

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, jagolovina@gmail.com

Annotation. The “legal definition” of “punishment” in the Criminal Code of the Russian Federation is a formal enshrinement in law of the actions of the state in the field of criminal punishment; it places the main semantic emphasis on coercion, i.e. is “instrumentalist”. The definition of punishment in the Criminal Code of the RSFSR (1960) mentioned the Russian term “KARA”, which includes the senses of the words “punishment” and “retribution”, but it particularly deals with some moral aspects. The Criminal Code of Russia (1903), published by Nikolai Tagantsev, in the commentary section on punishments, contained the words “punishment” and “retribution”; at the same time, the definition of “KARA” was absent. Russian jurists Ivan Foynitsky and Nikolai Tagantsev, when solving their problems, posed the ques-

tion as of the “right to punish” and the “obligation to punish”. In searching for answers, they turned to the history of punishment and to the history of its research. Each of them showed how punishment evolved from personal revenge through custom into a legal institution. The history of the formation of the institution of punishment shows the shortcomings of the current “legal definition”, and the word “KARA” especially.

Keywords: Ivan Foynitsky, Nikolai Tagantsev, criminal punishment, history of punishment, essence of punishment, right to punish, obligation to punish

For citation: Golovina Yu.A. (2023) Ivan Foynitsky and Nikolai Tagantsev on the history and on the philosophical meaning of punishment: retribution, retaliation, benefit, and legal treatment. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 85–95. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/9

Действующая редакция Уголовного кодекса РФ (ст. 43 «Понятие и цели наказания») содержит следующее определение понятия «наказание»: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» [1]. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (ст. 20 «Цели наказания») определял наказание иным образом: «Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства» [2].

Представляется, что смысловые отличия приведенных определений вполне очевидны, – достаточно попробовать выделить «сущностные» признаки в том и другом варианте. В частности, следует обратить внимание на слово «кара» и его значение. Словарь В.И. Даля: «казнь, наказанье, строгое взысканье. кара божеская не людская. худая жена – кара господня. карать кого, казнить, наказывать. покарали его за дело. докарала его судьба, искарала вконец. накаралась над ним. в неправде бог карает (запинает). карать да миловать – богу да царю. не спеши карать, а спеши миловать» [3]. Словарь С.И. Ожегова: «наказание, возмездие» [4]. Википедия: «доставление неприятностей, страданий в ответ на плохое / непотребное / незаконное поведение / поступок; синоним слова «наказание», но в отличие от последнего по смыслу несет скорее не назидательный характер, а тяготеет к таким словам как „отмщение“ и(или) „возмездие“» [5].

Таким образом, слова «кара» и «наказание» близки, но имеют свои «смысловые оттенки». «Кара», как и наказание, предполагает возмездность, т.е. применяется «за» что-то. Но не только. Отсылка к аспекту «божеского», вероятно, отражает аспект справедливости и неизбежности. В формулировке определения понятия «наказание» действующего УК РФ, т.е. в том, что часто называют «легальным определением», подразумевая определение, содержащееся в законе, данные характеристики отсутствуют: «легальное определение» отражает исключительно формально определенную в нормах закона деятельность государства в сфере уголовного наказания. Изложенное представляется достаточно значимым недостатком, чтобы попробовать разобраться глубже, и, возможно, не только с точки зрения собственно права.

С точки зрения позитивного права, безусловно, на изложенное замечание можно возразить. В УК РФ 1996 г. есть, например, ч. 1 ст. 5 «Принцип вины»: «Лицо подлежит уголовной ответственности только *за* те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». И, более того, закон содержит прямой запрет: «Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается» [1]. Далее есть также ст. 6 «Принцип справедливости»: «1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды *за* одно и то же преступление» [1]. Таким образом, зная, что наказание является видом ответственности, его возмездный характер, действительно, можно «вывести» из приведенных принципов. В частности, такое понимание предполагает предлог «за». Также слово «мера», которое в русском языке имеет несколько значений, предполагает некую «соразмерность» и, соответственно, возмездный характер. Однако это уже толкование норм закона, требующее некоторых специальных знаний. Определение основополагающего понятия «наказание», как представляется, должно не только отражать потребности уголовной политики, уголовного процесса и пр.; оно также должно быть простым и понятным обычным людям, поскольку именно в этом заключается основа сильного закона: такой закон признается людьми именно потому, что ясным им образом отвечает их интересам.

И.Я. Фойницкий в книге «Учение о наказании в связи с тюремоведением» (1889 г.) писал: «По его основной идее, наказание представляет собою принуждение, применяемое к учинившему преступное деяние... Принуждение наказания заключается в причинении или обещании причинить наказываемому какое-нибудь лишение или страдание; поэтому, всякое наказание направляется против какого-нибудь блага, принадлежащего наказываемому – его имущества, свободы, чести, правоспособности, телесной неприкосновенности, а иногда даже против жизни» [6. С. 2]. Этот подход аналогичен тому, как представлено «легальное определение» наказания в действующем в настоящее время УК РФ. По сути своей, это «инструменталистский» подход: он показывает, какими средствами осуществляется наказание, и ничего не говорит о его смысле. И такой подход, разумеется, нельзя признать достаточным, что и делает И.Я. Фойницкий, обращаясь к изучению наказания как исторического явления с тем, чтобы ответить на не менее важный вопрос: «На чем же основывается причинение такого страдания одним человеком другому? Почему так всеобщее попирается евангельская заповедь любви и прощения, заменяясь противоположным порядком наказания?» [6. С. 2].

Исследование наказания привело к появлению и существованию ряда теорий, которые И.Я. Фойницкий различает в зависимости от точки зрения на цели наказания, выделяя в этих теориях в качестве отправного пункта логический и исторический подходы.

При *логическом подходе* возможны два варианта. Если наказание рассматривать как институт, который оправдывается самим своим существованием, возникают так называемые абсолютные теории; если же наказание су-

существует постольку, поскольку без него не могут быть достигнуты какие-то определенные цели, то появляются относительные теории; их соединение дает существование смешанным теориям. *Абсолютные теории* (Гейнце и Лайстнер) исходят из того, что наказание есть само по себе цель, независимо от результатов, которые могут быть с его помощью достигнуты. Корни наказания находятся исключительно, таким образом, в прошлом. Само же наказание есть нечто неизбежное в силу требований высших законов. При этом старейшие из абсолютных теорий ставили такие законы выше государства, полагая их источниками божество, природу, человеческую личность; в более поздних вариантах данной группы теорий признается государственный характер этих законов, в силу чего сфера наказания ограничивается кругом государственных интересов. *Относительные теории* основываются на идее о том, что существование наказания оправдывается только теми целями, которые оно должно в обязательном порядке достигать. Если цели не могут быть достигнуты, не должно существовать наказания. Цель наказания – «воздерживать от дальнейших преступных деяний» – достигается как угрозой наказания, так и самим его исполнением, и может быть обращена и к конкретному индивиду, и ко всему обществу. В зависимости от сочетания данных параметров, среди относительных теорий могут быть выделены теории устрашения (Миттельшtedт), общего предостережения (Бауэр), частного (специального) принуждения (Грольман, Ливингстон), психического принуждения (соединение теории общего и частного предупреждения; Фейербах) и исправления.

Исторический подход фиксирует отличительные особенности наказания, появление новых черт, целей по мере его развития. Наказание в древнейших своих формах (к таковым относится, в частности, кровная месть) возникает с появлением общества (родовой общины). В этот период основами наказания являются религиозно окрашенный завет семьи, обычай жертвоприношения и право войны: обиженный род шел войной на обидчика, побежденный род подчинялся победителю (приносился в жертву, распределялся между победителями). Это составляло своего рода «внешнюю защиту безопасности» общины; «внутренние» конфликты разрешались на основе сложившейся в роду иерархии и в значительно меньшей степени требовали наказания. Наказание «было актом непосредственного чувственного возмездия, моментальным по исполнению, выбиравшим предметом своим такие блага наказываемого, которые могли быть отняты у него сразу, внезапно: его жизнь, его телесные органы, вообще его личность (обращение в рабство военнопленных)» [6. С. 62]. Наказываемый при этом рассматривается как враг, и относится к нему соответствующим образом. Вопросов о цели наказания, его связи с нарушением (преступлением) не возникает. По мере укрепления и роста численности общины необходимость в обеспечении внешней защиты сохраняется, однако в значительной мере возрастает опасность «внутренняя». Поскольку социальная мораль первичных союзов людей была и остается «военной», нарушитель по-прежнему рассматривается по праву войны как враг, к нему применяются унаследованные от военного порядка меры наказания. Таким образом, первичная идея наказания – возмездие, направленное на врага для обеспечения внешней безопасности общества – сохраняется, будучи «перенесенной» на «врага внутреннего». Личная месть заменяется общественной.

Наказание продолжает оставаться моментальным по исполнению. Однако вместо прежнего объекта «внешней безопасности» (общества в целом как такового, общины) теперь появляется новый – общество в лице его власти, его религии, совокупности благ.

В период существования личной мести общество, которому наносится урон преступлением, требует этой мести, считая позорным отказ от нее, и помогает потерпевшему в осуществлении мести, идя войной на обидчика и его род. «Частные войны в первичном быту практиковались очень часто и заменяли дело суда. Из войн образовались и меры наказания: это были меры победителя над побежденным. Постепенно общественные кружки сосредотачивают власть наказания всецело в своих руках и сами расправляются с обидчиками. Месть личная (*vindictum privatum*) сменяется местью общественною (*vindictum publicum*), и личность потерпевшего более и более отодвигается на задний план. Каждый кружок общественный приобретает власть наказания над своими членами» [6. С. 5]. Такая ситуация могла бы быть приемлема внутри «кружка», но постоянно приводила к нестабильности в обществе в целом, что явно не соответствовало интересам развития последнего. Так возникает потребность в сильной государственной власти, способной объединить общественные кружки и роды, а также осуществлять деятельность, которая лишила бы смысла частные войны. Такой властью становится государственная, такой деятельностью становится судебная вообще и карательная в частности.

С течением времени военные начала организации и существования общества вытесняются мирными, а степень опасности отдельной личности относительно уменьшается для общества в целом, благодаря чему отношение к нарушителю становится более спокойным и взвешенным. Поскольку непосредственной серьезной угрозы общежитию преступник уже не представляет, в наказании отпадает мотив мгновенной мести, появляются задачи и мотивы более долгосрочные: сначала – безопасность, а затем и «польза» наказания для общества. Первоначально польза наказания носила преимущественно экономический характер и представляла собой возможность использования наказуемого в интересах наказывающего: выкуп в пользу частного лица либо повинность в интересах государства по его распоряжению (рабочая, поселенческая, воинская повинности были характерны для России с давних времен, а особенное развитие получили при правлении Петра I и Екатерины II в соответствии с государственными потребностями того времени). Идея повинности, как элемента содержания наказания, в значительной степени повлияла на систему наказаний в истории уголовного права всех народов, дав новые и изменив прежние виды наказаний.

Постепенно узконаправленное (экономическое) представление расширяется за счет осознания возможности извлекать из наказания пользу социальную; последняя со временем становится необходимым элементом всякого наказания, «причем постепенно выясняется, что наказание тем более может быть полезным для общества, чем более оно имеет в виду пользу самого наказываемого, стремление сделать его по отбытии наказания честным тружеником; мотивы исправления более и более проникают карательную деятельность. Такая идея, обращать наказание на благо самого наказываемого, есть высшая и благороднейшая идея, до которой дошло человечество» [6. С. 65].

При появлении задачи исправления объективно возникает необходимость учета особенностей и характеристик наказуемого лица. В период научной деятельности И.Я. Фойницкого выделяли, по крайней мере, три основных категории преступников: лица, деятельность которых полностью объясняется внешним влиянием (невменяемые); лица, обладающие способностью к индивидуальному самоопределению; лица, проявляющие склонность к профессиональной преступности, т.е. готовые рассматривать преступную деятельность как источник средств к существованию. Наказание должно соответствовать этим особенностям: для неисправимых – физический захват (в современной терминологии, видимо, изоляция) до того момента, пока не будет устранена их опасность для общества и государства; для случайных – устрашение; для профессиональных – исправление. «Принцип карательной деятельности, по отношению ко всем этим категориям, оставаясь неизменным в общих чертах, должен различаться в чертах видовых. Общая черта наказания, одинаково относящаяся ко всем этим группам преступников, заключается в моменте принуждения; но самый факт применения принуждения порождает стремление извлечь из него пользу, достигнуть известную цель. Последняя логически может и отсутствовать, но она ставится современным государством потому, что оно стремится к целесообразности всех своих учреждений... Таким образом, наказание, существуя всегда для ограждения общежития, в одних случаях задается ближайшим образом целью безопасности, в других целью устрашения, в третьих целью исправления. Но эти различные цели не разделяются механически; все они, только в более или менее сильной степени, существуют в каждом наказании» [6. С. 65].

Принуждение, содержащееся в каждом наказании, следует за совершением преступного деяния, которое представляет собой нарушение, отрицание установившегося между людьми порядка жизни. Условием существования установившегося порядка является его охрана от нарушения и восстановление в случае нарушения, иначе порядок будет разрушен. Данная схема рассуждений применима к любой «форме общежития» (по терминологии И.Я. Фойницкого; на современном языке, вероятно, можно использовать термины «общество», «социум»), включая государство, которое, таким образом, вынуждено охранять установившийся в нем порядок жизни. «В этом смысле наказание есть мера охранения против преступных деяний нарушаемого ими склада, нарушаемых им интересов или прав, образующих систему правопорядка» [6. С. 65].

Н.С. Таганцев в сборнике статей «Смертная казнь» (1913 г.) также излагает взгляд на историю наказания. Упомянутый Сборник был издан почти четверть века спустя после монографии И.Я. Фойницкого и позволяет добавить некоторые аспекты к представлениям о наказании. Появление самой идеи о неприкосновенности интересов, о правовых нормах и о возможности взыскания с нарушителей «во имя неисполненных требований права» связано с зачатками общежития. Однако очевидно, что общество в целом не может осуществлять наказание. Для этого нужны некие «представители». Первоначально таковыми были сами пострадавшие и их родные, соответственно, основу для определения деяния как преступления составлял вред, нанесенный частному лицу и требующий отмщения, а наказание носило характер личной мести и расправы. С течением времени утрачивается личный характер мести,

которая, по терминологии Н.С. Таганцева, становится «юридической местью», ее исполнитель начинает выполнять своего рода обязанность перед обществом, а ее меры и границы определяются преданием и обычаем. «По самому существу своему, общество, за редкими исключениями народного суда и расправы, должно было, с первого же момента своего бытия, осуществлять карательную власть через представителей. Таким представителем являлось первоначально пострадавшее лицо и его родичи, так как в понятии преступления на первом месте стоял вред, нанесенный частному лицу и требующий отмщения. Однако, эта личная и родовая или семейная месть скоро утрачивает случайный характер дообщественной расправы, становится правовым учреждением. Мститель осуществляет не свои инстинктивные потребности, а выполняет как бы обязанность пред обществом, месть составляет не только его право, но и долг... Меры и границы этой мести определяются всевластною силою предания и обычая» [7. С. 6].

Н.С. Таганцев полагает, что в первичный период государственного быта через стадию юридической мести прошли все народы; данное утверждение основывается на многих фактах, как то песни, предания, обычаи существовавших на тот момент племен, древнейшие памятники права (законы Моисея, XII таблиц, *leges barbarorum*, Русская Правда). Из этих источников Н.С. Таганцев фиксирует несколько наблюдений. Во-первых, общая тенденция замены расправы пострадавших с нарушителем на публичные взыскания к нему (общественную расплату – выкуп, вира, композиция и пр.). В результате система денежных выкупов постепенно вытесняла кровную месть; выкуп уплачивался в пользу пострадавшего, но величина его определялась не мстителем, а установленными заранее правилами; само осуществление уплаты выкупа не зависело только от добровольного соглашения, однако могло быть вынужденным при обращении к публичной власти. Во-вторых, с распространением выкупов появляется идея и реальная возможность налагать их не только во имя общества, но и в интересах действующей власти: во времена Русской Правды уже имеется различие вир и продаж, которые получает князь, как представитель общества, от головничества и уроков, которые представляют собой вознаграждение пострадавшего. Так складывается система публичных денежных взысканий.

Однако, по мнению Н.С. Таганцева, она могла быть только переходной, и по существу своему сдерживала месть: «Не мог же, напр., свободный славянин, привыкший дотоле кровью рассчитываться за обиду и видеть в мести священную обязанность, – считать себя удовлетворенным, если зажиточный обидчик уплачивал князю или митрополиту от 3–40 гривен, да прибавлял и ему столько же за лечьбу и сором; не могло считать себя успокоенным этими мерами и общество, в виду постоянного возрастания разбоев и лихих дел разного рода» [7. С. 7]. Сформировавшаяся параллельно с системой выкупов система общественных казней (например, «поток и разграбление») в каком-то смысле разрешает эту проблему и, вместе с тем, «права общественного мстителя переходят вполне и окончательно на представителя государственной власти, и чем сильнее крепнет государство, тем более отодвигается на задний план пострадавшее лицо. Преступление становится исключительно „царевым делом“, „ослушанием царевой воли“, а потому мстителем за его совершение является та же царская власть» [7. С. 8]. В тоге Н.С. Таганцев констатирует,

что процесс перехода в системах наказания завершился, «и мы видим, что во всех цивилизованных государствах, безотносительно к их организации, конкретным носителем общественного карательного права является верховная государственная власть, или, еще теснее, глава этой власти, в котором олицетворяется правящая власть государства» [7. С. 8].

Определяя границы карательной деятельности, Н.С. Таганцев пишет: «Из понятия преступного деяния вытекает, что наказание является выражением того особого отношения, которое возникает между учинившим это деяние и государством. С точки зрения преступника наказание является последствием им учиненного, с точки зрения государства – мерою, принимаемую вследствие совершенного виновным деяния» [7. С. 2]. В свою очередь, «деяние, чтобы быть преступным, в смысле уголовно-наказуемого, должно быть воспрещено законом под страхом наказания, причем этот страх должен быть не чем-либо отвлеченным, не фантомом только пугающим того, кто посягает на нормы права, а реально им ощущаемым последствием такого посягательства; быть действительным наказанием, т.е. проявлением того особого юридического отношения, которое возникает между карательной властью и ослушником велений авторитетной воли законодателя» [7. С. 1]. Но где же в этой схеме пострадавший? Где общество?

Поскольку наказание представляет собой выражение юридического отношения между государством и преступником, то к нему (наказанию) могут быть отнесены только юридические последствия преступления, которые изменяют права и юридические интересы наказываемого. В таком случае возникает вопрос отграничения от уголовного наказания различных воздействий на виновного и прочих испытываемых им лишений. Чтобы указать признаки для подобного отграничения, по мнению Н.С. Таганцева, следует исходить из признаков юридической природы уголовно-наказуемых деяний. «Преступление, по существу своему, есть совершившееся посягательство на юридический порядок; самое нарушение правоохраненного интереса, чьего-либо субъективного права есть только средство посягательства. Мало того, уголовно-наказуемым посягательство на правовой порядок становится только в том случае, если государство признает, что, согласно с исторически сложившимися условиями народной жизни, оно представляет действительно более или менее важное значение для спокойного существования и правильного развития государства... Поэтому только те меры, которые принимаются государством против лиц, учинивших преступные деяния, вследствие такого учинения, в видах охраны правопорядка и правоохраненных интересов, могут быть относимы к карательной деятельности государства» [7. С. 4].

Н.С. Таганцев говорит о приоритете интересов государства («спокойное существование и правильное развитие государства»), в данном случае выраженных в форме «юридического порядка», над индивидуальными правами и интересами (их нарушение – лишь «средство посягательства» на юридический порядок). Вместе с тем он все же указывает на два основания для того, чтобы деяние («посягательство на правовой порядок») стало уголовно наказуемым: признание его в качестве преступного и государством («государство признает»), и народом («согласно с исторически сложившимися условиями народной жизни»). Однако добавление ко всему этому элемента государственной целесообразности («для спокойного существования и правильного

развития государства)), по сути, автоматически обесценивает второе, «народное» основание для наказуемости. Вряд ли Н.С. Таганцев делает это намеренно. Скорее, он все же не придает существенного значения различиям интересов общества и государства. В отношении собственно наказания Н.С. Таганцев акцентирует внимание на такой неотъемлемой характеристике его, как «особое юридическое отношение», с указанием субъектов данного отношения (государство и преступник) и правовых его последствий (влияние на права), а также подчеркивает связь преступления с понятием вреда.

Если обратиться к истории, то обнаружится, что было время, когда закон и вовсе обходился без «легального определения» термина «наказание». В Уголовном уложении 22 марта 1903 г., изданном Н.С. Таганцевым с пояснениями и комментариями из официальных документов, предшествовавших подготовке этого Уложения, имеется ст. 2, в которой представлена «лестница наказаний»: «Наказания, определяемые за преступные деяния, суть: 1) смертная казнь; 2) каторга; 3) ссылка на поселение; 4) заключение в исправительном доме; 5) заключение в крепости; 6) заключение в тюрьме; 7) арест; 8) денежная пеня» [3, 8]. Какое-либо определение «наказания» отсутствует. В комментариях после данной статьи Н.С. Таганцев отмечает отличия в системе наказаний по сравнению с Уложением 1845 г. и дает пояснения, касающиеся видов и классификации наказаний. Далее в подразделе «Общие замечания» видим: «Говоря об уголовной каре за запрещенные деяния, определяя сравнительную важность этих деяний сообразно выразившейся в них нравственной испорченности учинившего и размерам причиненного ими социального зла, закон не может не указать характера и объема тех лишений или ограничений благ или прав, принадлежащих виновному, которые заключаются в наказании; иначе самое воспреещение законом тех или других деяний под страхом наказания будет бессодержательною угрозою, иначе судебский приговор будет пустою формальностью, а не действительным воздаянием за совершенное правонарушение» [8. С. 30]. Термин «наказание» использован в законе (Уложении) как нечто само собою разумеющееся, в комментарии содержатся слова «кара» и «воздаяние», необходимость кары за запрещенное деяние не поясняется. Далее формулируется требование «соразмерности»: «важность деяний» ставится в соответствие с двумя критериями: «нравственная испорченность» совершившего их лица и размер причиненного социального зла. И после этого в комментарии говорится о том, что закон должен указать («не может не указать») сами меры, составляющие наказание.

Из изложенного возникает несколько вопросов. Почему с течением времени в текстах о наказании все реже встречаются упоминания «кары», «воздаяния», «нравственности»? Значимость этих смысловых составляющих наказания не вызывает сомнений, в особенности, если обратить внимание, что и И.Я. Фойницкий, и Н.С. Таганцев постоянно используют термин «карательная деятельность» (сравните с современным «уголовная политика»). Возможно, ответ надо искать в усилении позитивистского подхода к праву? Н.С. Таганцев изложил историю наказания от мести личной до мести «юридической», зафиксировал то, что с течением этой долгой истории пострадавший в итоге оказался «на заднем плане», а потом сформулировал понятия преступного деяния и наказания как некоего юридического отношения между

государством и преступником и далее стал строить рассуждения, исходя из этих понятий. Но если в этой системе не упоминается пострадавший, то где основания для воздаяния и нравственности? Может ли их заменить «польза» и целесообразность? В таком случае, учитывая «инструменталистский» и исключительно формальный подход в действующем праве к определению понятия «наказание», возможно, имеет смысл вернуться к тем вопросам, которые сам Н.С. Таганцев и поставил более ста лет назад: «Преступное деяние влечет за собою ответственность его виновника. Но кто же тот властный, уполномоченный подвергнуть преступника лишениям и страданиям? Есть ли наказание только фактическое отношение властного к подчиненному или ему присущ правовой характер? На чем основывается право карать нарушителей? Когда можно пользоваться этим правом? Чего желают достигнуть, наказывая? Таковы основные вопросы, на которые наталкивается каждый, изучающий наказуемость преступлений, как в ее истории, так и в современном праве» [7. С. 1].

Предваряя поиск ответов на эти вопросы, хотелось бы привести слова еще одного русского правоведа. А.Ф. Кистяковский в «Исследовании о смертной казни» подчеркивает существенное влияние материальных интересов на «смягчение жестокости наказаний»: «Первые опыты отмены смертной казни в Англии были сделаны не из соображений человеколюбия, не из желания установить более соответствия между преступлениями и наказаниями, а чисто из расчетов экономических. Во Франции гребцы на галерных судах, из которых состоял флот, набирались из преступников. В интересах правительства было, чтобы суды как можно больше преступников приговаривали к этому наказанию... Нет сомнения, что завоевание Сибири, заведение флота и предприятие правительственных построек, как то: крепостей и т.п., способствовали уменьшению и почти полной отмене смертной казни в России. Указами 19 ноября 1703 г., 19 января 1704 г. и 5 февраля 1705 г. Петр I предписал: кроме убийц и мятежников, остальных преступников за смертные преступления не приговаривать к смертной казни, а наказавши кнутом и заклеививши, ссылат в каторжную работу навсегда или на известное число лет» [9. С. 130]. Представляется, что интересы оказавшегося, по меткому выражению Н.С. Таганцева, на «заднем плане» пострадавшего, все-таки должны занимать в «карательной деятельности» государства иное место.

Список источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ : (ред. от 29 дек. 2022 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2022. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 27.08.1993) (утратил силу) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2022. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: <http://dal.scilib.com/word012713.html> (дата обращения: 25.09.2022).
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. URL: <http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90> (дата обращения: 25.09.2022).
5. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-1 (дата обращения: 25.09.2022).
6. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюремоведением. СПб. : Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1889. 503 с.

7. Таганцев Н.С. Смертная казнь. Сборник статей. СПб. : Государственная Типография, 1913. 335 с.

8. Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлеченными из объяснительной записки редакционной комиссии, представленной Мин. Юстиции в Государственный Совет и журналов – особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государственного Совета. СПб., 1904. 1125 с.

9. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула : Автограф, 2000. 272 с.

References

1. Russian Federation. (2022a) *Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: feder. zakon ot 13 iyunya 1996 № 63-FZ: (red. ot 29 dek. 2022 g.)* [The Criminal Code of the Russian Federation: Federal law No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended on December 29, 2022)]. [Online] Available from: KonsultantPlyus.

2. Russian Federation. (2022b) *Ugolovnyy kodeks RSFSR (utv. VS RSFSR 27.10.1960) (red. ot 27.08.1993) (utratil silu)* [The Criminal Code of the RSFSR (approved by the Supreme Court of the RSFSR on October 27, 1960) (as amended on August 27, 1993) (repealed)]. [Online] Available from: KonsultantPlyus.

3. Dal, V.I. (n.d.) *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian language]. [Online] Available from: <http://dal.sci-lib.com/word012713.html> (Accessed: 25th September 2022).

4. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (n.d.) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Russian Language]. [Online] Available from: <http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90> (Accessed: 25th September 2022).

5. Wikipedia.org. (n.d.) *Vikipediya – svobodnaya entsiklopediya* [Wikipedia is a free encyclopedia]. [Online] Available from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-1 (Accessed: 25th September 2022).

6. Foynitskiy, I.Ya. (1889) *Uchenie o nakazanii v svyazi s tyur'movedeniem* [The doctrine of punishment in connection with prison science]. St. Petersburg: Ministry of Railways (A. Benke).

7. Tagantsev, N.S. (1913) *Smertnaya kazn'. Sbornik statey* [The death penalty. A digest of articles]. St. Petersburg: Gosudarstvennaya Tipografiya.

8. Tagantsev, N.S. (1904) *Ugolovnoe ulozhenie 22 Marta 1903 g. S motivami, izvlechennymi iz ob'yasnitel'noy zapiski redaktsionnoy komissii, predstavlennoy Min. Yustitsii v Gosudarstvennyy Sovet i zhurnalov – osobogo soveshchaniya, osobogo prisutstviya departamentov i obshchego sobraniya Gosudarstvennogo Soveta* [Criminal Code of March 22, 1903. With motives extracted from the explanatory note of the editorial commission submitted by the Ministry of Justice to the State Council and registrars – a special meeting, a special presence of departments and a general meeting of the State Council]. St. Petersburg: [s.n.].

9. Kistyakovskiy, A.F. (2000) *Issledovanie o smertnoy kazni* [A Study on the Death Penalty]. Tu-
la: Avtograf.

Сведения об авторе:

Головина Ю.А. – ассистент, кафедра истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: jagolovina@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Golovina Yu.A. – teaching assistant, Department of the History of Philosophy and Logic, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: jagolovina@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.12.2022;
одобрена после рецензирования 20.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 25.12.2022;
approved after reviewing 20.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья
УДК 16:17+37.017
doi: 10.17223/1998863X/71/10

ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА ЭТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОМ ТРАКТАТЕ» ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА

Сергей Борисович Куликов

*Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия,
kulikov.sergh@gmail.com*

Аннотация. Раскрываются эпистемические основания предложенного Витгенштейном истолкования природы этических высказываний. Автор показывает, что трансцендентальное истолкование этики не влечет необходимость ее построения на базе внемировых метафизических критериев. Этика как эпистемическая система демонстрирует способы научения принципам и правилам морали, хотя они и не могут быть точно выражены строго научными способами описания мира.

Ключевые слова: этика, трансцендентализм, высказывания, язык, наука, мир

Для цитирования: Куликов С.Б. Эпистемические основания анализа этических высказываний в «Логико-философском трактате» Людвиг Витгенштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 96–105. doi: 10.17223/1998863X/71/10

Original article

EPISTEMIC GROUNDS FOR THE ANALYSIS OF ETHICAL STATEMENTS IN THE *TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS* BY LUDWIG WITTGENSTEIN

Sergey B. Kulikov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, kulikov.sergh@gmail.com

Abstract. The article reveals the epistemic foundations of the approach proposed by Wittgenstein to the understanding of the nature of ethical statements. The author shows that the transcendental interpretation of ethics does not entail the need to build it because of extra-world metaphysical criteria. Ethics shows the ways of learning the rules of behavior, while the rules cannot be expressed by strictly scientific modes of describing the world. To achieve the goal, the author clarifies in the first section of the article the transcendental nature of ethical statements in relation to Wittgenstein's thesis on the equivalent value of statements. The weak expressiveness of ethical statements determines the problematic nature of such statements as "I am ready to change the world for the better". In this regard, ethical statements cannot provide the teaching of skills to identify ethical facts. These statements are only suitable for describing the psychological tendencies of the will. The status of the expression of identified states that do not have the character of scientific regularities, but are demonstrated in practice in the form of role models or censure is described. The second section reveals the epistemic status of transcendental interpretation of the meaning of ethical statements. From this perspective, ethics coincides with a set of cases for assessing changes for the better or for the worse in the prospect of increasing happiness or unhappiness in the world. These changes concern the initiators of the changes themselves, transforming the picture of the world as a whole formed on this path. As a result, the research leads to the

question about the dependence of the behavior of the subject of cognition, especially based on the logic and strict meaning of statements, on the transcendental norms of general ethics and their reproduction through education. The ideal or ethos of science and the ways of its description are emphasized. In this regard, the author reveals the prospects of research, which examines the key provisions of the theory of scientific ethos that affect the social functioning of science and its development through special training of specialists in tertiary education.

Keywords: ethics, transcendentalism, statements, language, science, world

For citation: Kulikov S.B. (2023) Epistemic grounds for the analysis of ethical statements in the *Tractatus Logico-Philosophicus* by Ludwig Wittgenstein. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 96–105. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/10

Цель статьи – раскрыть эпистемические основания¹ анализа этических высказываний, осуществленного в «Логико-философском трактате» и при-
мыкающих к нему трудах Л. Витгенштейна [2–5]. Постановка цели актуальна в свете целого ряда современных исследований. Так, Г.А. Золотков [6], К.А. Родин [7], В.А. Суровцев [8] и многие другие авторы обнаруживают, что исследования Витгенштейна едва ли не напрямую выводят на необходимость решения задач по раскрытию оснований этики². Дж. Фэйрхёрст (Fairhurst) [10, 11] показывает, что предметом дискуссий в современной мысли является истолкование Витгенштейном этики в духе трансцендентализма. В свою очередь, А.-М. Кристенсен (Christensen) еще в начале 2000-х вполне обоснованно полагала, что этические идеи Витгенштейна раскрывают последовательную и радикальную альтернативу традиционным вариантам концептуализации этики [12. Р. 121]³.

Достижение цели исследования обусловлено выделением факторов, которые, по свидетельству П. Куинна (Quinn), влияют на интерпретацию этических высказываний Витгенштейном не только в рамках отношений между логикой и этикой, но и в контексте предполагаемой связи этих трансцендентальных способов описания мира с образовательными практиками. Куинн замечает, что «вера для Витгенштейна обеспечивает базовую основу для обучения и преподавания. Этика также имеет для него фундаментальное значение, хотя и несколько иным, пусть и связанным образом... Этика всепроникающая, говорит он нам, и является „состоянием мира, подобным логике“. Она трансцендентна, сверхъестественна, тесно связана с тем, что хорошо и божественно, и направляет нас по правильному пути в поисках счастья, показывая нам правильный путь жизни. В *Трактате* этика получает краткое упоминание, хотя это оказывается смыслом всей книги» [15. Р. 75].

Позиция Куинна является одной из отправных точек для прояснения оснований интерпретации природы этических высказываний, предложенной Витгенштейном. Подход, развиваемый Куинном, опирается на свидетельства, приведенные П. Энгельманном при публикации писем Витгенштейна:

¹ Под эпистемическими основаниями понимается опора отдельных систем знания на принципы и правила, формирующиеся, согласно определению Р. Коппла (Coppl), в рамках «социальных процессов, порождающих суждения» (social processes generating judgments) [1].

² Подробный обзор литературы представлен в ранее опубликованной работе [9].

³ Здесь и далее цитаты из зарубежных работ даны в переводе автора статьи. Ссылки на «Логико-философский трактат» (также в переводе автора) даются по Оксфордскому изданию 1922 г. [2], в котором представлены немецкая и английская версии текста.

«Смысл книги („Логико-философского трактата“ – С.К.) является этическим. Однажды я хотел включить в предисловие предложение, которого на самом деле нет сейчас, но которое я выпишу для вас здесь, потому что это, возможно, будет ключом к работе для вас» [16. Р. 143].

Вопрос о новаторстве Витгенштейна в области этики (точнее, метаэтики) позволяет затронуть чрезвычайно важный аспект проблематики. При всех разночтениях, этика традиционно рассматривается как совокупность принципов и правил морали, суждения о которых составляют совокупность содержательных утверждений. В «Логико-философском трактате» этика интерпретируется как версия трансцендентальных или «внемировых» способов выражения, которые не имеют реального содержания (6.421–6.423) [2. Р. 183–185]. В результате становится важным, в какой мере позиция, признающая трансцендентальный характер этики, может выражать соответствие разработок Витгенштейна в области аналитической философии и некоторых ответвлений, допустим, немецкой классики. В этом плане, скажем, И. Кант полагал возможным согласовать трансцендентальный характер этики и возможность рациональной систематизации ее принципов, поскольку «практическое предназначение человека мудро пропорционально его познавательной способности» [13. S. 186]. Недостаток такого рода исследований приводит к неоднозначным трактовкам эпистемических оснований позиции Витгенштейна, это при том, что ее собственное содержание достаточно хорошо изучено [14]. В перспективе же анализ позиции Витгенштейна оставляет шанс понять, в каком смысле и в какой степени трансцендентальный характер этики, вытекающий из положений общих исследований того, что есть добро¹, может быть согласован с нормами этики науки и образования.

Итак, **проблема** исследования заключается в уточнении границ смысла трансцендентального истолкования этики в «Логико-философском трактате». При этом обсуждение проблемы предполагает доказательство тезиса, что концепция, которой придерживался Витгенштейн при анализе языковых выражений этических норм и которая отсылает к тезису о равноценности высказываний или «эквивалентной ценности пропозиций» (6.4) [2. Р. 183], раскрывает одновременно и бессодержательность трансцендентально-этических утверждений как области знаний², и их специфику в качестве особой эпистемической системы, альтернативной науке³.

Таким образом, **новизна** получаемых результатов совпадает с раскрытием оснований, на базе которых выражение трансцендентальных по своей природе высказываний в этике принципиально выходит за рамки стандарт-

¹ Витгенштейн в одном из текстов [3] прямо говорит, что продолжает линию Дж. Мура [17] на понимание этики как «общего исследования того, что есть добро» (the general inquiry into what is good). Это не означает, что и Мур считал этику трансцендентальной. Автор статьи лишь полагает важным указать на преемственность воззрений Витгенштейна в плане общего определения этики.

² Этические высказывания, истолкованные в трансцендентальном их понимании, не укладываются в рамки пропозиций вида «aRb» как «a относится к b» или «a находится в некотором отношении к b» (6.41–6.42) [2. Р. 183]. Иначе легко было бы уточнить смысл утверждений, например, «Бог есть высшее Благо» или «Воля – это свободный акт». Но принципиально неясны как области значения понятий «Бог», «Благо», «воля», «акт», так и выражения их пересечений посредством предикатов «высшее», «свободный» и т.д.

³ Классический вариант эпистемической системы, отличающейся от европейской науки, описан в работе [17].

ных возможностей научного описания, образуя отличную от науки эпистемическую систему.

Структура статьи включает два основных раздела. В первом проясняется трансцендентальный характер этических высказываний в отношении тезиса Витгенштейна о равноценности высказываний. Во втором разделе раскрывается характер трансцендентального истолкования смысла этических высказываний как особой эпистемической системы.

Тезис о равноценности высказываний и трансцендентальный характер этики

В данном разделе отстаивается положение, что тезис Витгенштейна о равноценности высказываний или «эквивалентной ценности пропозиций» (6.4) [2. P. 183] играет решающую роль при раскрытии природы этических утверждений в «Логико-философском трактате». Данный тезис имеет три следствия, причем второе из них дает собственные частные выводы, позволяющие прояснить образовательный потенциал концепции этики, которой придерживался Витгенштейн.

Первое следствие тезиса о равноценности высказываний относится к критике возможностей постичь смысл мира на базе внемировых критериев нахождения этого смысла. Тут важно помнить, что, в частности, Кант особое внимание уделяет свободе воли как «высшему условию всех максим» (*die oberste Bedingung aller Maximen*), тем самым наделяя отдельные высказывания привилегированным статусом [13. S. 40]. Критика Витгенштейна не направлена прямо против суждений именно Канта. В соответствующих разделах «Логико-философского трактата» вообще не указаны сторонники и противники возможности делать этические высказывания. Легко допустить, что Витгенштейн в целом критикует стремление выделять внемировые критерии оценки всего, что происходит или не происходит в мире как базис этических высказываний. С этой позиции видно, что отдельные явления и процессы в мире не имеют и не должны иметь особой ценности в плане разделения «лучше» или «хуже», «выше или «ниже» и других. Все в мире происходит здесь и сейчас, и происходит без высшего плана, потому что все явления и процессы как таковые случайны в мире. Это утверждение не означает, что неслучайные события совершенно невозможны. Неслучайные события лишь не связаны с ситуациями в мире, поскольку само их обнаружение отсылает к некоторым гипотетическим внемировым сущностями.

Анализ высказываний Витгенштейна позволяет выделить, что «смысл мира должен лежать вне мира. В мире все так, как есть, и происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности – а если бы она была, то не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, которая действительно имеет ценность, она должна лежать вне всего происходящего и бытия-так. Ибо все происходящее и бытие-так случайно. То, что делает его неслучайным, не может лежать в мире, потому что в противном случае это снова было бы случайно. Оно должно находиться вне мира» (6.41) [2. P. 183]. Витгенштейн показывает, что при допущении «высших ценностей» все в мире теоретически может быть одновременно как случайным, так и неслучайным. Допущение внемировых критериев поиска смысла мира и их от-

рицание становятся равнозначными, и описания мира, таким образом, впадают в противоречие.

Смысл второго следствия тезиса о равноценности высказываний совпадает со способностью активной личности сводить рамки формирования намерений к субъективным переживаниям. В связи с этим автор полагает, что Витгенштейн прямо не утверждает противоречивости смысла мира, но он показывает, что говорить о смысле мира в отрыве от самого мира – это значит впасть в противоречия вне зависимости от того, наделяет кто-либо смысл мира значимостью, или лишает его такой значимости. В данном контексте Витгенштейн замечает, что «не может быть никаких этических пропозиций» (6.42) [2. Р. 183]. Тем самым отрицается возможность выразить нечто высшее, внемировое при помощи этических высказываний.

Тезисы Витгенштейна имеют три частных следствия, а именно: (i) этика ничего не выражает; этика трансцендентальна; (ii) форма этического закона «ты должен...» не подразумевает вознаграждения за соблюдение и санкций за нарушение этических норм; (iii) нельзя говорить о воле как о предмете этических утверждений, хотя это может представлять интерес для психологии. В целом, полагает Витгенштейн, «ясно, что этика не может быть выражена. Этика трансцендентальна. (Этика и эстетика едины.). Первая мысль при установлении этического закона в форме „ты должен...“ есть: А что, если я этого не сделаю? Но ясно, что этика не имеет ничего общего с наказанием и вознаграждением в обычном смысле. Поэтому вопрос о последствиях того или иного действия не должен иметь значения... А воля как феномен представляет интерес только для психологии» (6.421–6.423) [2. Р. 183–185].

Приведенные суждения позволяют точнее понять третье общее следствие тезиса о равноценности высказываний, согласно которому границы мира и границы счастья обусловлены пределами возможности внести изменения в мир на базе доброй или злой воли. Витгенштейн замечает: «Если добрая или злая воля меняет мир, она может изменить только границы мира, а не факты, – не то, что может быть выражено в языке. Короче говоря, мир должен тогда стать совсем другим. Он должен, так сказать, то возрастать, то убывать в целом. Мир счастливого совсем другой, чем мир несчастного» (6.43) [2. Р. 185].

В свете упомянутых идей Витгенштейна раскрываются возможности истолкования третьего следствия тезиса о равноценности высказываний в его образовательном смысле. В рамках самого мира и описания составляющих его фактов, т.е. в контексте явлений и процессов «здесь и сейчас», затруднительно давать точные оценки. Точность оценок зависит от возможности повлиять на достижение счастья или несчастья как «мира счастья» или «мира несчастья» в целом. Поэтому не имеет решающего значения, будет ли воля, которая вносит изменения в мир, сама оцениваться как «хорошая» или «плохая». Оценивать самостоятельно и учить других оценивать степень благости воли можно только на основе трансцендентальных или буквально вне-(сверх-)мировых критериев. Само по себе это, видимо, можно допустить, ибо образы «мира счастья» и «мира несчастья» Витгенштейн все-таки различает. Но выразить в языке как реальный факт «счастье (a) относится к несчастью (b) как акт доброй воли (p) к акту недоброй (~p)» не получится в силу неоднозначности каждого элемента данного высказывания.

Слабая выразительность этических высказываний обуславливает проблематический характер таких утверждений, как «я готов изменить мир к лучшему». Согласно Витгенштейну, все в мире меняется одновременно при условии, что мир полон счастья или несчастья. Под принципиальным сомнением оказываются попытки, в частности, Канта увязать счастье и следование долгу в качестве выражения свободы разумного существа [13. S. 159]. Но речь идет не просто о критике попыток наделения этических высказываний положительным смыслом. Судя по всему, о явлениях в мире вообще нельзя высказываться так, будто они есть факты в этическом плане. Причем данное «нельзя» следует толковать не в смысле запрета «не говорить!», а технически как «это не может работать». Вполне очевидно, что так истолкованные этические утверждения не могут обеспечивать научение умений по выявлению этических фактов. Эти утверждения, однако, вполне пригодны для описания психологических склонностей воли. Вместе с тем трудности формулировки подлинных высказываний вида «aRb» не устраняются. Меняется статус выражения выявленных состояний, не имеющих характера научных закономерностей, но демонстрируемых на практике в виде примеров для подражания или порицания.

Из вышесказанного ясно, что этические утверждения не призваны помочь раскрыть смысл некоторых ситуаций на базе иерархии ценностей. Но такие утверждения вполне способны послужить целям обучения, проливая свет на то, как следует поступать в различных обстоятельствах. Необходимо более детально раскрыть специфику так истолкованных в «Логико-философском трактате» этических высказываний, прояснив их характер в качестве особой эпистемической системы.

Специфика трансцендентального истолкования этики как особой эпистемической системы

В данном разделе аргументируется, что интерпретация этических высказываний через «показывание» раскрывает смысл концептуализации этики как особой эпистемической системы в «Логико-философском трактате». Предпосылки выдвижения тезиса отчетливо видны в современных работах по изучению наследия Витгенштейна. Так, Кристенсен стремится прояснить концепцию «показывания», предложенную Витгенштейном [12]. В этой сфере логические и этические понятия не образуют типы высказываний, родственные, скажем, миру вечных платоновских идей. Кристенсен замечает: «То, что показано, не является чем-либо конкретным в мире, но чем-то, что формирует наши отношения с миром, и как таковое оно применимо к миру с необходимостью. Эта необходимость не означает, что нужно рассматривать, например, логику или причинность как платоновские или автономные структуры, поскольку эти условия можно рассматривать как тесно связанные с практическим измерением овладения практикой, например, языком... В *Трактате* Витгенштейн видит различие между практикой и тем, при каких условиях эта практика является абсолютной, что означает, что эти условия не могут быть выражены в самой практике» [12. P. 123]. Из этого ясно, что трансцендентальная сущность логических принципов обусловлена их укорененностью в практическом использовании языка, в котором значение универсальной нормы выходит за пределы самого использования.

Концепция показывания, в рамках которой «то, что *может* быть показано, *не может* быть сказано (курсив Витгенштейна. – С.К.)» (4.1212) [2. Р. 79], позволяет обнаружить причины слабой выразимости строгих критериев различения того, что есть «хорошо». Эти причины коренятся не в языке как таковом, а в носителе этического, который выпадает из области логического анализа. Обнаруженная трудность определяется фактором воли, которая хоть и считается, но не выступает реальным носителем этического, а есть предмет психологии (6.423) [1. Р. 185]. Тем самым указывается на то, что «хорошее» и «плохое» переживается в действиях, а не высказывается в языке. Именно такая концепция позволяет раскрыть варианты формирования посредством образования склонностей к различениям, что есть «хорошо» или «нехорошо». Открывается возможность фиксации условий различения через демонстрацию образцов для подражания или порицания в действиях, а не посредством языка и его знаков (в отличие от сходных отношений истинности и формально-логических высказываний (4.1211) [2. Р. 79]).

В то же время, как показывает исследование Кристенсен, важную роль играют основания, на базе которых формируются или усваиваются этические положения в целом, Кристенсен замечает: «Такие предложения, как „убийство неправильно“, показывают предел для действий, и они необходимы только до тех пор, пока они принимаются как таковые, поэтому, действуя против него, я изменяю саму свою концепцию этики» [12. Р. 127]. В итоге проясняется, что в свете идей Витгенштейна даже утверждения об убийствах зависят не от факта совершения поступка, а от этической концепции, которая задает контекст интерпретации поступка.

Нетрудно увидеть, что трансцендентальная природа этики, согласно которой немыслимо и нелогично выражать что-то определенное о зле и добре в высказываниях вида «aRb», не ведет к возможности построить этику как отрасль научного знания на основе точных суждений. Можно предположить, что этические утверждения способны только наметить отличительные характеристики «хороших дел» и «плохих поступков» как метафорического описания конкретных событий. Тем не менее это не означает, что этика вообще не может ничего сообщить о добре и зле в мире. Б. Уильямс (Williams) замечает по поводу витгенштейнианской критики этических высказываний: «Дело не только в том, что способность использовать язык требует общей способности видеть сходства, но способность видеть этические сходства выходит за рамки всего, что может быть адекватно выражено в языке... Это не значит, однако... что нет никакого объяснения, ни на каком уровне, этим человеческим склонностям. Все это означает, что объяснение не заключается в постулировании правила управления, которое респондент усвоил и бессознательно им руководствуется» [19. Р. 97–98].

Вместе с тем следует постоянно помнить, что в соответствии с утверждениями Витгенштейна этика отсылает к внемировым образцам для оценки изменений к лучшему или к худшему в перспективе увеличения счастья или несчастья в мире (6.43) [2. Р. 185]. Эти изменения касаются и самих инициаторов изменений, трансформируя образованную на данном пути картину мира в целом. Данный аспект понимания этических высказываний раскрывает связи между этикой и образованием, а точнее, воспитанием как компонентом образования. Именно это обстоятельство позволяет одновременно и снижать

познавательный потенциал этики, и выделять в ней эпистемическую ценность особого рода. Ненаучный или вненаучный характер этики не влияет на возможности ее применения для преодоления в мире негативных моментов и увеличения в нем моментов позитивных.

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что выполненное исследование, помимо возможности размежевать логику трансцендентального (внемирового и тем самым вненаучного) истолкования этических высказываний Витгенштейном и других трансценденталистских интерпретаций этики (например, согласование норм морали и норм познания как аспектов человеческого разума у Канта), приводит к чрезвычайно любопытному результату. Оно заключается в необходимости прояснения степени зависимости поведения субъектов познания, в особенности опирающегося на логику и строгий смысл высказываний, от трансцендентальных норм общей этики и их воспроизводства через образование. Под вопросом оказывается идеал или этос науки и способы его точного описания. В связи с этим в дальнейших исследованиях необходимо рассмотреть ключевые моменты теории научного этоса, влияющие на социальное функционирование науки и ее развитие путем специальной подготовки специалистов в рамках высшего образования. Как представляется на данном этапе исследований, прояснение трансцендентального по своей природе смысла этических высказываний даст шанс для выявления природы высказываний в теории научного этоса и позволит раскрыть в полной мере образовательный потенциал этой теории.

Список источников

1. Koppl R. Epistemic systems // *Episteme*. 2006. Vol. 2, № 2. P. 91–106. doi: 10.3366/epi.2005.2.2.91
2. Wittgenstein L. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London : Routledge & Kegan Paul, 1922. 189 p.
3. Wittgenstein L. I: A Lecture on Ethics // *The Philosophical Review*. 1965. Vol. 74, № 1. P. 3–12. doi: 10.2307/2183526
4. Wittgenstein L. *Notebooks 1914–1916*. New York : Harper & Row, Publishers, 1969. 238 p.
5. Wittgenstein L. *Wittgenstein's Lectures, Cambridge, 1932–35: From the Notes of Alice Ambrose and Margaret Macdonald*. New York : Prometheus Books, 2001. 225 p.
6. Золотков Г.А. Об этическом смысле «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна // *Ценности и нормы в потоке времени : материалы VI Междунар. науч. конф., Курган, 09–10 апреля 2015 года / отв. ред. Б.С. Шалютин. Курган : Курган. гос. ун-т, 2015. С. 44–46.*
7. Родин К.А. Этическое прочтение «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна // *Эпистемология и философия науки*. 2021. Т. 58, № 1. С. 31–39. doi: 10.5840/eps20215814
8. Суровцев В.А. Логический позитивизм, Л. Витгенштейн и этическое содержание «Логико-философского трактата» // *Эпистемология и философия науки*. 2021. Т. 58, № 1. С. 57–66. doi: 10.5840/eps20215817
9. Kulikov S.B. Scientific Ethos and Ethical Dimensions of Education // *International Journal of Ethics Education*. 2022. Vol. 7, № 2. P. 307–324. doi: 10.1007/s40889-022-00147-5
10. Fairhurst J. The Ethical Subject and Willing Subject in the *Tractatus*: an Alternative to the Transcendental Reading // *Philosophia*. 2019. Vol. 47, № 1. P. 75–95. doi: 10.1007/s11406-017-9938-5
11. Fairhurst J. “Ethics is Transcendental” (*Tractatus Logico-Philosophicus*, 6.421) // *Journal of the American Philosophical Association*. 2021. Vol. 7, № 3. P. 348–367. doi: 10.1017/apa.2020.17
12. Christensen A.-M. Wittgenstein and Ethical Norms: The Question of Ineffability Visited and Revisited // *Floridianópolis*. 2004. Vol. 3, № 2. P. 121–134.
13. Kant I. *Kritik der praktischen Vernunft*. Leipzig : Verlag von Felix Meiner, 1922. 288 S.
14. Fairhurst J. The Early Wittgenstein on Living a Good Ethical Life // *Philosophia*. 2022. doi: 10.1007/s11406-022-00485-0

15. Quinn P. Wittgenstein on Thinking, Learning, and Teaching. Bern : Peter Lang AG, 2015. 161 p. doi: /10.3726/978-3-0353-0746-7
16. Engelmann P. Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir. Oxford : Blackwell, 1967. 165 p.
17. Moore G.E. *Principia Ethica*. Cambridge: Cambridge University Press, 1922. 276 p.
18. Evans-Pritchard E.E. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford : Clarendon Press, 1976. 265 p.
19. Williams B. Ethics and the Limits of Philosophy. London and New York : Routledge, 2006. 272 p. doi: 10.4324/9780203969847

References

1. Koppl, R. (2006) Epistemic systems. *Episteme*. 2(2). pp. 91–106. DOI: 10.3366/epi.2005.2.2.91
2. Wittgenstein, L. (1922) *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul.
3. Wittgenstein, L. (1965) I: A Lecture on Ethics. *The Philosophical Review*. 74(1). pp. 3–12. DOI: 10.2307/2183526
4. Wittgenstein, L. (1969) *Notebooks 1914–1916*. Translated by G.E.M. Anscombe. New York: Harper & Row, Publishers.
5. Wittgenstein, L. (2001) *Wittgenstein's Lectures, Cambridge, 1932–35: From the Notes of Alice Ambrose and Margaret Macdonald*. New York: Prometheus Books.
6. Zolotkov, G.A. (2015) Ob eticheskom smysle «Logiko-filosofskogo traktata» Lyudviga Vitsenšteyna [On the ethical meaning of “Tractatus Logico-Philosophicus” by Ludwig Wittgenstein]. In: Shalyutin, B.S. (ed.) *Tsennosti i normy v potoke vremeni* [Values and Norms in the Flow of Time]. Kurgan: Kurgan State University. pp. 44–46.
7. Rodin, K.A. (2021). Ethical Reading of the Tractatus Logico-Philosophicus. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 58(1). pp. 31–39. (In Russian). DOI: 10.5840/eps20215814
8. Survtsev, V.A. (2021) Logical positivism, Wittgenstein and Ethical Value of the Tractatus Logico-Philosophicus. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 58(1). pp. 57–66. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.5840/eps20215817>
9. Kulikov, S.B. (2022) Scientific Ethos and Ethical Dimensions of Education. *International Journal of Ethics Education*. 7(2). pp. 307–324. DOI: 10.1007/s40889-022-00147-5
10. Fairhurst, J. (2019) The Ethical Subject and Willing Subject in the Tractatus: an Alternative to the Transcendental Reading. *Philosophia*. 47(1). pp. 75–95. DOI: 10.1007/s11406-017-9938-5
11. Fairhurst, J. (2021) “Ethics is Transcendental” (Tractatus Logico-Philosophicus, 6.421). *Journal of the American Philosophical Association*. 7(3). pp. 348–367. DOI: 10.1017/apa.2020.17
12. Christensen, A.-M. (2004) Wittgenstein and Ethical Norms: The Question of Ineffability Visited and Revisited. *Florianópolis*. 3(2). pp. 121–134.
13. Kant, I. (1922) *Kritik der praktischen Vernunft*. Leipzig: Verlag von Felix Meiner.
14. Fairhurst, J. (2022) The Early Wittgenstein on Living a Good Ethical Life. *Philosophia*. 50. pp. 1745–1767. DOI: 10.1007/s11406-022-00485-0
15. Quinn, P. (2015) *Wittgenstein on Thinking, Learning, and Teaching*. Bern: Peter Lang AG. DOI: 10.3726/978-3-0353-0746-7
16. Engelmann, P. (1967) *Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir*. Oxford: Blackwell.
17. Moore, G.E. (1922) *Principia Ethica*. Cambridge: Cambridge University Press.
18. Evans-Pritchard, E.E. (1976) *Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande*. Oxford: Clarendon Press.
19. Williams, B. (2006) *Ethics and the Limits of Philosophy*. London and New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780203969847

Сведения об авторе:

Куликов С.Б. – доктор философских наук, доцент, директор гуманитарного научно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: kulikov.sergh@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kulikov S.B. – Dr. Sci. (Philosophy), associate professor, director of the Science and Education Center for Humanities, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).
E-mail: kulikov.sergh@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 01.12.2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 01.12.2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК 111.1/ 141.113

doi: 10.17223/1998863X/71/11

ОПТИКА СУМЕРЕК: О ПРИЗРАЧНОСТИ И ТЬМЕ В ДИСКУРСЕ МЕТАМОДЕРНИСТСКИХ ОНТОЛОГИЙ

Виталий Георгиевич Косыхин¹, Софья Владимировна Тихонова²

^{1,2} *Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия*

¹ *kosyhinv@gmail.com,*

² *segedasv@yandex.ru*

Аннотация. Вопрос о смене постмодернистской парадигмы мышления новыми формами метамодернистского подхода все чаще оказывается в фокусе внимания современной философии. Целью статьи является анализ метамодернистского онтологического дискурса. В отличие от критической ироничности постмодерна, метамодернизм склонен не столько развенчивать мифы, сколько вписывать старые мифы в новую реальность, в которой строгость гуссерлевской феноменологии спокойно уживается с причудливой фантазией Геймана или Лавкрафта.

Ключевые слова: метамодернизм, онтология, объект, призрак, дивинология, оптика сумерек, мифология

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Мифологизация времени в современной медийной среде: риски трансформации, стратегии конструирования, дискурсивные практики», № 20-011-00297.

Для цитирования: Косыхин В.Г., Тихонова С.В. Оптика сумерек: о призрачности и тьме в дискурсе метамодернистских онтологий // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 106–118. doi: 10.17223/1998863X/71/11

Original article

THE OPTICS OF TWILIGHT: ON SPECTERS AND DARKNESS IN THE DISCOURSE OF METAMODERN ONTOLOGIES

Vitaly G. Kosykhin¹, Sophia V. Tikhonova²

^{1,2} *Saratov State University, Saratov, Russian Federation*

¹ *kosyhinv@gmail.com*

² *segedasv@yandex.ru*

Abstract. More and more often, when the modern philosophy focuses on the completion of the postmodern paradigm of thinking, we come across the term metamodernism to refer to new ways of analyzing reality. The problem here is primarily the very concept of metamodernism, which until now has not received a clear conceptual status. The article aims to identify the specifics of the metamodern ontological discourse, to demonstrate the essential features inherent to it, and to analyze its methodological strategies. The authors believe that one of the basic principles of metamodernism in ontology is a new concept of an ontological object, going back from the labyrinths of Latour's actor-network theory and the

specters studies of late Derrida to Meillassoux's divinology and Harman's attempt to build a new mythoesthetic space within his project of object-oriented ontology. The metamodern metaxis reveals very specific twilight optics of an object, modifying the object and making it elusive for the networks of modernist or postmodern concepts. The very strategy of the formation of concepts in metamodernism looks, at first glance, rather strange, combining things that previously seemed incongruous, real with the imaginary, historical with the fantastic. This in turn plunges us into the spectral world of transformations and adventures of objects, which however pretend to be real in the era of Internet information and social networks. Metamodernism, in contrast to the critical irony of the postmodern, inclines not to debunk myths, but to create them, or rather, to incorporate old myths into a new reality in which the rigor of Husserlian phenomenology coexists with the bizarre fantasy of Neal Gaiman or Howard Lovecraft. Despite the ambiguity of such constructions, in the change of demythologizing postmodern paralogies to mythological analogies of metamodernism, modern ontological thinking can nevertheless reveal a whole range of new opportunities. The instability of the notion of metamodernism is the cause for the rethinking of the new conditions and possibilities the modern philosophy deals with.

Keywords: metamodernism, ontology, object, specter, divinology, twilight optics, mythology

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-011-00297: Time Mythologization in the Modern Media Environment: The Risks of Transformation, Construction Strategies, Discursive Practices.

For citation: Kosykhin, V.G. & Tikhonova, S.V. (2023) The optics of twilight: on specters and darkness in the discourse of metamodern ontologies. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 106–118. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/11

Метафизика нового тысячелетия представлена множеством новых онтологических концепций, объединяемых термином «метамодернизм». Термином весьма условным, жизнеспособность которого пока остается под вопросом в связи с обилием конкурирующих претендентов. Тем не менее он обладает известной рефлексивной глубиной благодаря усилиям Тимотеуса Вермюлена, Робина ван ден Аккера [1] и Люка Тёрнера [2], обозначившим новые стратегии в философии и искусстве после постмодерна. Претензии на перманентный metaxis, колебание и одновременное принятие взаимоисключающих истин отражают настойчивое стремление к новой онтологической аффирмативности в пику онтологическому скепсису аналитической философии и нигилизму постмодерна. И, хотя многочисленная критика термина «метамодернизм» (например, [3]) старательно демонстрирует сомнительность новизны «прорывов» метамодернизма, обнажая в ядре нового движения нелегально узурпированные практики модерна и постмодерна, продвижение метамодернистских идей она не может ни остановить, ни объяснить.

Прежде чем и если говорить о метамодернизме всерьез, следует поставить вопрос о степени его самостоятельности, т.е. о различиях между интенциями онтологического дискурса постмодерна и метамодерна. Нам представляется, что существует четыре основных отличия, позволяющие говорить именно о suo modo метамодернизма.

Во-первых, это полный отказ от субъекта как базового принципа эпистемологической рефлексии, вместе со всеми формами его деструкции в духе модерна (хайдеггеровское Dasein) или его деконструкции в направлении постмодернистской множественности. Примером подобного подхода могут служить акторно-сетевая теория Бруно Латура, постдеконструктивный синтез Майкла Мардера или критика корреляционизма в спекулятивном реализме.

Во-вторых, это *metaxis*, который начинается с переосмысления места постмодернистского различия в системе философского дискурса. Различие сменяется объединением прежде несовместимого. Это отчетливо прослеживается в объект-ориентированной онтологии, возникшей, по словам Хармана, из парадоксального совмещения процессуализма Уайтхеда с эссенциализмом Субири [4. С. 14].

В-третьих, новая сумеречная оптика объекта, видоизменяющая объект и делающая его в нередуцированной форме неуловимым для сетей модернистских или постмодернистских понятий. Она погружает нас в призрачный мир превращений и приключений объектов. Призраки, как выражение своеобразного *Zeitgeist*, становятся объектом онтологического анализа уже у позднего Деррида, легитимировавшего их законное пребывание не только на полях философии. Призракология, придавая деконструкции статус своеобразной ничейной территории между постмодернизмом и метамодернизмом, получает добавочное измерение в онтологических построениях Хармана и Мейясу.

В-четвертых, метамодернизм склонен не столько развенчивать мифы, сколько их создавать, или, вернее, вписывать старые мифы в новую реальность, в которой Нил Гейман спокойно соседствует с Говардом Лавкрафтом или Джоан Роулинг. Мифологические аналогии метамодернизма сменяют демифологизирующую постмодернистскую паралогию в духе Лиотара.

Отметим, что термин «метамодернизм» не часто используется в качестве самоназвания. Например, практически каждый представитель наиболее часто отождествляемого с метамодернизмом спекулятивного реализма (К. Мейясу, Р. Брасье, Г. Харман, Л. Брайант, Н. Срничек и др.) использует собственные концепты, связанные с его личной системой взглядов. Концептуальная проработка в метамодернизме осуществляется с устрашающей скоростью, характерной для онлайн-коммуникации. История континентальной метафизики прошлого тысячелетия базируется на скромных скоростях печатной книги, позволяющим идеям прорываться сквозь поколения, изолируя современников. Л. Брайант, Н. Срничек и Г. Харман описывают развитие континентальной метафизики как историю трех волн, связанных с последовательным восхождением в зенит звезд Хайдеггера, Делеза и Фуко, Деррида [5. С. 3]. Распространение волн связано с классикализацией (посмертной или близкой к финалу профессиональной карьеры) звездных фигур, которую осуществляют новые поколения. Спекулятивный реализм вырастает в новой среде онлайн-сообществ, открытых текстов и блогосферы [6], прозрачной для неспециалистов и ориентированной на интерактивность. Отсюда и быстрые темпы роста известности метамодернистских авторов, и скорость модификации их концепций, и перетасовка идей в условиях новых коллабораций.

Однако непрерывно растущее множество метамодернистских онтологий, плоских, нестабильных, демократичных, открытых, пульсирующих, объединяет общая тема – спекулятивный поворот метафизики. Зачем нужен спекулятивный поворот? Чтобы отказаться от панорамы реальности, опосредованной сознанием, панорамы, заботливо конструируемой веками истории западной метафизики. Задача спекулятивного поворота – прорваться к реальности силой Разума, взломать реальность и открыть ее для новой пересборки.

Эта задача реализуется посредством освобождения объектов от субъекта, вновь выдвигая на передний план современных философских исследований

вопрос о значении объективности, традиционно находящийся в центре метафизической проблематики [7. С. 97]. Метамодернизм стремится вырваться за рамки методологической антитезы субъект-объект, чтобы увидеть реальность по ту сторону отношений субъекта и объекта. Такой проект не нуждается в изгнании субъекта, достаточно уравнивания онтологического статуса субъекта с объектами, признания, что есть только один род сущего – объекты, и человек не может быть признан каким-то другим родом сущего, иной по своей природе категорией, поскольку в своем бытии он только вид объектов, «существующих или населяющих мир, наделенных своими специфическими силами и способностями» [8]. Человек – лишь объект в ряду других объектов.

Метамодернизм не только показывает слепые пятна, неизбежные при антропоцентристском взгляде на реальность. Он пытается преодолеть эту слепоту. Как выглядит наша комната, когда мы на нее не смотрим? Какова комната на самом деле, когда на нее не смотрят человеческие глаза? Что творится в мире без нас, в настоящем мире, который мы можем воспринимать только по аналогии с темнотой за нашими глазами? Постановка таких вопросов требует преодоления страха перед неодушевленной материей, лежащего в основе жанра хоррор, к которому нам придется еще вернуться на этих страницах. А вдруг вещи взбесятся, если мы перестанем на них смотреть, и перестанут играть роли послушных рабов? Как выжить среди потенциальных чудовищ, всегда готовых к атаке, стоит только ослабеть субъект-объектному захвату/восприятию мира? Не случайно Брайант говорит о романтической онтологии дикой природы, пытаясь показать, что человек, привыкший все соотносить с собой, сам для объектов является не мерой вещей: «В таком случае человеческий взгляд на мир будет всего лишь одним из множества других. Охотник соперничает с точкой зрения гризли или приближающейся зимней бури. Он – существо среди существ, а не то существо, с которым себя соотносят все остальные» [9]. Все подвиды бытия относятся к дикой природе и являются ею.

«Дикость» природы скрывается за разграничивающей дистинкцией означения антропоцентризма, высвечивающей нечто за счет сокрытия в потаенном того, что к нечто не относится. Тьма потаенных объектов и составляет предметное поле метамодернизма, тьма как бесчисленное множество и тьма как отсутствие света. «Темной» тьмы особенно много в движении метамодернистской мысли: темная материя как идеальный молчащий, бездействующий, скрытый объект, черный шум Хармана, слизь Вударда, темная онтология и темные объекты Брайанта... Этот список можно продолжить. Он интересен не сам по себе, хотя, вероятно, демонстрация увлеченности тьмой со стороны модного философского течения по-своему любопытна.

В фокусе нашего внимания находится интеллектуальная работа метамодернизма, а именно выработка его представителями особой, сумеречной, методологии, пригодной для обращения к потаенному во тьме. Восстание объектов – дело темное и требующее мрака. Уйти от антропоцентризма, не теряя доступа к реальности, означает пригасить светильник *ratio*, иногда двигаясь наощупь. «Продумать существование объектов, свободных в своем бытии-для-себя от пристального взгляда человека» [8. С. 282] – значит продолжить на эти самые объекты смотреть, адаптируя свой взгляд к недостатку света. Улавливать их дикое бытие в прирученных, опредмеченных артефактах, в

бестелесных цифровых «вещах», влияющих на привычные практики смыслопорождения, в квазарах и нейтрино. Нескончаемое таинство объектов (Харман) может быть уловлено при новом подходе к проектированию инструментов философского мышления, новом способе создания рабочих понятий, адаптации метафор (а куда без них там, где, как кажется, нет места светозарному Логосу) к потребностям темной онтологии и укоренении этих метафор в интеллектуальной среде.

Впрочем, предчувствие оптики сумерек нарастало давно: еще 1959 г. Морис Бланшо в своей статье «Конец философии» писал, что утверждение завершенности или конца философии вместе с именами Гегеля, Ницше и Хайдеггера создает ситуацию сумерек мышления, создающих некую новую возможность, «у которой пока нет имени» (цит. по: [10. С. 55]). Метамодернизм дал ей имя, а заодно и новые стратегии концептообразования.

Итак, интеллектуальный праксис метамодернизма базируется на неустанной работе по созданию сумеречной методологии. Главной интеллектуальной стратегией для нее становится производство призраков – фигур предшествующих метафизиков, детерминирующих те или иные линии рассуждений. Диалог с предшественником – опорная конструкция для создания философской концепции. Какой была бы философия Ницше, не адресуйся она к творчеству Шопенгауэра? В постмодернизме этот диалог с предшественниками получил наиболее яркое выражение у Делёза в фигуре «концептуального персонажа», который, уже не являясь персонажем реальным, занимает свое место внутри понятийной истории философии, собственно, как *summtum bonum* множества наших мыслей об этой истории. Появление фигуры философа-предшественника закономерно и для метамодернизма. Однако, в отличие от постмодернистского концептуального персонажа, чьи осколки и фрагменты весьма четко артикулированы, хотя и причудливо сочетаются между собой, в метамодернизме фигуры призрачны и трудно определимы даже в ситуации прямого именованья, они всегда представляют собой двуликого Януса. Хайдеггер легко оборачивается Гуссерлем и наоборот. Вернее, их фигуры возникают внутри онто-эстетического пространства сумеречной оптики, которая парадоксальным образом одновременно соединяет прежде несоединимое и находит различия там, где их, при более привычном взгляде на вещи, не должно было бы быть.

Так, в рамках метаксиса применительно к истории философии могут возникать странные (*weird*) сложные композиционные объекты вроде соединенной Харманом воедино феноменологии Хайдеггера–Гуссерля, не имеющей особого отношения к отдельным историческим версиям их феноменологий. Здесь допустимы и другие, не менее «призрачные» композиционные объекты вроде Хайдеггера–Гадамера или Хайдеггера–Деррида.

Подобное метамодернистское комбинирование взгляду со стороны (неважно, модерна или постмодерна) может показаться неуместной шуткой, но внутри метамодернистского метаксиса оно вполне продуктивно выполняет герменевтическую функцию внутреннего дифференцирования различных интерпретаций мысли Хайдеггера у Гадамера и Деррида. Такая интерпретация вовсе не нацелена на выяснение «подлинности» мысли «настоящего» Хайдеггера, не ставит она себе задачей и выяснение, кто прав в споре о хайдеггеровском наследии, Гадамер или Деррида. Сумеречная оптика мета-

модерна просто указывает на различия внутри одного объекта, делая его не просто нетождественным самому себе, но превращая его в другой сложный объект, со своими внутренними зонами напряженности и противоречивости. В этой оптике объект приобретает призрачные характеристики, препятствующие точной фокусировке взгляда исследователя. В этом отношении нам трудно согласиться с выводом О.В. Головашиной о статичности объектов мира хармановской онтологии [11. С. 9]. Объект у Хармана одновременно статичен и динамичен. Собственно, это и придает ему качество странности (weird).

Отметим, что метамодернизм не ставит вопрос о существовании или не существовании наряду с реальными объектами объектов ирреальных или призрачных, скорее речь идет об их взаимном переходе друг в друга, что и фиксируется в оптике сумерек. Являются ли призраки достойным объектом философского внимания? Положительный ответ на этот вопрос мы встречаем у Деррида и Мейясу. В «Призраках Маркса» Деррида говорит о том, что некая логика призрачности неотделима от идеи или главного мотива деконструкции [10. С. 71–72]. Согласно Деррида, современная философия начинает говорить о призраках, потому что этого требует «элементарная справедливость»; «следует говорить о призраке, и даже обращаться к призраку, говорить с призраком, коль скоро оказывается, что любая этика и любая политика – безразлично, революционная или нет, будут невозможны, немыслимы, *несправедливы*, если они не базируются на уважении к тем другим, которые – или уже больше не-, или пока еще не – *присутствуют, сейчас, тут, в качестве живых людей*, но в качестве умерших, или еще не родившихся» [10. С. 10].

Этот разговор всегда несвоевремен, поскольку выходит за рамки живого настоящего. Призраки возвращаются, подобно призраку в начальной сцене шекспировского Гамлета. Однако именно возвращением призраков как раз и занята история философии и даже (!) онтология. Не случайно Деррида в своих поздних работах говорит о призрачной онтологии или онтологической призракологии (hantologie) как наиболее адекватном способе анализа действительности в эпоху господства массмедиа, поскольку «среда самих медиа... не является ни живой, ни мертвой, ни присутствует, ни отсутствует, а постоянно порождает призрачность (il spectralise)» [10. С. 78]. Это позволяет заново ставить онтологические вопросы о реальности, которая чувствует себя вполне комфортно в сумерках мышления, т.е. вопросы о парадоксальном бытии призраков и несвоевременном времени их существования, о времени между настоящим, прошедшим и будущим [12. С. 55].

Исследование призраков, их «неприсутствующего присутствия» требует особой методологии или, вернее, особой сумеречной оптики, характеризующейся видением различия без оппозиции, препятствующим проведению любой потенциальной конъюнкции или дизъюнкции в квазисоположенности частей призрачного целого. Более того, как пишет Деррида, такая «логика призрачности может быть не только более мощной и всеохватной, нежели любая онтология или мысль о бытии... Призракология может включать в себя даже эсхатологию и телеологию, которые окажутся ее частными случаями или подразделами» [10. С. 24].

Квентин Мейясу в работе «Дилемма призрака» принимает онтологический вызов призракологии Деррида. Он задается вопросом о том, что такое

призрак по своей сущности, призрак *par excellence*, однако переводит его одновременно в этическое и теологическое измерение. Мейясу, в отличие от Деррида, интересует проблема не справедливости, а несправедливости, ярко проявляющаяся на примере существования призраков, вне мира живых и вне мира мертвых. Такой ракурс позволяет Мейясу, во-первых, рассмотреть бытие призраков в аспекте теодицеи, а во-вторых, поставить вопрос о самом существовании Бога, который не может быть удовлетворительно разрешен в метафизическом ключе. Проникнутые метафизикой атеизм и теология, согласно Мейясу, видят Бога только сквозь призму закона достаточного основания, который вовсе не является достаточным, например, в свете юмианской критики, и в духе характерного для метамодернизма соединения несочетаемого Мейясу необходимо начать с полагания понятия Бога как одновременно несуществующего и возможного.

Для этого Мейясу предлагает «оригинальный режим мышления, порывающий как с атеизмом, так и с теологией: таким режимом станет дивинология, которую еще предстоит создать и через которую, быть может, будут установлены новые отношения между людьми и теми, кто их преследует» [13. С. 80].

Поскольку призрак – одновременно вещь и не вещь, размышления Деррида и Мейясу схожи с размышлениями Хармана, который также пытается соединить в едином объекте противоположные понятия сущности и процесса. Метамодернистский вызов объекту философии модерна и постмодерна можно наблюдать не только в спекулятивном реализме, но и в постдеконструкции, в частности, в онтологическом путешествии внутрь вещи в концепции постдеконструктивного синтеза Майкла Мардера, вносящего аффирмативность, соединяющую противоречия в единое целое вещи [14. Р. 57–58].

В феномене призрака мы видим взаимный переход и сочетание двух противоположных процессов: имматериализации материального и материализации идеального. Эти процессы и составляют его необычную (*weird*) сущность. Таким образом, тезис объект-ориентированной онтологии Хармана об отсутствии противоречия между сущностью и процессом вполне вписывается в этот призрачный метамодернистский метаксис, разворачиваемый внутри взаимопересекающихся кругов онтологической призракологии (*hantologie*) Деррида и призрачной этико-теологической дивинологии Мейясу. Более того, в собственных исследованиях призрачных реалий Харман открывает имматериалистическое пространство новой онтолого-эстетической мифологии.

Когда-то в «Условиях постмодерна» Ж.-Ф. Лиотар высказал мнение, что одним из основных принципов постмодернизма в научном и философском дискурсе становится паралогия, опора на не поддающиеся логическому анализу способы мышления, обеспечивающих представление логически непредставимого. Как показывает наше мифо-расследование, в метамодернизме таким принципом или даже органом становится метод аналогии. Как и в случае с оптикой сумерек, нашими проводниками на уже мифологической сцене метамодерна будут два мыслителя (при необходимости – вполне призрачных): Ален Бадью, сменяющий Латура и Деррида, и Грэм Харман как эталонное «лицо» метамодернизма. Как и Деррида, Бадью во многом относится к ничейной зоне между постмодерном и метамодерном, однако многие его интеллектуальные построения оказали сильное влияние на построение

сумеречных метамодернистских онтологий. Нас интересует призрак тотема, используемый Бадью для проведения параллели между философией и литературой. По его мнению, у каждого философа есть своего рода писатель-тотем, с которым он связывает сюжеты своего философствования. Если Хайдеггер колебался в выборе тотема между Рильке и Гельдерлином, а Делез между Кафкой и Прустом, то предпочтения Деррида и Бадью однозначны – это, соответственно, Джойс и Малларме. Призрак тотема позволяет разграничивать онтологические и гносеологические взгляды философов через эстетическую аналогию, определяющую как эволюцию их творчества, так и преследующий их, подобно призраку Мейясу, образ истины.

Важно отметить, что для Хармана, как и для Шеллинга или Лосева, эстетика напрямую является высшим завершением онтологии. Однако принципиальным метамодернистским условием ее состоятельности выступает созданию нового мифа, вернее его аналогической транспортировки в новое интеллектуальное пространство. Для мифологизации своего эстетического проекта Харман, полемизируя с модернистскими мифологическими экспериментами Хайдеггера, обращается к фантастической мифологии Лавкрафта, утверждая, что в метамодернистской перспективе «Великий Ктулху должен сменить Минерву на посту духа-покровителя философов, а река Мискатоник – стать нашим новым Рейном и Истром. Хайдеггеровское прочтение Фридриха Гельдерлина оказалось унылым и ханжеским, а значит, философии нужен новый литературный герой» [15. С. 180]. Но это означает также то, что Харман заявляет о себе как об участнике уже метамодернистской по своей сути битвы призрачных тотемов, которая с легкой руки Бадью означала начало нового постижения или изобретения сущности современной философии.

Метамодернизм черпает свои эстетические метафоры в мифологическом источнике современных нуарных жанров – киберпанк, неовикторианство, темная фэнтези. Нуар метамодерна выращен из сюжетов и фигур, пронизывающих современный кинематограф, цифровое искусство, литературу и субкультуру компьютерных игр, на которых строится цифровая повседневность современников. Вполне закономерно темным ядром (если не черной дырой) нуара метамодерна является мифология Г.Ф. Лавкрафта. Именно она собирает в единое целое всю вселенную американского хоррора, транслируемую Голливудом в глобальных масштабах. Душа Америки обнаруживается в литературе ужасов, вдохновляемой и вдохновляющейся Лавкрафтом с завидной регулярностью. Колоссальное влияние наследия Лавкрафта на массовую культуру сегодня изучается в различных направлениях (подробнее см.: [16]), его широкая, хотя и весьма поверхностная, известность обывателю давно стала общим местом.

Лавкрафт синтезировал жанры ужасов, мистики, фэнтези и научной фантастики в оригинальный сплав космических ужасов, перекроивший антропоцентрическую модель мира предшествующих мифологий. Реальность Лавкрафта – это дикий неукротимый космос, населенный невообразимыми странными существами, контакт с которыми смертельно опасен для жизни и невыразимо страшен для психики человека. «Нервом» произведений Лавкрафта является онтологический ужас, переживаемый человеком при контакте с Иным, принципиально несоизмеримым с любым человеческим опытом. Этот ужас, названный С.Т. Джоши «чувством космизма» [17. С. 17],

вызван пониманием, что человеческие интересы, эмоции и законы не имеют никакого значения в огромных межзвездных пространствах, и человек – не более чем крошечный *объект*, любопытный для исполинских иномирных чудовищ либо как пища, либо как расходный материал ритуалов.

Важно отметить, что роль мифологии Лавкрафта, или мифов Ктулху, в современной американской культуре выходит далеко за рамки предложения нового химерического пантеона, комбинирующего телесность осьминогов, драконов, сфинксов и насекомых в иконографии инопланетных пришельцев. Ее жизнеспособность и жизненность определены совершенно уникальной стратегией целенаправленного мифотворчества, опирающейся на новые проекты странной (*weird*) феноменологии и интертекстуальной коммуникации и призванной конструировать новый бесчеловечный мир.

Странная феноменология искажает пропорции, расчеловечивая артефакты: вещи, показанные в «демонических ракурсах» (одинокие куклы или пустые качающиеся качели крупным планом) намекают на изнанку реальности, где человеком распоряжаются полностью безразличные к нему силы, где боги никогда не были ни отцами, ни даже создателями человечества, где нет равновесия подобия и оригинала, микрокосма и макрокосма. Подлинных владык миров человек не может ни заклинать, ни умолять, ни торговаться с ними. У него ничего нет, и сам он лишь презренное ничто в их сенсорных органах.

Изначальная интертекстуальность формируемой мифологии – важное достижение Лавкрафта. Многим авторам удавалось создавать собственные литературные миры, некоторые делились творческими планами или работали в соавторстве, некоторые предоставляли читателю известные степени свободы интерпретации, снабжая его разными точками входа в сюжет. Но монистичность фигуры творца всегда была стандартной литературной презумпцией. Лавкрафт отказался от нее практически сразу, делегируя свои полномочия и предлагая персонажей собственного пантеона для дальнейшей разработки в переписке писателям-друзьям. Как отмечает Д. Джавет, именно литературные отношения, которые Лавкрафт разделял со своими коллегами-корреспондентами, позволили его псевдомифу стать полноценной мифологией [18. С. 21–22]. При жизни писателя в так называемый Круг Лавкрафта первоначально входили Роберт Говард, Август Дерлет, Дональд Уондри и Роберт Блох, потом к нему примкнули другие писатели бульварного журнала «Weird Tales»; в 1969 сложился «Новый круг Лавкрафта», члены которого не общались с Лавкрафтом лично и вообще родились после его смерти. Далее «круги» регулярно расширялись и продолжают расширяться до настоящего времени. Анализ состава кружков писателей-лавкрафтианцев не входит в наши задачи, ограничимся указанием на то, что к ним так или иначе принадлежит Стивен Кинг, поистине культовый автор американского масскульта.

Проза Лавкрафта подчинялась принципу экономии мифологических креатур. В конкретном произведении тот или иной персонаж пантеона, энигматическая книга или местность, переплетенные с реальными локациями, объектами и личностями, описываются скупой, подчиняясь главной цели – воспроизведению эмоционального потрясения героя, вызванного контактом с ними. Лавкрафт рассеивает по своим текстам скрытые намеки и улики на центральный миф (места, артефакты и божества, соединенные в единый сю-

жет, намеченный пунктиром), содержание которого можно установить только ретроспективно или через анализ его огромного (десять тысяч писем) эпистолярного наследия. Онтология центрального мифа у Лавкрафта материалистична и атеистична, она опирается на радикальный сциентизм в том смысле, что все сверхъестественные свойства чудовищных божеств Лавкрафта нормальны с точки зрения физиологии гипотетических инопланетных рас, освоивших межпланетные и межзвездные перелеты задолго до земного антропогенеза. Миф Лавкрафта основан на космическом «расизме», поэтому никак не укоренен в мифах Европы, Азии, Африки. Более того, все известные верования человечества Лавкрафт замыкает на своем центральном мифе, трактует их как его пережитки, отголоски и рудименты. Обширную «классическую» мифологическую эрудицию он использует для того, чтобы включить читателя в знакомый мифоконтекст и тут же перекроить этот контекст по собственному замыслу.

Писатели лавкрафтовских кругов использовали центральный миф по собственному усмотрению, расширяли и дорабатывали его в иных контекстах, прямо связывая с демонологией Средневековья, радикальным психоанализом, городской и фолк-мифологией, магической фэнтези и черной мистикой, адаптируя его к мировоззрениям, весьма далеким от исходного лавкрафтовского. Гигантские пласты нынешней американской мифологии смягчают лавкрафтианский черный ужас, освещают его, инкорпорируют во все лженаучные суеверия, которыми обыватель пытается обжить современную научную картину мира (а представления о Вселенной не настолько изменились со времен жизни Лавкрафта, чтобы его жуткий космос превратился романтическую архаику), психологически приспособиться к ней. Принцип экономии улик привел к тому, что отсылки к мифу Лавкрафта сегодня встроены в эстетические миры практически каждой известной франшизы ужасов, от «Чужого» до «Зловещих мертвецов», каждый автор черного жанра практикует лавкрафтовские аллюзии и намеки, встраивая в свой нарратив намеки на порталы в Темную Тьму. Если жанр ужасов – душа Америки, то Лавкрафт, безусловно, душа ужасов.

Погружение на дно американской мифологии обнаруживает настолько прямые параллели между темными онтологиями и темной фэнтези, что первые выглядят проектом рационализации второй. Параллели эти настолько очевидны, что вызывают вопрос, а может ли современный онтолог-метафизик, выросший на интернет-коммуникации, хоррор-фильмах, комиксах и компьютерных играх, вообще игнорировать это темное измерение реальности? Если оставить в стороне риторику нашего вопрошания и обратиться к самой метамодернистской рефлексии собственных мифологических корней, можно обнаружить серьезную работу мысли Хармана в этом направлении, начинающуюся с тезиса о том, что «ничто так не походит на научную фантастику, как философия – если только не сама наука» [15. С. 177–178]. В этом смысле философия открывает в себе и для себя странный необычный [weird] реализм: «...философия должна быть реалистической, поскольку ее задача – раскрывать структуру мира как он есть; она должна быть weird, потому что такова реальность» [15. С. 179]. Предлагая не больше и не меньше, чем лавкрафтовское прочтение гуссерлевской феноменологии, Харман обосновывает странность как стратегию разрушения связей между объектом и его

свойствами, а странную феноменологию – как способность схватывать «weird напряжение в самих феноменах, неизменно пребывающих в напряженном отторжении от своих качеств» [16. С. 200].

Мифы Лавкрафта Харман использует как оптику нечеловеческой феноменологии, сумеречную оптику перекалибровки, нужную для того, чтобы доказать, что «люди перестают быть хозяевами в собственном доме» [15. С. 180], где странность Старых Богов открывает исключительную объектность реальности. С нашей точки зрения, подобная лавкрафтизация феноменологии Харманом явление далеко не случайное. Она, подобно Нью-Хейвенским грезам Гарольда Блума, откровению Латура на пути в Дижон, подобно битве тотемов Бадью, призракологии Деррида и дивинологии Мейясу, своеобразно, но необратимо вводит нас в темную и причудливую реальность *vita nuova* философии метамодернизма. И внутри этой новой реальности XXI в. философия, вставая на путь сознательной мифологизации изобретаемого первоначала, претендует на открытие нового измерения истины как способа невероятного соединения форм присутствия и отсутствия в сумерках пост-истинной эпохи.

Список источников

1. Vermeulen T., Akker van den R. Notes on metamodernism // Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2 (1). P. 5677.
2. Тёрнер Л. Манифест метамодернизма. URL: <http://eroskosmos.org/metamodernist-manifesto/> (дата обращения: 20.01.2021).
3. Кардаш А. Критика философских оснований метамодерна // Сигма. URL: <https://syg.ma/@insolarance-cult/kritika-filosofskikh-osnovanii-mietamodierna> (дата обращения: 17.11.2021).
4. Харман Г. Четвероякий объект; метафизика вещей после Хайдеггера / пер. А. Морозов, О. Мышкин. Пермь : Гиле Пресс, 2015. 152 с.
5. Bryant L., Srnicek N. The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism / ed. G. Harman. Melbourne : Re.press, 2011. 440 p.
6. Кнэхт Н.П. Новый спор о старой проблеме: объективно ориентированная онтология и спекулятивный реализм // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2016. № 1 (9). С. 41–46.
7. Шиповалова Л.В., Малышкин Е.В. Исторический исток научной объективности или О возможном ответе на «скандальный» вопрос философии // Вопросы философии. 2016. № 12. С. 96–105.
8. Брайант Л. На пути к окончательному освобождению объекта от субъекта // Логос. 2014. № 4 (100). С. 275–292.
9. Брайант Л. Онтология дикой природы // Стол. 2019. Вып. 2 (Июнь 2019). URL: <https://stol.guru/papers/levi-bryant-wilderness-ontology-2019-07-29> (дата обращения: 02.02.2021).
10. Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал / пер. Б.М. Скуратов. Logos-altera, изд-во «Ессе homo», 2006. 256 с.
11. Головащина О.В. Объективная онтология? Метафизика Г. Хармана // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34 (1). С. 4–16.
12. Малкина С.М. Проблема конца философии: hanto-логические аспекты // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2011. Т. 11 (2). С. 52–57.
13. Мейясу К. Дилемма призрака // Логос. 2013. № 2 (92). С. 70–80.
14. Marder M. Différance of the “Real” // Parrhesia. 2008. Vol. 4. P. 49–61.
15. Харман Г. Ужас феноменологии: Лавкрафт и Гуссерль // Логос. 2019. № 5. С. 177–200.
16. Павлов А.В. Гиперреальная религия, Лавкрафт и культ «Зловещих мертвецов» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37 (3). С. 12–40.
17. Joshi S.T. The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos. Poplar Bluff (MO): Mythos Books, 2008. 308 p.

18. Javet D. The pen(s) that never stops writing: The Lovecraft mythology or the expansion of a literary phenomenon. Université de Lausanne, Section d'anglais, Licence en Lettres, Hiver 2009–2010. URL: https://www.academia.edu/6652633/The_Pen_that_Never_Stops_Writing_the_Lovecraft_Mythology_or_the_Expansion_of_a_Literary_Phenomenon (дата обращения: 02.02.2021).

References

1. Vermeulen, T. & Akker van den, R. (2010) Notes on metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*. 2(1). pp. 5677.
2. Turner, L. (n.d.) *Manifest metamodernizma* [Metamodernism Manifesto]. Translated from English. [Online] Available from: <http://eroskosmos.org/metamodernist-manifesto/> (Accessed: 20th January 2021).
3. Kardash, A. (n.d.) *Kritika filosofskikh osnovaniy metamoderna* [Criticism of the philosophical foundations of the metamodern]. [Online] Available from: <https://syg.ma/@insolance-cult/kritika-filosofskikh-osnovanii-mietamodierna> (Accessed: 17th November 2021).
4. Harman, G. (2015) *Chetveroyakiy ob"ekt; metafizika veshchey posle Khaydeggera* [A fourfold object: metaphysics of things after Heidegger]. Translated from English by A. Morozov, O. Myshkin. Perm: Gile Press.
5. Bryant, L. & Srnicek, N. (2011) *The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism*. Melbourne: Re.press.
6. Knekht, N.P. (2016) Novyy spor o staroy probleme: ob"ektivno orientirovannaya ontologiya i spekulativnyy realizm [A new dispute about an old problem: Objectively oriented ontology and speculative realism]. *Ekonomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya*. 1(9). pp. 41–46.
7. Shipovalova, L.V. & Malyshev, E.V. (2016) Istoricheskiy istok nauchnoy ob"ektivnosti ili O vozmozhnom otvete na "skandal'nyy" vopros filosofii [The historical origin of scientific objectivity or On a possible answer to the "scandalous" question of philosophy]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 96–105.
8. Bryant, L. (2014) Na puti k okonchatel'nomu osvobozhdeniyu ob"ekta ot sub"ekta [On the way to the final liberation of the object from the subject]. *Logos*. 4(100). pp. 275–292.
9. Bryant, L. (2019) Ontologiya dikoy prirody [Wildlife ontology]. *Stol*. 2 (June 2019). [Online] Available from: <https://stol.guru/papers/levi-bryant-wilderness-ontology-2019-07-29> (Accessed: 2nd February 2021).
10. Derrida, J. (2006) *Prizraki Marksa. Gosudarstvo dolga, rabota skorbi i novyy internatsional* [The Ghosts of Marx. The State of Duty, the Work of Sorrow, and the New International]. Translated from French by B.M. Skuratov. Moscow: Logos-altera, Ecce homo.
11. Golovashina, O.V. (2018) Ob"ektivnaya ontologiya? Metafizika G. Kharmana [Objective ontology? Metaphysics of G. Harman]. *Vestnik SPbGU. Filosofiya i konfliktologiya*. 34(1). pp. 4–16.
12. Malkina, S.M. (2011) Problema kontsa filosofii: hanto-logicheskie aspekty [The problem of the end of philosophy: hanto-logical aspects]. *Izvestiya Sa-ratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika*. 11(2). pp. 52–57.
13. Meillassoux, K. (2013) Dilemma prizraka [The Ghost Dilemma]. *Logos*. 2(92). pp. 70–80.
14. Marder, M. (2008) Différance of the "Real". *Parrhesia*. 4. pp. 49–61.
15. Harman, G. (2019) Uzhas fenomenologii: Lavkraft i Gusserl' [The Horror of Phenomenology: Lovecraft and Husserl]. *Logos*. 5. pp. 177–200.
16. Pavlov, A.V. (2019) Hyper-Real Religion, Lovecraft and the Cult of The Evil Dead. *Gosudarstvo, religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom – State, Religion and Church in Russia and Worldwide*. 37(3). pp. 12–40. (In Russian).
17. Joshi, S.T. (2008) *The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos*. Poplar Bluff (MO): Mythos Books.
18. Javet, D. (2009–2010) *The pen(s) that never stops writing: The Lovecraft mythology or the expansion of a literary phenomenon*. Université de Lausanne, Section d'anglais, Licence en Lettres, Hiver 2009–2010. [Online] Available from: https://www.academia.edu/6652633/The_Pen_that_Never_Stops_Writing_the_Lovecraft_Mythology_or_the_Expansion_of_a_Literary_Phenomenon (Accessed: 2nd February 2021).

Сведения об авторе:

Косыхин В.Г. — доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и методологии науки Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия). E-mail: kosyinhvg@gmail.com

Тихонова С.В. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры теоретической и социальной философии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия). E-mail: segedasv@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Kosykhin V.G. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, head of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: kosyhinvg@gmail.com

Tikhonova S.V. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor of the Department of Theoretical and Social Philosophy, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: segedasv@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 05.10.21;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 05.10.21;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК 111

doi: 10.17223/1998863X/71/12

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ Ф. ДЕССАУЭРА

Александр Юрьевич Нестеров

*Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара, Россия, aynesterow@yandex.ru, phil@ssau.ru*

Аннотация. Цель работы – экспликация плюралистской онтологии Фридриха Дессауэра, связывающей физическое, биологическое, психическое и духовное «царства» или «миры» в системе технической деятельности. Объект исследования – оппозиции актуального и потенциального космоса, царств космоса, космоса и метакосмоса. Метод – семиотическое моделирование. Результаты заключаются в конкретизации соотношения онтологии, метафизики и реальной науки средствами философии техники.

Ключевые слова: Дессауэр, семиотика техники, плюрализм, четвертое царство, теория деятельности

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00462 А «Философия техники Фридриха Дессауэра: эпистемология и антропология реалистской теории творчества».

Для цитирования: Нестеров А.Ю. Онтологический плюрализм Ф. Дессауэра // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 119–127. doi: 10.17223/1998863X/71/12

Original article

ONTOLOGICAL PLURALISM OF FRIEDRICH DESSAUER

Alexander Yu. Nesterov

*Samara National Research University, Samara, Russian Federation,
aynesterow@yandex.ru, phil@ssau.ru*

Abstract. The article analyzes the ontology model formulated by Friedrich Dessauer in the monograph *Man and Space*. The subject of analysis is, on the one hand, the method used by Dessauer to distinguish four worlds (physical, biological, mental, and spiritual), on the other hand, the method of solving the problem of the interaction of worlds, which constitutes the original theory of activity. The latter underlies his philosophy of technology, formulated in the monograph *The Dispute about Technology*. Dessauer is a classic of the philosophy of technology, both analyzed monographs are available in Russian translation. The purpose of the analysis carried out in the article in the historical and philosophical terms is to identify methodological parallels in the models of the philosophy of technology by Peter K. Engelmeier, the philosophy of science by Karl Popper and actually by Friedrich Dessauer; in ontological terms in identifying the correlation of ontology, real science, and metaphysics in Dessauer's model, in terms of the philosophy of technology in identifying the minimum necessary structure of technical action in a pluralistic ontology. The research method is semiotic modeling, which consists in expressing the worlds in the form of independent complexes of pragmatic, syntactic, and semantic rules, where the interaction of the worlds is considered as an independent semiosis. The results of the study are, firstly, in the explication of Dessauer's ontology by means of semiotics, and, secondly, in the ontological substantiation of the thesis that the structure of the interaction of the worlds, as it is fixed and used in the scientific and technical worldview, is the structure of technical

activity. Understanding the structure of technical activity, in turn, sets an ontological model of scientific and technological progress, which makes it possible to formulate an expert assessment of the current state of affairs, as well as to create predictive scenarios for the development of the technosphere.

Keywords: Dessauer, semiotics of technology, pluralism, fourth kingdom, activity theory

Acknowledgments: The study is supported by RFBR, Project No. 20-011-00462 A.

For citation: Nesterov, A.Yu. (2023) Ontological pluralism of Friedrich Dessauer. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 119–127. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/12

Введение. Источник онтологического плюрализма

Вопрос «что есть?», или «какова реальность на самом деле безотносительно к структурам наблюдения и выражения человека?», является, с одной стороны, изначальной и неразрешимой проблемой философского знания, с другой стороны, всякий способ ответа на него демонстрирует уровень развития человека в теоретическом и практическом плане. Научное мировоззрение, распространившееся после открытия Г. Галилеем индуктивного подхода к познанию реальности, формулирует ответы на основе измерительного диалога с природой, эксперимента. Источником знания являются не данные чувственного опыта как таковые, не субъективные переживания качеств и не преднаходимые структуры разума, но ответы космоса «да» или «нет» на однозначно заданные человеком вопросы. Подтверждением истинности общих правил, формулируемых на основе ответов космоса, является работоспособность технических артефактов: технические объекты функционируют, выполняя свою целевую функцию, тогда и только тогда, когда они истинностным образом исполняют законы природы, в соответствии со знанием которых построены.

Возникновение научного мировоззрения в рамках теории развития знания И.И. Лапшина может быть сформулировано как результат усложнения диалогических процедур. Если всякое теоретизирование исторически берет начало в афоризме, раскрывается в диалоге и достигает апогея в системе [1], то экспериментальное познание обуславливается появлением нового собеседника человека, природы или космоса: диалог человек может вести сам с собой, с другим человеком, с богом, после Галилея – с природой, в XIX в. к этому списку собеседников индивидуального субъекта добавляются формы объективного и абсолютного духа, в XX в. – созданные человеком машины [2]. Сумма ответов природы позволяет построить систему мироздания, объединить многообразие знаний общей идеей [3]. Система необходима для практического воспроизводства и развития материальной культуры, существенная сложность при системном ответе на онтологический вопрос заключается в выборе необходимого количества оснований. Например, достаточно ли для решения задачи удовлетворения потребностей современного человека онтологических моделей, построенных в терминах одной только «материи»? Можно ли – ориентируясь даже на самые прозрачные хозяйственные процессы действительности – сформулировать проект, привести хозяйственно-финансовое обоснование, организовать производство и наладить сбыт удовлетворяющей запросы людей продукции, оставаясь только в категориях фи-

зикализма? Может ли нас хотя бы в этом вопросе удовлетворить та или иная версия дуализма?

Царства Дессауэра

Фридрих Дессауэр построил систему технической деятельности. На протяжении более чем 30 лет [4–6] он формулирует ответы на вопросы, в чем заключается открытие и изобретение, каким образом интраментальная идея превращается сначала в выраженную тем или иным языком конструкцию, а затем в артефакт, новый объект, доступный органам чувств, в чем заключается сила техники, как соотносены техника и экономика, в чем заключается этос техники. Количество знаний, необходимое для осуществления технического действия, на порядки превышает то, которое необходимо для осуществления акта познания, это причина, во-первых, того, что философия техники – самая молодая отрасль философского знания (необходимый для ее формирования уровень рефлексии оказался достигнут лишь к началу XX в.), и во-вторых, того, что подразумеваемая теорией технического действия и технического творчества онтология сложнее онтологических моделей теории познания, философии науки или социальной теории, поскольку включает их в себя и подвергает проверке в акте исполнения.

Система технической деятельности у Ф. Дессауэра формулируется в русле концепции трехакта П.К. Энгельмейера. Отечественный классик в «Философии техники» и «Теории творчества» говорит о технике как об исполнении желаний человека на основании знания законов природы [7], как о последовательном осуществлении идеи в сферах разума, рассудка и чувственного восприятия: «В первом акте изобретение предлагается во втором доказывается, в третьем осуществляется. В конце первого акта это – гипотеза; в конце второго – представление; в конце третьего – явление» [8. С. 103]. Дессауэр использует концепцию трех формообразующих способностей человека: *homo investigator*, *homo inventor* и *homo faber* [9], понимая технику как «реальное бытие из идей посредством финалистского преобразования и обработки из данного природой инвентаря» [9. С. 149]. И Энгельмейер, и Дессауэр опираются на восходящую к Н. Кузанскому и разработанную в немецкой классической философии традицию эпистемического разделения чувственного восприятия, рассудка и разума, понимая техническое действие как обращение процедуры познания, как изменение порядка следования ее ступеней: если познание как процесс объекции сущего в предмет в смысле Н. Гартмана [10] берет начало в чувстве, выражает себя в языках рассудка и завершается в формировании разумом понятия, в рефлексии фиксирующего истинностную референцию элемента рассудочного языка к элементу чувственного восприятия, то техническое действие берет начало в идее разума, снимающей ту или иную потребность или проблему, затем выражается в языках рассудка, приобретая характер плана, конструкции или проекта, и лишь на последней ступени путем обработки воплощается в доступных восприятию формах физически определяемой действительности.

Онтологический вопрос в системе научного познания и технической деятельности Дессауэра формулируется через три различия: 1) актуального и потенциального космоса, 2) царств космоса, 3) космоса и метакосмоса. Сам вопрос заключается в возможности нового знания и новых технических ре-

шений: как возможно новое? какой должна быть структура реальности, чтобы человек мог в практической деятельности изменять соотношение реального и возможного?

Первое различие носит во многом интуитивный характер. Человек обладает определенным опытом, памятью и, сталкиваясь с проблемами, попадая в поле напряжения между актуальным (действительным, наличным) и желаемым (возможным, необходимым), перестраивает свой опыт таким образом, что проблема оказывается разрешимым вопросом. Такого рода неосознаваемую пересборку опыта П.К. Энгельмейер назвал интуицией, ее продуктом являются изобретение и открытие. Актуальная конфигурация опыта, наличное положение дел в действительности человека в свете проблемы (потребности, необходимости или иного вызова) трансформируется в вопрос, ответ на который извлекается не из самого опыта, но из внешней человеку реальности. Эту реальность Дессауэр называет в кантианской традиции «четвертым царством» или царством «предустановленных форм решений», уточняя, что для всякого корректно заданного вопроса в рамках исторически конкретного, контингентного опыта человека существует только одно идеальное техническое решение.

Решение Дессауэром проблемы нового является реалистским *в эпистемологическом смысле*, поскольку подразумевает оппозицию актуальной действительности как познанного космоса и потенциальной действительности как еще не познанного, но принципиально доступного познанию космоса. Осуществляемая в изобретении и открытии пересборка опыта субъекта может – и Дессауэр это подчеркивает – длиться десятилетиями и тысячелетиями, заключаясь в приближении к «идеальной форме решения задачи» и представляя собой сложноорганизованное семиотическое единство прагматического навыка, синтаксического упорядочивания и семантического исполнения. Будучи эпистемической, оппозиция актуального и потенциального космоса содержит в себе утверждение о принципиальной незавершенности и открытости осуществляемых человеком процессов познания и деятельности. В терминах языка теологии человечество находится в седьмом дне творения: творение продолжается посредством человека [9. С. 150–171].

Второе различие опирается на понятие космоса как познанной законосообразности. Актуальный и потенциальный космос технического действия и научного познания – это уже известные или пока еще не известные, но принципиально извлекаемые из реальности законы, безусловные, не знающие исключения правила построения. Уже известные законы космоса позволяют создать собственно онтологическую модель, включающую в себя физическое царство, биологическое царство, психическое царство и царство духа. Физические законы Дессауэр описывает как каузальные отношения, в которых причина предшествует следствию. В монографии «Человек и космос» значительное место уделено критике позитивистского подхода, смешивающего эпистемические и онтологические порядки вещей: «В познании мы сначала имеем дело с телами, из их поведения делаем вывод о силах, от сил переходим к энергиям. В порядке бытия первичны энергии, они выражают себя в силах, формируют и преобразуют тела. В порядке познания первичен индивид (определенное растение, определенное животное), род выводится из него. Однако в порядке бытия некоторый определенный индивид не первичен: ему

предшествуют образующие „принципы“» [11. С. 96]. И хотя невозможно представить себе что-то в мире, что действовало бы вопреки физическим законам, последних недостаточно для описания биологических положений дел. Если физическое царство подчинено энтропии, то биологическое – закону «жизни за счет смерти», оно определяется телеологическими (финалистскими) законами, где целое как цель и причина предшествует части как следствию, что грубо нарушает физическое представление о причине как о чем-то, в стреле времени предшествующем следствию. В биологических процессах следствие предшествует во времени причине как цели деятельности. Психический космос Дессауэр связывает с оппозицией осознаваемого и неосознаваемого Э.Ф. Гартмана, с проблемой субъективности и вопросами коммуникации.

Принцип, упорядочивающий онтологическую модель Дессауэра, заключается в иерархии: физическое служит основой биологическому, биологическое – основой психическому, через психическое раскрывается царство духа. Сохранение иерархии в терминах этики описывается как «мир», т.е. как ситуация, когда сложноорганизованным целым человека управляет разумная воля, а не физические, биологические или психологические силы по отдельности [11. С. 170–181]. В качестве инструмента, позволяющего, с одной стороны, обосновывать несводимость онтологических царств или миров друг к другу, а с другой – формулировать вопрос о взаимодействии их несовпадающих и не следующих друг из друга порядков бытия, может служить процедура фальсификации, как ее разработал К.Р. Поппер применительно к собственной версии плюрализма [12]. Дессауэр строит онтологическую модель, чтобы посредством нее ответить на вопрос о сущности человека. «Я хотел бы с точки зрения опытных наук определить человека как существо, в котором слои бытия соединены в индивидуальное единство. Он принадлежит физическому слою бытия; все происходящее в нем соответствует физическим и химическим законам, автономному порядку этого слоя. Но он также принадлежит растительному и животному слоям бытия, обладающим своими собственными порядками законов, накладывающимися на физические. И психическое образует действительный, не растворяющийся в других, действенный слой бытия, с собственными, пока слабо познанными законами. Над ним строятся царства разума, рассудка, этоса, эстетизиса – все слои „духа“, слои совсем другого рода, однако не менее действительные и каждый со своими нормами» [11. С. 110].

Космос как актуальный, познанный и подлежащий познанию, открытый ему потенциальный порядок включает в себя ряд царств или миров, объединяемых человеком. Вопрос, следовательно, далее заключается в том, каким именно образом эти миры в человеке соединены. Эпистемически ответ заключался бы в анализе прямого и косвенного познания, в разделении неосознаваемых и осознаваемых процедур познания, в выявлении типов интуиции, в историко-философском осмыслении развития научного мировоззрения как поиска рациональных форм описания и объяснения чувственных данных на основе полученных ответов природы. Дессауэр приводит анализ такого рода, уделяя внимание рождению и становлению собственно научного подхода к познанию. Онтологически ответ связан с третьим из выделенных нами различий, с оппозицией космоса и метакосмоса. Соединение миров в человеке

осуществляется деятельностно, в акте технического творчества, изменяющего доступный человеку спектр воспринимаемых объектов вплоть до облика планеты. Для иллюстрации этого положения дел в обеих цитируемых монографиях используется мысленный эксперимент с космическим странником, в некоторых исторических интервалах наблюдающим за планетой Земля с момента ее возникновения и видящим колоссальную трансформацию поверхности, осуществленную в течение исключительно короткого в масштабе времени Солнечной системы и планеты Земля времени [9, 11].

Техническое действие есть построение искусственной природы, метакосмоса посредством познанных космических порядков. В этом действии с онтологической стороны проявляется характер взаимодействия составляющих природу царств, равно как и исторически конкретное соотношение актуального и потенциального космоса. В сходном ключе высказывались и П.К. Энгельмейер до, и Станислав Лем после Дессауэра, однако именно Дессауэру принадлежит инструмент, позволяющий формализовать процесс построения искусственных сред, а именно концепция силы технического объекта. Метакосмос или искусственная природа возникают в силу того, что человек не является частью природы, этот тезис в разной степени поддерживается и Энгельмейером, указывавшем в марксистском ключе на неприменимость Дарвинистской теории приспособления к человеку (человек не приспосабливается к среде, но приспособливает среду под себя [8. С. 194–195]), и Лемом, говорившем о задаче превосходения природы человеком («А как понимать превосходство? Оно означает реализацию с помощью Природы того, что для Природы невозможно» [13. С. 255–256]). Для Дессауэра этот тезис выражен в религиозной форме, в 1948 г. [11] он называет силу технического объекта «тайной», однако в последнем полном издании «Спора о техники» 1958 г. сказано, что всякий технический объект, следуя законам природы, выполняя целевую функцию и будучи обработанным руками человека, несет в себе измененный относительно природного порядок следования своих частей [5. С. 145–149]. Сила техники в синтаксическом смысле – это новое, не осуществленное природой место в системе природных закономерностей, обеспечивающее возможность новой референции. В рамках глобальной философской рефлексии можно было бы сказать, что Дессауэр применительно к технике, как и Поппер применительно к научному методу, конкретизирует диалектику Гегеля, опирающуюся на картезианское отрицание как способ бытия рациональных сущностей.

Онтология и метафизика

Онтология Дессауэра, представляющая собой иерархически упорядоченное взаимодействие физического, биологического, психического и духовного миров посредством человека, схватываемое познанием и выражаемое *in concreto* в технике, в построении искусственных сред обитания человека, является системной моделью мироздания как целого. Она создает колоссальный потенциал в том числе и для семиотической интерпретации теории деятельности и научно-технического прогресса, для осуществления схем классической герменевтики, для процедур обоснования истинности, выявления полезности, эвристического поиска, верификации и фальсификации.

Актуальные представления о содержании понятия онтологии распадаются на два момента, рецептивно-познавательный и инженерно-деятельностный. В первом построение онтологии как картины мироздания завершает процесс познания, во втором – онтология как набор сущностей и связей между ними лежит в основании и тем самым предшествует техническому действию [14, 15]. Плюрализм Дессауэра на фоне, например, выявленного Р. Ингарденом в 40-е гг. XX в. соотношения онтологии, реальной науки и метафизики, позволяет ответить на вопрос о том, что значит «быть метафизикой».

Схема Ингардена [16] вводит онтологию как набор аксиом, базовых предпосылок или своего рода алфавит с правилами вывода, на основе которого строятся теоремы или предложения; некоторые из построенных таким образом предложений истинностным образом исполняются на имеющихся эмпирических данных и тогда они относятся к сфере реальной науки (под «наукой» понимается соединение чувственного восприятия и логического анализа языка [17]); некоторые правильно построенные в данной онтологии предложения не исполняются на наблюдаемом, и в этом случае они относятся к сфере метафизики. Привлечение минимальной трехактной модели технического действия в эту схему позволяет утверждать, что к сфере реальной науки относятся те и только предложения, которые позволяют осуществить переход от идеи к конструкции, а от конструкции – к исполнению в чувственном восприятии: истинность того или иного набора предложений (теории) подтверждается работоспособностью артефактов, создаваемых посредством этой теории. Тезис такого рода хорошо согласуется с утверждением об исторической первичности деятельности и техники относительно познания и науки. К метафизике же как области внеэкспериментального познания относятся предложения, обозначающие неисполняемые непосредственно в чувственном восприятии положения дел, но сдвигающие горизонт познаваемого в том или ином онтологическом царстве, включая взаимодействие царств в человеческой деятельности. Если область реальной науки фиксируется условие-истинностной концепцией референции, то область метафизики, обеспечивающая связность онтологического построения, фиксируется условие-утилитаристской концепцией референции, где значение предложения есть условия, при которых оно полезно.

Заключение

Онтологический плюрализм, реалистские схемы познания и технического творчества Ф. Дессауэра делают его безусловным классиком философии науки и техники XX в. В XXI в. в условиях перехода от второй искусственной природы, где созданные человеком машины действуют в сфере рассудка, к третьей искусственной природе, где машины претендуют на выполнение функций интеллекта, на обеспечение референции, целеполагания, рефлексии как таковой, существует очевидный дефицит онтологических теорий, способных задать процессы познания, процессы деятельности на фоне уже известной (и едва ли сейчас обозримой) законосообразности мироздания. Онтология Дессауэра, раскрываемая его монографиями «Спор о технике» и «Человек и космос», является системной основой для построения моделей научно-технического прогресса, для ответа на вопрос о месте и роли человека в свете развития технологий, для эпистемического снятия социальных фобий

относительно техники, привитых русскоязычному читателю во второй половине XX в.

Список источников

1. Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии: введение в историю философии. М.: Республика, 1999. 399 с.
2. Nesterov A.Yu., Demina A.I. Technology and Understanding // *Technology and Language*. 2021. Vol. 2, № 4 (5). P. 1–11.
3. Kant I. Kritik der reinen Vernunft // Wekausgabe in 12 Bänden. Bd. III. F.a. M., 1956.
4. Dessauer F. Philosophie der Technik: das Problem der Realisierung. Bonn, 1927.
5. Dessauer F. Streit um die Technik. F.a.M., 1959.
6. Dessauer F. Streit um die Technik. Freiburg in Breisgau, 1959.
7. Энгельмейер П.К. Философия техники. СПб.: Лань, 2013. 93 с.
8. Энгельмейер П.К. Теория творчества. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 208 с.
9. Дессауэр Ф. Спор о технике. Самара: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2017. 266 с.
10. Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб.: Наука, 2003. 640 с.
11. Дессауэр Ф. Человек и космос. Опыт. Самара: ООО «Современные образовательные технологии», 2022. 194 с.
12. Popper K.R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford, 1995.
13. Лем С. Сумма технологий. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004. 668 с.
14. Боргест Н.М. Онтологии: современное состояние, краткий обзор // *Онтология проектирования*. 2013. № 2. С. 49–55.
15. Нестеров А.Ю. Семиотика как методология и онтология // *Семиотические исследования*. 2021. Т. 1, № 1. С. 6–13.
16. Ingarden R. Der Streit um die Existenz der Welt. Bd. 1. Tübingen, 1964.
17. *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis* // Wiener Kreis. Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung von Rudolf Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick, Philipp Frank, Hans Hahn, Karl Menger, Edgar Zilsel und Gustav Bergmann. Hamburg: Meiner, 2006.

References

1. Lapshin, I.I. (1999) *Filosofiya izobreteniya i izobretenie v filosofii: vvedenie v istoriyu filosofii* [Philosophy of Invention and Invention in Philosophy: An Introduction to the History of Philosophy]. Moscow: Respublika.
2. Nesterov, A.Yu. & Demina, A.I. (2021) Technology and Understanding. *Technology and Language*. 4(5). pp. 1–11.
3. Kant, I. (1956) *Wekausgabe in 12 Bänden*. Bd. III. F.a. M.: [s.n.].
4. Dessauer, F. (1927) *Philosophie der Technik: das Problem der Realisierung*. Bonn: [s.n.].
5. Dessauer, F. (1959a) *Streit um die Technik*. F.a.M.: [s.n.].
6. Dessauer, F. (1959b) *Streit um die Technik*. Freiburg in Breisgau: [s.n.].
7. Engelmeyer, P.K. (2013) *Filosofiya tekhniki* [Philosophy of Technology]. St. Petersburg: Lan'.
8. Engelmeyer, P.K. (2010) *Teoriya tvorchestva* [Theory of Creativity]. Moscow: LIBROKOM.
9. Dessauer, F. (2017) *Spor o tekhnike* [The dispute about technology]. Samara: Samara Academy for the Humanities.
10. Hartman, N. (2003) *K osnovopolozheniyu ontologii* [On the basis of ontology]. St. Petersburg: Nauka.
11. Dessauer, F. (2022) *Chelovek i kosmos. Opyt* [Man and Space. Experience]. Translated from French. Samara: ООО Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii.
12. Popper, K.R. (1995) *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: [s.n.].
13. Lem, S. (2004) *Summa tekhnologii* [The sum of technology]. Moscow: AST; St. Petersburg: Terra Fantastica.
14. Borgest, N.M. & Korovina, M.D. (2013) Ontologies: state of the art, short review. *Ontologiya proektirovaniya – Ontology of Designing*. 2. pp. 49–55. (In Russian).
15. Nesterov, A.Yu. (2021) Semiotika kak metodologiya i ontologiya [Semiotics as methodology and ontology]. *Semioticheskie issledovaniya*. 1(1). pp. 6–13.
16. Ingarden, R. (1964) *Der Streit um die Existenz der Welt*. Bd. 1. Tübingen: [s.n.].
17. Carnap, R., Neurath, O., Schlick, M., Frank, Ph., Hahn, H., Menger, K., Zilsel, E. & Bergmann, G. (2006) *Wiener Kreis. Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung von Rudolf Carnap, Otto*

Neurath, Moritz Schlick, Philipp Frank, Hans Hahn, Karl Menger, Edgar Zilsel und Gustav Bergmann. Hamburg: Meiner.

Сведения об авторе:

Нестеров А.Ю. – доктор философских наук, доцент, директор социально-гуманитарного института, заведующий кафедрой философии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва (Самара, Россия). E-mail: aynesterow@yandex.ru; phil@ssau.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nesterov A.Yu. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, director of the Social and Humanitarian Institute, head of the Department of Philosophy, Samara National Research University (Samara, Russian Federation). E-mail: aynesterow@yandex.ru; phil@ssau.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 02.12.2022;
одобрена после рецензирования 20.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 02.12.2022;
approved after reviewing 20.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья
УДК 101.01+165.04
doi: 10.17223/1998863X/71/13

ПРОБЛЕМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ СЛОЖНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ

Павел Валерьевич Ополев

*Омский государственный технический университет, Омск, Россия,
pvo-sinergetica@rambler.ru*

Аннотация. Предлагается осмысление базовых проблем формирования дискурса о сложном. Выявлены метафизическая, аналитическая, системная, синергетическая, сетевая, социокультурная, антропокультурная модели концептуализации сложности. В отечественных и зарубежных исследованиях отмечается полисемантическая феномена сложности, намечаются схожие стратегии экспликации сложности. Отечественные исследования сложности уделяют больше внимание онтологизации данного феномена, а зарубежные чаще обращают внимание на необходимость интеграции дискурса о сложном в научные исследования.

Ключевые слова: науки о сложном, простота, сложность, сложность, философия сложности.

Для цитирования: Ополев П.В. Проблемы осмысления сложности в отечественной и зарубежной философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 128–137. doi: 10.17223/1998863X/71/13

Original article

PROBLEMS OF COMPREHENDING COMPLEXITY IN DOMESTIC AND FOREIGN PHILOSOPHY

Pavel V. Opolev

*Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation,
pvo-sinergetica@rambler.ru*

Abstract. Complexity sets the subject perspective of many modern works in various fields of knowledge: from biology, ecology and programming, to theology and medicine. This paper offers an understanding of the basic problems of the formation of a discourse about the complex, identifying the features of the conceptualization of complexity in domestic and foreign philosophy. Domestic and foreign studies of complexity come to the conclusion that complexity is poorly amenable to conceptual representation. Complexity can be understood as an epiphenomenon, a kind of worldview, a meta-principle, an aggregate, a problem requiring a solution. “Growth points” of ideas about complexity, which can be described as a kind of model of its conceptualization, have been found. Metaphysical, analytical, systemic, synergetic, network, socio-cultural, anthropocultural models of conceptualization of complexity can be distinguished. Such typologization is complementary; it reflects some features in the explication of complexity, which takes place within the framework of modern research. Domestic and foreign thinkers pose similar questions about the nature of complexity. Both in domestic and foreign studies, the polysemanticism of the phenomenon of complexity is noted, similar strategies of explication of complexity are outlined, its types and forms of representation are distinguished. Both domestic and foreign traditions of complexity research pay special attention to the systemic characteristics of complexity, its heuristic value for understanding socio-cultural transformations is noted. The heuristic value

of postmodernism and structuralism in understanding complex systems of very different nature is noted. Domestic studies of complexity pay more attention to the ontologization of this phenomenon, its metaphysical features, while foreign studies more often pay attention to the problems of integrating complexity into scientific research.

Keywords: sciences of complexity, simplicity, perplexity, complexity, philosophy of complexity

For citation: Opolev, P.V. (2023) Problems of comprehending complexity in domestic and foreign philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 128–137. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/13

Современные отечественные и зарубежные исследователи активно обращаются к изучению феномена сложности, усматривая в нем парадигмальный сдвиг в научном мышлении. Концептуализация сложности в рамках современной философии оказывается, с одной стороны, связана с развитием науки, а с другой – с процессами социокультурной трансформации. Ряд исследователей (например, В.И. Аршинов, Я.И. Свирский) полагают, что постнеклассическая парадигма есть парадигма сложностности с такими атрибутами, как синергичность, самоорганизация, нелинейность, наблюдаемость, коммуникативность и др. [1. С. 23].

В работе мы предлагаем обратить внимание на трудности определения феномена сложности через призму работ зарубежных и отечественных исследователей. Очевидно, что охватить все многообразие исследований (как и проблем в изучении сложности) не представляется возможным, поэтому мы сконцентрируем внимание на некоторых наиболее значимых моментах в изучении сложности. В работе мы обозначим комплиментарные тенденции в познании сложности, трудности формирования дискурса о сложном на материале отечественных и зарубежных исследований.

Классическая наука, по мысли И. Пригожина, «отрицала становление и многообразие природы» [2. С. 377]. Идеал сложности современной науки требует недекартовской эпистемологии. Переход к темпоральности и множественности способствует переосмыслению природы многообразия, онтологического статуса неопределенности. Как замечает Л. Моран-Бельтран, теория сложности выступает как критика сложившейся западной рациональности, эпистемологической установки, направленной на упрощение [3]. Вместе с тем принцип простоты, механицизм и атомизм по-прежнему играют особую методологическую роль в науке и философии. Некоторые современные ученые по-прежнему уповают на то, что рано или поздно все-таки обнаружатся математически сформулированные «законы сложности».

Простая картина мира не согласуется с видимым многообразием вещей и процессов. В некоторых случаях цель исследования сложности видится в том, чтобы раскрыть простые правила, которые обуславливают сложность природных явлений. Простота рассматривается как онтологическая основа сложности. Как подметил Ю.В. Хен, «механика природных процессов не должна быть слишком сложной, иначе она не будет работать» [4. С. 270]. На фоне интереса к сложности мы наблюдаем нарастание критики упрощающих идеологий, поиск методологических стратегий, охватывающих многообразие действительности. Возникает необходимость посмотреть на сложность не как предикат многообразия, а как самостоятельную категорию.

Отечественные и зарубежные исследователи сложности приходят к выводу о том, что сложность слабо поддается концептуальному представлению. Семантический анализ понятия «сложность» показывает, что данный термин следует относить к явлениям или объектам, состоящим из множества связанных элементов, формирующих целое. Сложность также охватывает многообразие когнитивных ситуаций, в которые оказывается погружен познающий субъект. Вследствии этого можно выделить онтологическую и эпистемологическую сторону вопроса о статусе сложности. В действительности эти два ракурса оказываются взаимодополнительными: вопрос о статусе сложности поднимает вопрос о статусе мышления, которое обращено к многообразию. В этом отношении мы согласны с мыслью М.А. Петрова о том, что «концепт сложности, содержание которого обращено ко взаимосвязи единства и множественности, предполагает целостное понимание онтологических и гносеологических аспектов в их взаимной детерминации» [5. С. 46].

Является ли сложность мировоззрением, метапринципом, проблемой, требующей решения или следствием ограниченности нашего познавательного инструментария? Ускользающая природа сложности вынуждает начинать с указания на то, что будет пониматься под «сложностью». Большинство исследователей сложности признает, что многообразие оказывается естественным образом присуще действительности. В общем-то очевидное для здравого смысла обстоятельство о том, что «мир определенным образом сложен», обрастает множеством вопросов, которые нуждаются в последовательном обсуждении со стороны ученых и философов: существует ли единое природное явление под названием «сложность», возможно ли охватить сложность без ее агрегативной интерпретации, существует ли один вид сложности для всех наук или сложность оказывается специфичной для каждой предметной области?

Пролиферация интерпретаций сложности, ее метафоризация, активное использование разного рода метафизических аналогий в итоге порождают причудливый калейдоскоп (а то и вовсе нагромождение) определений сложности. Многие исследователи отмечают отсутствие общезначимого определения сложности, используют конкретные примеры для обозначения того, что представляет из себя сложность. Вместе с тем поиск стратегий осмысления сложности характеризует как отечественные, так и зарубежные исследования. По мысли В.М. Розина, существует несколько ключевых подходов к преодолению сложности: создание «метаонтологических» принципов описания сложности, использование системного подхода, методологическая стратегия, стратегия переосмысления сложности через понятие «реальность» [6]. Можно сказать, что сложность (впрочем, как и простота) никогда не бывает нам дана как таковая, представляя теоретический конструкт, эпистему (М. Фуко), отражающую особенности культуры, достижения в области науки и философии.

Ряд исследователей обоснованно утверждают, что при отсутствии правильной постановки вопроса, существует опасность утраты эвристической значимости понятия «сложность» для современной науки и философии. Как замечает А.В. Думов, «от поиска языковых средств для конструирования метафизики сложности и ответа на вопрос: „Что такое сложность?“ необходимо перейти к исследованию того, почему нечто обозначается как сложное». [7. С. 100]. Философ В.М. Розин в познании сложности предлагает осуществить

рефлексивный поворот: «...от уяснения этих феноменов перейти к реконструкции и анализу тех процедур мышления и деятельности, в которых данное явление или объект были созданы и формировались» [6. С. 35]. Действительно, достаточно часто понятие «сложность» оказывается эпифеноменом, используется исключительно в качестве «вывески». В этом ракурсе сложность можно было бы назвать «модусом» или «атрибутом» многообразия (в зависимости от метафизического ракурса).

В 1975 г. профессор американского университета Ч.У. Черчмен выступил с докладом «Философия сложности (управление сложностью)», в котором с позиций эпистемологии, онтологии и этики предпринял попытки сформулировать философский подход к жизни в сложном мире [8]. Немецкий мыслитель Р. Йохум в работе «Философия сложности. Новые подходы», опубликованной в 1998 г., отмечает, что «сложность» становится модным словом [9]. В рамках отечественной философии проблема сложности долгое время существовала в рамках материалистической диалектики, исследований системного подхода. Интерес к проблемам сложности в зарубежных исследованиях также хронологически совпадает со всплеском интереса к междисциплинарным аспектам синергетики в отечественной философии.

Понятие «сложность» активно используется в качестве неотъемлемого элемента синергетической картины мира и концепций универсального эволюционизма. Развитие концепций синергетического типа позволило рассмотреть сложность как имманентное свойство материальных и идеальных систем самой разной природы. В работе Д. Лидмана, К. Визнера, Д. Ламберта «Что такое сложная система?» предлагается осмысление феномена сложности с позиции системогенеза: сложность указывает на наличие вариативной структуры, чувствительность к начальным условиям, невозможность точного описания обратных связей и отсутствие централизованного контроля [10].

Феномен сложности имеет междисциплинарную природу, его невозможно (да и, в общем-то, не нужно) локализовать в рамках отдельной науки. Вместе с тем попытки монополизировать понятие «сложность» со стороны естествознания мы не разделяем. Было бы некорректно полагать, что феномен сложности рождается исключительно из развития наук о природе, из расширения возможностей к ее формализации в математике, активному использованию возможностей компьютеринга в процессе моделирования систем разной природы. Безусловно, развитие естествознания, компьютеринга оказало существенное воздействие на перспективы концептуализации феномена сложности в современной науке, что позволило перейти от «интуитивного» ощущения сложности к ее воплощению в информационных моделях. Мы разделяем мысль зарубежного исследователя Д. Сараха о том, что сложность была частью социально-гуманитарного знания задолго до того момента, как был сформулирован категориальный аппарат «теорий сложности» [11]. Кроме того, следует признать, что сложность есть также и феномен культуры, который требует всестороннего изучения в рамках философии. Отечественный философ И.С. Утробин подмечает, что «„сложность“ становится важнейшим реальным фрагментом культуры» [12. С. 5].

Ряд зарубежных исследователей полагают, что складывающаяся ситуация бросает вызов «гегемонии инструментальной эпистемологии Запада», знаменует собой «трансформацию цивилизационной перспективы» [3].

Сложность указывает путь к парадигме новой науки, основанной на признании трансдисциплинарных системных связей, а «кроссфертилизация» наук становится условием возможности становления идеала научной рациональности нового типа. На фоне интереса к феномену «сложного» происходит формирование теорий сложности («complexity theory»). По мысли С. Митчел, «современная наука обращается к изучению сложности как к важнейшему инструменту для понимания природы и границ многообразия» [13]. Испанский философ Х. Иварс замечает, что «науки о сложности» обозначают «объединение в одной области различных научных дисциплин, технологий, концепций и авторских стилей» [14]. Зарубежный исследователь Д.Р. Вайнбаум отмечает, что «зарождающаяся наука о сложности далеко не просто еще одна область научных исследований; это скорее парадигмальный сдвиг в научном мышлении и лежащих в его основе философских принципах» [15. С. 322].

Проблематика сложности способствует междисциплинарному синтезу, трансдисциплинарному диалогу между философией и наукой. Последовательная дифференциация научных дисциплин становится фактором, способствующим многообразию: множеству онтологий и познавательных стратегий. Многомерность начинает рассматриваться как «парадигмальный тренд», «мировоззренческая установка», которая не может быть сведена к простой сумме составляющих ее элементов. Многомерность требует создания онтологии, которая позволяет мыслить сложное без редукции к простому.

В работах Э. Морена, одного из основоположников парадигмального подхода к сложности, утверждается недостаточность аналитического подхода к рассматриваемому феномену сложности. Сложность охватывает объекты, которые не могут быть редуцированы. Как подчеркивает Г. Лубсер, такие сложные системы, как мозг, язык, социум, не могут быть описаны как агрегативная совокупность элементов и требуют учитывать обратные связи и отношения между этими элементами [16. С. 683]. В результате в науке и философии происходит формирование новых категориально-понятийных структур, адекватных «сложностному» представлению о действительности.

Эвристический потенциал в исследовании сложности в рамках аналитической традиции еще не реализован. Ряд представителей зарубежной философии утверждают, что эпистемическая концепция сложности оказывается вполне совместимой с аналитическим подходом. Как отмечает Г.С. Сантос, «предполагается не то, что существует множество миров, а то, что существует множество верных способов анализа нашего мира, индивидуализации множества объектов и процессов» [17]. Возникает необходимость поиска контекстуальных познавательных стратегий, которые, учитывая сложность действительности, представляют собой альтернативу классическому редукционизму и элементаризму.

В отечественных и зарубежных исследованиях особое внимание уделяется общей теории систем, которая рассматривается как ключ познанию сложности. По мысли Д.Р. Вайнбаума, «теория систем обеспечивает наиболее эффективную парадигму в работе со сложностью» [15. С. 284]. Со стороны философии «дух сложности», по мысли П. Сильерса [18], Д. Спуррета [19], наиболее полно оказывается представлен в рамках философии постмодернизма. Действительно, установка постмодернизма на субстанциональный плюрализм, множественность и трансверсальность коррелирует с идеями па-

радикальности сложности. Идеи смешения, запутанности, образ корневища получают осмысление в рамках постмодернизма и постструктурализма. Метафора сети, понятия «ризома», «ассамбляж» рассматриваются как структурообразующий фактор, средства описания социокультурного многообразия, способ наметить стратегии мышления, направленные на сложность.

Вопрос о прикладной значимости философии сложности также активно обсуждается. В зарубежных исследованиях намечается тенденция перехода от идей онтологизации сложности к рассмотрению ее прикладного и методологического значения. Ряд современных зарубежных исследователей сложности активно используют концепт сложности в развитии логистики, теории управления, социальных наук и образовании. Зарубежный исследователь К. Мальдонадо справедливо отмечает, что системы, включающие человека, следует относить к наиболее сложным [20. С. 29]. В исследовании К. Мальдонадо предметом изучения становится сложность социальных систем, для которых сложность является не одним из атрибутов, а формой репрезентации, разворачивающейся во времени сложности. Автор предлагает переместить акцент с вопроса о природе сложности к проблемам ее образования. В работе Р.Х.А. Пилото [21] сложность рассматривается как особый способ мышления о бытии социальных и человеческих систем, предлагается новое дисциплинарное направление науки о сложности – комплексология. Комплексология позиционируется автором в качестве рефлексивной эпистемологии взаимосвязи человекомерных и социальных систем.

Зарубежные исследователи активно интегрируют «теории сложности» в образовательный процесс, используют инструментарий становящихся «наук о сложном» для решения практических задач, достижения междисциплинарного синтеза в исследовании взаимосвязи природных, социальных и культурных систем. Согласимся с мыслью А.В. Думова и В.И. Кудашова о том, что «рефлексия сложности может рассматриваться в качестве одного из путей актуализации философии образования» [22. С. 31]. К сожалению, по большей части образ университета как «трансдисциплинарного проекта» декларируется, но не находит своего фактического воплощения в рамках действительности российского образования.

Современность все чаще описывается эпитетом «сверхсложная»: многомерная, турбулентная, неопределенная, балансирующая на краю хаоса. По мысли Р. Барнетта, «сверхсложность» становится неотъемлемым атрибутом современного мира [23]. Отечественные и зарубежные исследования сложности предлагают нам богатую палитру моделей ее концептуализации, которые условно можно называть своеобразными «точками роста». Мы предлагаем выделять метафизическую, аналитическую, системную, синергетическую, сетевую, социокультурную, антропокультурную модели концептуализации сложности. Подобная типологизация отражает как особенности в экспликации сложности, которая имеет место в рамках современных исследований, так и «точки роста» дискурса о сложном.

Принято считать, что одними из первых, кто заговорил о недостатках классической редукционистской методологической программы, были биологи, медики и химики. Однако рассуждая о сложности, не представляется возможным игнорировать ее метафизические основания, связь сложностного представления о действительности с системным подходом и культурой в це-

лом. В рассуждениях о сложности оказывается трудно отбросить метафизический вопрос: является ли мир в своей основе простым или бесконечно сложным? Можно ли дать «внесистемную» интерпретацию сложности, ведь со сложностью-многообразием человек знакомится раньше, чем с системами? Для актуализации проблематики сложности необходим определенный уровень «сложности», дифференцированности человеческого сознания, который оказывается возможным только в рамках «сложной» культуры. Сложность культуры, в свою очередь, не может быть удовлетворительно понята вне ее антропных характеристик. Как отмечает член австралийской академии наук И. Энг, осознание сложности является «важной частью мирового культурного опыта» [24. С. 779]. Углубление этого опыта – это также понимание антропологической сложности, перспектив гуманитарного прогресса.

В спектр рассуждений о сложности оказываются включенными самые разнообразные дискурсы, ориентированные на объективные или же субъективные, агрегативные и эмерджентные характеристики сложности [25]. В рамках данной работы мы наметили некоторые общие проблемы концептуализации сложности в отечественной и зарубежной философии. Прорабатывая материал, мы встретили как попытки осознанного отказа от упрощения, так и попытки примирить сложность с аналитическим подходом. Сложность выступает и как мировоззрение, метапринцип, и как вызов, проблема, требующая решения. Отечественные и зарубежные исследователи повсеместно отмечают трудности концептуализации феномена сложности, необходимость ее типологизации, обнаруживают общие вопросы и схожие варианты их решения. В ряде случаев предлагается от вопроса «что есть сложность?» перейти к вопросу «как получается нечто, называемое сложным?». Намечаются как субстанциональные, так и акцидентальные характеристики сложности. Современные исследования сложности в рамках отечественной и зарубежной философии осуществляются в рамках активного использования системного, сетевого подходов, синергетики и подчеркивают значимость философии постмодернизма, постструктурализма в осмыслении перманентной социокультурной сложности. Обращает на себя внимание тот факт, что отечественные исследования сложность чаще рассматривают как своего рода метапринцип, уделяют больше внимания онтологизации феномена сложности. Зарубежные исследования в большей степени оказываются ориентированным на эпистемологию конструктивизма, интеграцию дискурса о сложном в научные исследования.

Список источников

1. Аршинов В.И., Свирский Я.И. На пути к коммуникативно-рекурсивной модели Вселенной // Философия науки. Вып. 16: Философия науки и техники. М. : ИФ РАН, 2011. С. 3–33.
2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой : пер. с англ. / общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. М. : Прогресс, 1986. 432 с.
3. Morán-Beltrán L.E. De la teoría de la complejidad a la filosofía intercultural: hacia un nuevo saber // Revista de Filosofía. 2006. Vol. 24, № 52 (1). URL: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712006000100004 (accessed: 14.04.2022)
4. Хен Ю.В. О сложности живой природы и простоте теорий // Философия науки и техники. 2013. № 1 (18). С. 265–277.
5. Петров М.А. Понятие информации и феномен сложности: количественные и качественные аспекты // Сложные системы: целостность, иерархия, идентичность / Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. Красноярск : СФУ, 2020. 203 с.

6. Розин В.М. Прологомены к анализу различных типов реальности в контексте концепций множественности // Сложность и проблема единства знания. Вып. 2: Множественность реальностей в сложном мире / Рос. акад. наук, Ин-т философии; И.А. Герасимова, М.Р. Бургете Аяла, Л.П. Киященко, В.М. Розин. М. : ИФ РАН, 2019. С. 17–95.
7. Думов А.В. Концептуализация сложности и аналитическая философия // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Философия. 2021. Т. 3, № 3. С. 93–102.
8. Churchman C.W. A Philosophy for Complexity // PSU Library Special Collection and University Archives Oregon Public Speakers Collection. URL: <http://archives.pdx.edu/ds/psu/11372> (accessed: 14.04.2022).
9. Jochum R. Die Philosophie der Komplexität. Neuere Ansätze // Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 1998. № 4. URL: <https://www.inst.at/trans/4Nr/jochum.htm> (Дата обращения 14.04.2022).
10. Ladyman J., Lambert J., Wiesner K. What is a complex system? // European Journal for Philosophy of Science. 2013. Vol. 3, № 1. P. 33–67.
11. Sarah J. Culture and Complexity: Graffiti on a San Francisco Streetscape // Media culture Journal. 2007. Vol. 10, № 3. URL: <http://journal.media-culture.org.au/0706/07-james.php> (accessed: 27.07.2019).
12. Утробин И.С. Категория сложности в современной теории развития : автореф. дис. ... д-ра философ. наук. Пермь, 1993. 40 с.
13. Mitchell S.D. Integrative Pluralism // Biology & Philosophy. 2002. № 17 (1). P. 55–70.
14. Ivars J. El secuestro de la Complejidad y el Gran Relato Progresista // El rumor de las ultitudes. URL: <https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-secuestro-de-la-complejidad-y-el-gran-relato-progresista> (accessed: 14.04.2022).
15. Weinbaum D.R. Complexity and the philosophy of becoming // Foundations of Science. 2015. № 20 (3). P. 283–322.
16. Loubser G. A common pursuit: Paul Cilliers' and Wentzel van Huyssteen's epistemic attitudes // Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif. 2013. Vol. 54 (1–2). P. 1–13 URL: https://www.researchgate.net/publication/276082488_A_common_pursuit_Paul_Cilliers%27_and_Wentzel_van_Huyssteen%27s_epistemic_attitudes (accessed: 14.04.2022).
17. Santos G.C. Philosophy and Complexity // Foundations of Science. 2013. 2013. Vol. 18, P. 681–686.
18. Cilliers P. Complexity and postmodernism. Understanding complex systems London. 1998. 168 p.
19. Spurrett D. Complexity and/or Post-modernism? // South African Journal of Philosophy. 2014. № 18 (2). P. 258–274.
20. Maldonado C.E. Complejidad de las ciencias sociales. Y de las otras ciencias y disciplinas, Bogotá, D.C. Colombia, 2016. 304 p.
21. Пилото Х.А.П. Социальная человеческая комплексология как дисциплинарное направление парадигмы сложности (эпистемологические и методологические основания) : дис. ... канд. филос. наук. Казань. 2021. 156 с.
22. Думов А.В., Кудашов В.И. Идея сложности и современная метафизика образования // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 2. С. 24–32.
23. Барнетт Р. Осмысление университета // Alma Mater. Вестник высшей школы. 2008. № 6. С. 46–57.
24. Ang I. Navigating complexity: From cultural critique to cultural intelligence // Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 2011. Vol. 25, № 6. P. 779–794.
25. Онолов П.В. Проблемы концептуализации сложности в науке и философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 48. С. 15–23.

References

1. Arshinov, V.I. & Svirskiy, Ya.I. (2011) Na puti k kommunikativno-rekursivnoy modeli Vseleynoy [On the way to a communicative-recursive model of the Universe]. In: *Filosofiya nauki* [Philosophy of Science]. Vol. 16. Moscow: IF RAS. pp. 3–33.
2. Prigozhin, I. & Stengers, I. (1986) *Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy* [Order out of chaos: A new dialogue between man and nature]. Translated from English by V.I. Arshinov, Yu.L. Klimontovich, Yu.V. Sachkov. Moscow: Progress.

3. Morán-Beltrán, L.E. (2006) De la teoría de la complejidad a la filosofía intercultural: hacia un nuevo saber. *Revista de Filosofía*. 52(1). [Online] Available from: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712006000100004 (Accessed: 14th April 2022)
4. Khen, Yu.V. (2013) O slozhnosti zhivoy prirody i prostote teorii [On the complexity of living nature and the simplicity of theories]. *Filosofiya nauki i tekhniki*. 1(18). pp. 265–277.
5. Petrov, M.A. (2020) Ponyatie informatsii i fenomen slozhnosti: kolichestvennyye i kachestvennyye aspekty [The concept of information and the phenomenon of complexity: Quantitative and qualitative aspects]. In: *Slozhnye sistemy: tselostnost', ierarkhiya, identichnost'* [Complex Systems: Integrity, Hierarchy, Identity]. Krasnoyarsk: SFU.
6. Rozin, V.M. (2019) Prolegomeny k analizu razlichnykh tipov real'nosti v kontekste kontseptsiy mnozhestvennosti [Prolegomena to the analysis of different types of reality in the context of the concepts of plurality]. In: Gerasimova, I.A., Burgete Ayala, M.R., Kiyashchenko, L.P. & Rozin, V.M. *Slozhnost' i problema edinstva znaniya* [Complexity and the Problem of the Unity of Knowledge]. Vol. 2. Moscow: IF RAS. pp. 17–95.
7. Dumov, A.V. (2021) Kontseptualizatsiya slozhnosti i analiticheskaya filosofiya [Conceptualization of complexity and analytical philosophy]. *Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta. Seriya Filosofiya*. 3(3). pp. 93–102.
8. Churchman, C.W. (n.d.) *A Philosophy for Complexity*. PSU Library Special Collection and University Archives Oregon Public Speakers Collection. [Online] Available from: <http://archives.pdx.edu/ds/psu/11372> (Accessed: 14th April 2022).
9. Jochum, R. (1998) Die Philosophie der Komplexität. Neuere Ansätze. *Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften*. 4. [Online] Available from: <https://www.inst.at/trans/4Nr/jochum.htm> (Accessed: 14th April 2022).
10. Ladyman, J., Lambert, J. & Wiesner, K. (2013) What is a complex system? *European Journal for Philosophy of Science*. 3(1). pp. 33–67.
11. Sarah, J. (2007) Culture and Complexity: Graffiti on a San Francisco Streetscape. *Media Culture Journal*. 10(3). [Online] Available from: <http://journal.media-culture.org.au/0706/07-james.php> (Accessed: 27th July 2019)
12. Utrobin, I.S. (1993) *Kategoriya slozhnosti v sovremennoy teorii razvitiya* [The category of complexity in the modern theory of development]. Abstract of Philosophy Dr. Diss. Perm.
13. Mitchell, S.D. (2002) Integrative Pluralism. *Biology & Philosophy*. 17(1). pp. 55–70.
14. Ivars, J. (n.d.) *El secuestro de la Complejidad y el Gran Relato Progresista*. [Online] Available from: <https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-secuestro-de-la-complejidad-y-el-gran-relato-progresista> (Accessed: 14th April 2022).
15. Weinbaum, D.R. (2015) Complexity and the philosophy of becoming. *Foundations of Science*. 20(3). pp. 283–322.
16. Loubser, G. (2013) A common pursuit: Paul Cilliers' and Wentzel van Huyssteen's epistemic attitudes. *Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif*. 54(1–2). pp. 1–13 [Online] Available from: https://www.researchgate.net/publication/276082488_A_common_pursuit_Paul_Cilliers%27_and_Wentzel_van_Huyssteen%27s_epistemic_attitudes (Accessed: 14th April 2022).
17. Santos, G.C. (2013) Philosophy and Complexity. *Foundations of Science*. 18. pp. 681–686.
18. Cilliers, P. (1998) *Complexity and postmodernism. Understanding complex systems*. London: [s.n.].
19. Spurrett, D. (2014) Complexity and/or Post-modernism? *South African Journal of Philosophy*. 18(2). pp. 258–274.
20. Maldonado, C.E. (2016) *Complejidad de las ciencias sociales. Y de las otras ciencias y disciplinas*. Bogotá, D.C. Colombia: [s.n.].
21. Piloto, Kh.A.R. (2021) *Sotsial'naya chelovecheskaya kompleksologiya kak distsiplinarnoe napravlenie paradigmy slozhnosti (epistemologicheskie i metodologicheskie osnovaniya)* [Social human complexity as a disciplinary direction of the complexity paradigm (epistemological and methodological foundations)]. Philosophy Cand. Diss. Kazan.
22. Dumov, A.V. & Kudashov, V.I. (2021) Ideya slozhnosti i sovremennaya metafizika obrazovaniya [The idea of complexity and modern metaphysics of education]. *Professional'noe obrazovanie v sovremennoy mire*. 11(2). pp. 24–32.
23. Barnett, R. (2008) Osmyslenie universiteta [Making sense of the university]. *Alma Mater. Vestnik vysshey shkoly*. 6. pp. 46–57.
24. Ang, I. (2011) Navigating complexity: From cultural critique to cultural intelligence. *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*. 25(6). pp. 779–794.
25. Opolev, P.V. (2019) Problems of conceptualization in the philosophy and science of complexity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* –

Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 48. pp. 15–23. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/48/2

Сведения об авторе:

Ополе́в П.В. – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры «История, философия и социальные коммуникации» Омского государственного технического университета (ОмГТУ) (Омск, Россия). E-mail: pvo-sinergetica@rambler.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Opolev P.V. – Candidate of Philos. Associate Professor, Associate Professor of History, Philosophy and Social Communications Department, Omsk State Technical University (OmSTU) (Omsk, Russian Federation). E-mail: pvo-sinergetica@rambler.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 28.05.2022;
одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 28.05.2022;
approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 21.02.2023*

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 130.2, 316.42
doi: 10.17223/1998863X/71/14

ЦИФРОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОБЩЕСТВА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Ирина Александровна Асеева

*Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия,
irinaaseeva2011@yandex.ru*

Аннотация: Осмысливается цифровое благополучие российского общества, включающего полноту социальной интегрированности и активности общения, уровень удовлетворения потребностей и расширения возможностей с помощью цифровых технологий. Следуя междисциплинарному подходу постнеклассической науки, социологические измерения этих параметров позволяют сформулировать и подкрепить эмпирикой философские рассуждения о феномене цифровизации в целом, вывести их на уровень социокультурных обобщений.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое благополучие, цифровое доверие, социальная интегрированность, социальные сети, цифровая грамотность

Для цитирования: Асеева И.А. Цифровое благополучие общества: междисциплинарный подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 138–148. doi: 10.17223/1998863X/71/14

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

DIGITAL WELL-BEING OF SOCIETY: INTERDISCIPLINARY APPROACH

Irina A. Aseeva

*Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation, irinaaseeva2011@yandex.ru*

Abstract. The expression “digital well-being” has become widespread within the comprehension in Western and Russian science of the course and effects of total digitalization. Some authors point to the positive impact of digital technologies on human life in the information society, others associate it with increasing labor productivity through access to integrated information services and reducing social inequality by providing wider access to the achievements of modern science, the functioning of a fair state system and the realization of the most important human values. The problem lies in the fact that the increase

in the volume of digital services and platforms undoubtedly expands the diverse capabilities of a person in the information society, but does not automatically form a sense of a prosperous life associated with total digitalization. It is clear that the influence of digital technologies is ambivalent, the tempting potential and effects of their use are inevitably accompanied by obvious and delayed risks and threats that can be avoided or at least can reduce their traumatism. The article assesses and comprehends the digital well-being of society as an indicator of the success of the introduction of digitalization in Russia. Satisfaction with the progress and results of digitalization includes a set of positive assessments when realizing their trust in network communication partners, social integration and communication activity, meeting needs, expanding opportunities with the help of digital technologies. Sociological measurements of these parameters make it possible to formulate and reinforce philosophical generalizations concerning the phenomenon of digitalization in general. As a result of the conducted research, it can be stated that an optimistic sense of digital well-being often arises among young residents of megacities with specialized IT education, providing them with a fairly high level of income. Pessimism in the assessment of the digital future is expressed by low-income older and elderly people who have poor computer skills and live in rural areas. On the one hand, these conclusions mark the main target audience of digitalization, and, on the other, reveal serious deformations – a source of social tensions and conflicts.

Keywords: digital well-being, digital trust, social integration, social networks, digital literacy

For citation: Aseeva, I.A. (2023) Digital well-being of society: interdisciplinary approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 138–148. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/14

Раньше в фантастике главным было радио.
При нем ожидалось счастье человечества.
Но вот радио есть, а счастья нет.

Илья Ильф. Записные книжки

Цифровое благополучие: поиски определения

Благополучие – характеристика жизни человека – может пониматься как результат приобщения к достижениям современной науки, функционирования справедливого государственного устройства и реализации важнейших человеческих ценностей. Попробуем в данной статье наметить ответы на неоднозначные вопросы: Можно ли определить уровень и полноту благополучия? В чем измеряется благополучие человека – в материальном достатке, в количестве квартир, машин, технологий или как-то иначе? Это внешняя экзистенциальная характеристика бытия человека или внутреннее состояние, субъективное ощущение удовлетворения от некоего качества своего существования. Как его в этом случае оценить, какие найти критерии? Они качественные и (или) количественные? Растет ли благополучие человека и общества в связи с внедрением новых цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности?

Выражение «цифровое благополучие» получило распространение в связи с осмыслением в западной и российской науке хода и эффектов тотальной цифровизации. Одни авторы указывают на положительное влияние цифровых технологий на жизнь человека в информационном обществе [1, 2], другие ассоциируют его с повышением производительности труда через доступ к интегрированным информационным сервисам и снижением социального неравенства путем обеспечения более широкого доступа к необходимым услугам, таким как здравоохранение [3]. Д. Петерс, Р. Кальво, Р. Райан сосредоточились на том, как цифровые технологии могут способствовать развитию

человеческого потенциала на основе вовлеченности человека в творческие и интеллектуальные практики [4, 5]. Создавая свой прототип платформы для здоровья и благополучия граждан, У. Кейзер-Броерс, Л. Флорес-Атехортуа, М.Д. Ройвер отмечают, что качество жизни, которое понимается как благополучие, включает «безопасную домашнюю среду, хорошие условия для сохранения здоровья и социальную сплоченность» [6. Р. 3462]. О.П. Скидан размышляет об антропологических критериях цифровизации, о готовности к рискам, с ней связанных, через понимание ценности и целостности своего бытия, готовности к самоограничению, управление собой. Мера в развитии и внедрении цифровых технологий должна соблюдаться: как и любой инструмент, их можно обратить во зло или во благо, и это уже дело нашей мудрости и ответственности. Духовный и интеллектуальный уровень развития человека – это существенный момент и фактор бытия современного мира [7]. Проблема заключается в том, что наращивание объемов цифровых сервисов, услуг и платформ, которое, несомненно, расширяет разнообразные возможности человека в информационном обществе, не формирует автоматически чувство благополучной жизни, связанной с тотальной цифровизацией. Понятно, что влияние цифровых технологий амбивалентно, заманчивый потенциал и эффекты их применения неизбежно сопровождаются явными и отсроченными рисками и угрозами, которых можно избежать или хотя бы снизить их травматичность.

Параметры измерения цифрового благополучия

Мы полагаем, что чувство цифрового благополучия комплексное и сложное. Оно включает комплекс положительных оценок при осознании своего доверия партнерам по коммуникациям в сети, социальной интегрированности и активности общения, удовлетворении потребностей, расширении возможностей с помощью цифровых технологий.

Цифровое доверие – один из основных параметров определения уровня развития и качества цифровых ресурсов, сервисов, платформ, технологий в разных странах. Так, Международная коммуникационная группа Dentsu Aegis Network предложила включить в модель измерения Индекса цифрового общества (The Digital Society Index), наряду с показателями динамики развития и возможности доступа к цифровой инфраструктуре, доверие – «показатель степени уверенности людей в использовании данных, а также более широкого оптимизма в отношении будущего. «Доверие» учитывает такие критерии, как готовность противостоять или хотя бы защититься от киберпреступности, законодательство о защите данных и прозрачность использования данных предприятиями и правительствами» [8. Р. 13]. И далее, доверие – показатель, отражающий, в какой степени «созданы правильные условия для стимулирования роста (т.е. с точки зрения соответствующих режимов конфиденциальности и безопасности, а также более глубокой веры в будущее цифровой экономики)» [8. Р. 39]. Компания KPMG включила в модель, определяющую цифровое доверие, пять ключевых параметров (атрибутов): надежность, авторитетность, прозрачность, безопасность и честность [9]. Обратим внимание, что эти параметры цифрового доверия выявляют приоритет ценностно-этического отношения людей к новым технологиям, а технические возможности и финансовая доступность оказываются вторичными.

Именно доверие является основой долговременных социальных интеракций между личностями, между человеком и социальными системами и государством в целом [10], служит опорой для архетипических общественных институтов, таких как традиции и мораль [11. С. 14–34]. По уровню цифрового доверия можно оценить степень готовности людей принять и использовать в профессиональной и повседневной деятельности новые цифровые технологии. Результаты нашего социологического исследования «Цифровое сетевое пространство российского общества», которое было проведено в конце 2021 года на территории Российской Федерации [12, 13], свидетельствуют о высоком уровне доверия россиян цифровым ресурсам. Оказалось, что подавляющее большинство опрошенных россиян – около 65% – практически постоянно находятся онлайн.

Уровень доверия пользователей замечен через частоту использования различных цифровых сервисов и платформ. Так, показательно, что чем младше возрастная группа респондентов, тем чаще они отвечали «Практически ежедневно», например, в возрастной группе младше 20 лет так ответили около 88%, в возрастной группе от 21 года до 30 лет – около 90%, в возрастной группе от 31 года до 40 лет – около 64%, в возрастной группе от 41 года до 50 лет – около 63%, в возрастной группе от 51 года до 60 лет – около 47% и в возрасте от 61 года и старше – около 29%. Такая активность в интернете свидетельствует, на наш взгляд, о высоком уровне доверия россиян, особенно молодого возраста, цифровым ресурсам. Отчасти этот вывод подтверждает данные Фонда Общественное Мнение. Согласно результатам их исследований, 33% населения России в целом доверяют информации, размещенной в Интернете, и 33% не доверяют. Среди месячной аудитории Интернета более высокий процент – 48% от ответивших – доверяют размещенной информации, но и доля недоверяющих среди пользователей больше – 38%. Самой доверчивой группой оказались пользователи социальных сетей – 51% представителей этой группы положительно ответили на вопрос о доверии [14].

Наши данные тоже подтверждают, что социальные сети – самый востребованный цифровой ресурс, их использует 80,9% наших респондентов самых разных возрастов, любого уровня образования и разного места жительства, от мегаполиса до села, в то время как для получения государственных/муниципальных услуг обращаются 68,8%, для приобретения товаров/услуг – 68,8%, пользуются развлекательным контентом (кино, музыка, книги) – 67,1%, совершают финансовые операции в онлайн-банках и онлайн-кошельках – 61,7% ответивших.

Менее всего респонденты пользуются, а следовательно, можно предположить, что не считают авторитетными, надежными и безопасными такие цифровые сервисы, как поиск работы, вакансий (32,3%), обращение в органы власти (25,6%) и аренда, покупка, продажа жилья (21,7%).

Частота обращений к социальным сетям иллюстрирует следующий показатель цифрового благополучия – *уровень социальной интегрированности и активности общения*. Мы спрашивали наших респондентов, какими именно социальными сетями и с какой целью они пользуются. Ответы разделились кардинально. Если социальными сетями для неформального общения (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и т.п.) пользуются все возрастные категории опрошенных, от 92,6% в юном и молодом возрасте до 58% в кате-

гории 60+, то к общественно-политическим сервисам («Активный гражданин», Российская общественная инициатива, Change.org и т.д.) внимание явно вялое: респонденты 18–40 лет чаще выбирали ответ «Не пользовался ни разу, но слышал о них» (около 40%), у респондентов 41–60+ самый популярный ответ «Не пользовался и не слышал» (около 38%).

Для сравнения: по данным Digital 2022 Global Overview, в 2022 г. общая численность населения России составила 145,9 млн человек, из которых 129,8 млн являются интернет-пользователями. Таким образом, уровень проникновения интернета в России на начало года достиг 89,0% от общей численности, что на 4,7% выше прошлого года. Это один из самых высоких показателей в мире. Что касается общения в соцсетях, то россияне – среди самых активных. Если среднемировой показатель количества пользователей социальных медиа – 58,4% от всей численности населения, в то России он – 72,7% [15].

Для выяснения оценок показателя *полноты удовлетворения потребностей* респондентам было предложено оценить, в какой степени нижеперечисленные типы цифровых платформ удовлетворяют их потребности как пользователя. Так, в наибольшей степени полностью удовлетворяют потребности респондентов как пользователя социальные, развлекательные, финансовые, торговые, транспортные цифровые платформы. Относительно цифровых платформ, которые не пользуются популярностью среди респондентов, были названы общественные, рекрутинговые, риелторские и, как ни удивительно, обучающие. Платформы для расширения интеллектуальных и статусных возможностей, связанных с получением новых навыков или профессий, популярностью не пользуются, независимо от места жительства, возраста и уровня дохода. Самая популярная реакция на просьбу оценить эти платформы – «затрудняюсь ответить» (около 45% всех респондентов) [12].

Мы выясняли также мотивы выбора цифровых платформ для удовлетворения своих потребностей. Независимо от возраста и места жительства, для наших респондентов была важна возможность экономить время, получать полную информацию по услуге/товару, удобство получения результата, получение товара/услуги в любом месте. Вместе с тем респонденты отмечают при пользовании интернет-сервисами сложность оспаривания операции и подачи жалоб, невозможность контролировать процесс предоставления услуги, отсутствие быстрого контакта с живым человеком, а не с ботом, отсутствие сокращения финансовых затрат.

Отметим, однако, что постоянное пребывание в интернете влечет за собой целый спектр антропологических, социальных, криминальных проблем, обсуждение которых среди философов, социологов, юристов, культурологов, психологов значительно активизировалось в последние годы (см., напр.: [16, 17]). Анализ этих проблем не является целью данной статьи, вместе с тем, думается, что осмысление трансформации идентичности человека, его «разделенности» по нескольким жизненным мирам, значительное влияние цифровизации на традиционные социальные ценности и практики требуют отдельного серьезного исследования в контексте субъективного ощущения цифрового благополучия людей в частности и оценки значимости и разнообразных эффектов цифровизации как этапа развития нашей цивилизации в общем.

Ощущение цифрового благополучия в прямой зависимости от цифровой грамотности

Мы полагаем, что степень удовлетворения от цифровых сервисов напрямую зависит от развитости цифровых компетенций пользователя. Цифровые компетенции – комплексный показатель, включающий не только технические навыки работы в интернете, но и способность оценить качество контента, и понимание неких нравственных правил и норм, регулирующих поведение пользователей в сети. Сформированность цифровых компетенций в конечном итоге позволяет судить об уровне цифровой грамотности. По определению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Цифровая грамотность включает в себя умение пользоваться поисковыми системами и находить нужную и полезную информацию, способность отличить добросовестные и вызывающие доверие источники информации от недобросовестных, знание о системах родительского контроля и умение ими пользоваться» [18].

Аналитический центр НАФИ ежегодно проводит мониторинг цифровой грамотности [19]. Индекс рассчитывается по методологии DigCompSAT. В рамках данной концепции анализ цифровых компетенций производится по пяти основным параметрам:

- информационная грамотность – поиск и работа с информацией в интернете;
- коммуникативная грамотность – пользование онлайн-сервисами и соблюдение этических норм в сети;
- создание цифрового контента – создание и редактирование цифрового контента;
- цифровая безопасность – оценка рисков мошенничества и манипуляций в интернете, защита и ответственное отношение к собственным персональным данным;
- навыки решения проблем в цифровой среде – пользование мобильными приложениями и компьютерными программами для выполнения повседневных задач.

Вместе с тем, по мнению коллектива исследователей ВШЭ под руководством Н.Е. Дмитриевой, методика Росстата, утвержденная приказом № 64 от 13 февраля 2020 г., не позволяет определить уровень развитости навыков защиты личных данных и упускает показатели этичности использования цифровых технологий [20. С. 19].

Однако, по данным НАФИ, показатели цифровой грамотности россиян постоянно меняются, а за время пандемии COVID-19 индекс изменился значительно – «за год сократилась доля людей с начальным уровнем цифровой грамотности (с 7 до 4%), выросла доля россиян с базовым уровнем цифровой грамотности (с 66 до 70%). При этом доля россиян с продвинутым уровнем цифровых компетенций не увеличилась – ими обладают 27% россиян, как и в 2020 г. Это на 5 п.п. ниже, чем заложено в паспорте федерального проекта на 2021 г.» [19]. Крайне низкий уровень владения цифровыми навыками наблюдается у людей старше 45 лет [21]. Отчасти это связано с тем, что, завершив свое обучение более 20 лет назад, люди средних и старших возрастов не могли освоить соответствующие компетенции, в то время их просто не суще-

ствовало. Вместе с тем нынешние старшеклассники и студенты практически живут в сети, используют интернет и для подготовки контрольных материалов в обучении, и для «цифровой болтовни», и для развлечения.

В своем исследовании 2021 г. мы выяснили, что респонденты, обладающие развитыми навыками работы в интернете, за последние 3 года почувствовали значительные изменения в своей повседневной жизни, в среднем около 40% всех опрошенных. Наглядной оказалась зависимость между частотой использования цифровых сервисов и уровнем владения ими. Так, исходя из данных опроса, мы видим, что чем выше уровень владения цифровыми платформами и сервисами, тем чаще люди ими пользуются. Вместе с тем, судя по ответам на вопросы нашей анкеты, респонденты осознают нехватку своих умений и знаний пользования сервисами. Так, 27,8% профессионалов, 24,1% уверенных пользователей, 45,8% начинающих и 40% не владеющих компьютером ответили, что недостаток этой компетенции может повлиять на отношение к цифровизации.

К аналогичным результатам пришли ВЦИОМ и Social Business Group (SBG) в апреле 2020 г. Их исследование показало, что самооценка уровня цифровых компетенций по всем параметрам выше у работающих россиян по сравнению со средними значениями по всему населению. Оказалось, что 66% россиян считают свой уровень цифровых компетенций достаточным, а 30% – недостаточным (еще 4% респондентов ответить на вопрос затруднились). При этом удовлетворенность уровнем цифровых компетенций снижается с возрастом (значение показателя в группе 18–24 лет – 82%, в группе 60+ – 48%). Кроме того, обратим внимание на низкое значение данного анализируемого параметра для сельского населения – 57% [22].

Мы заметили, однако, что чем выше уровень владения технологическими навыками, тем более удовлетворены пользователи качеством цифровых платформ разного типа и тем активнее они готовы пробовать и использовать новые цифровые возможности. Начинаящие пользователи, работающие лишь со стандартными приложениями, присоединяются к использованию новых сервисов в том случае, если нет возможности этого избежать, и респонденты, не владеющие навыками работы с цифровыми платформами и сервисами, в большей степени либо являются противниками использования цифровых сервисов, либо вообще затруднились ответить на вопрос «Если появляется новый цифровой сервис, то как Вы ведёте себя обычно?». Также наглядно, что респонденты, не владеющие навыками пользования цифровыми сервисами и платформами, ответили, что они их полностью не удовлетворяют, что может быть связано с тем, что они в принципе ими не пользуются из-за отсутствия соответствующих навыков.

Важным показателем цифрового благополучия является техническая возможность реализации замыслов, интересов и потребностей пользователей с помощью цифровых ресурсов. Так, технологическую отсталость считают значимым препятствием процессам цифровизации – 54,7% респондентов совершенно разных уровней владения компьютером, от профессионалов до начинающих пользователей.

Среди технических факторов, негативно влияющих на отношение пользователей к цифровизации, респонденты называют:

– отсутствие «нормального» доступа в сеть Интернет (55,7% независимо от места жительства, образования, уровня дохода и возраста);

- высокую стоимость пользования цифровыми платформами (61,8% независимо от места жительства, образования, уровня дохода и возраста);
- отсутствие техники (смартфона, планшета, компьютера) для работы с сервисами (44,6% независимо от места жительства, образования, уровня дохода и возраста) [12].

Согласно результатам наших исследований, именно ограниченность средств или доступе в сеть Интернет могут стать ощутимыми препятствиями для распространения цифровизации в нашей стране.

Заключение

Цифровизация проникла во все сферы жизнедеятельности людей, распространилась на всех континентах. В Северной Европе активными интернет-пользователями являются 98% населения, в Северной Америке – 92%, в Юго-Восточной Азии – 72%, в России – 89% [15]. Однако ощущают ли люди повышение качества своей жизни, иначе именуемое благополучием, или новые технологии лишь добавляют проблемы и обостряют имеющиеся?

Статистические срезы и социологические исследования позволяют взглянуть на эту проблему не абстрактно, через категории и отстраненные размышления, а глазами самих участников этого процесса, понять, какие показатели ими оцениваются как значимые, выявить критерии, на основании которых формируется субъективное и общественное мнение.

Поскольку чувство благополучия напрямую зависит от навыков работы в интернете, в широком смысле этого выражения, то актуальной является проблема цифрового образования. Особенно остро она стоит для людей 60+, поскольку, как выясняется, от этого зависит успешность их функционирования в современном обществе. Многие пользователи отмечают проблемы в своих знаниях и навыках, однако, как показывают результаты опроса, не все способны заниматься самообразованием, даже при наличии и доступности таких программ.

Вместе с тем обучение информационной и коммуникативной грамоте в интернет-сети не должно идти в ущерб традиционным личным и социальным связям и взаимодействиям людей. Трансформация личностной идентичности человека, размывание границ приватности и публичности, усиление влияния разнообразных манипулятивных и надзорных социальных и когнитивных технологий и другие последствия являются обратной стороной тотальной цифровизации в мире.

Как мы выяснили, следующие параметры позволяют оценить чувство цифрового благополучия, которое испытывает современное общество: цифровое доверие, возникающее к честным, а потому – авторитетным, безопасным и надежным сервисам и платформам; уровень социальной интегрированности – наличие навыков поиска необходимой информации, организации общения и взаимодействия в социальных интернет-сетях; полнота удовлетворения всевозможных потребностей, информационных, финансовых, правовых и т.д. и их техническое обеспечение.

Проведенные исследования показывают, что оптимистическое чувство цифрового благополучия чаще демонстрируют молодые (до 30 лет) жители мегаполисов со специализированным ИТ-образованием, обеспечивающим им довольно высокий уровень дохода. Пессимизм в оценке цифрового будущего

высказывают малообеспеченные лица старшего и пожилого возраста, слабо владеющие компьютером и проживающие в сельской местности. С одной стороны, эти выводы маркируют основную целевую аудиторию цифровизации, а с другой стороны, выявляют серьезные деформации – источник социальных напряжений и конфликтов.

Список источников

1. Feng Y., Chang C., Ming H. Engaging mobile data to improve human well-being: The ADL recognition approach // IT Professional. 2017. P. 1–1. doi: 10.1109/MITP. 2017.265111034
2. Floridi L. The Fourth Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2014. 272 p.
3. Khouly M.J., Ioannidis J.P.A. Big data meets public health // Science. 2014. Vol. 346, № 6213. P. 1054–1055.
4. Calvo R.A., Peters D. Positive computing: Technology for wellbeing and human potential. Cambridge : MIT Press, 2014. 304 p.
5. Peters D., Calvo R.A., Ryan R.M. Designing for motivation, engagement and wellbeing in digital experience // Frontiers in Psychology. 2018. Vol. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00797. URL: <https://philpapers.org/rec/PETDFM> (accessed: 28.08.2022).
6. Keijzer-Broers W., Florez-Atehortua L., Reuver M.D. Prototyping a health and wellbeing platform: An action design research approach // 49th Hawaii international conference on system sciences. 2016. P. 3462–3471.
7. Скидан О.П. Антропологические аспекты цифровой трансформации социума: постановка проблемы // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 21, № 5. С. 105–117. doi: 10.37482/2687-1505-V136
8. Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. P.13. URL: <https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/digital-society-index-2019-human-needs-in-a-digital-world> (accessed: 20.12.2021).
9. KPMG Digital Trust. URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/digital-trust.pdf> (accessed: 21.12.2021).
10. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. № 5. С. 107–134.
11. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. М. : АСТ, 2008. 730 с.
12. Асеева И.А., Белкина В.А. Критерии и показатели антропологической адекватности цифровизации в России // Научно-исследования. 2022. № 1. С. 8–44.
13. Зотов В.В., Асеева И.А., Буданов В.Г., Белкина В.А. Конвертация опасностей социотехнической конвергенции в риски цифровизации // Цифровая социология. 2022. Т. 5, № 2. С. 4–20.
14. Гражданская активность в интернете // ФОМ. URL: <http://fom.ru/SMI-i-internet/10622> (дата обращения: 21.12.2021).
15. Самый свежий отчет Digital 2022 Global Overview <https://vc.ru/marketing/383351-samyu-svezhiy-otchet-digital-2022-global-overview> (дата обращения: 21.09.2022).
16. Черникова И.В., Логиновская Ю.В. О творческой сущности человека в контексте кризиса идентичности // Язык и культура. 2019. № 47. С. 93–110.
17. Букина Е.Е. Правовая деалиенация как основа благополучия человека // Вестник науки Сибири. 2015. № 4 (19). С. 23–30.
18. Цифровая грамотность. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/540/> (дата обращения: 02.08.2022).
19. Вынужденная цифровизация: исследование цифровой грамотности россиян в 2021 году. URL: <https://nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-tsifrovizatsiya-issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-v-2021-godu/> (дата обращения: 02.08.2022).
20. Оценка цифровой готовности населения России [Текст] : докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Н.Е. Дмитриева (рук. авт. кол.), А.Б. Жулин, Р.Е. Артамонов, Э.А. Титов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 86 с.
21. Уровень владения цифровыми навыками по странам <https://issek.hse.ru/news/377859466.html> (дата обращения: 10.09.2022).
22. Цифровая грамотность: путь России. URL: <https://ridl.io/cifrovaja-gramotnost-put-rossii/> (дата обращения: 10.09.2022).

References

1. Feng, Y., Chang, C. & Ming, H. (2017) Engaging mobile data to improve human well-being: The ADL recognition approach. *IT Professional*. pp. 1–1. [Online] Available from: 10.1109/MITP.2017.265111034.
2. Floridi, L. (2014) *The Fourth Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
3. Khoury, M.J. & Ioannidis, J.P.A. (2014) Big data meets public health. *Science*. 346(6213). pp. 1054–1055.
4. Calvo, R.A. & Peters, D. (2014) *Positive computing: Technology for wellbeing and human potential*. Cambridge: MIT Press.
5. Peters, D., Calvo, R.A. & Ryan, R.M. (2018) Designing for motivation, engagement and well-being in digital experience. *Frontiers in Psychology*. 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00797
6. Keijzer-Broers, W., Florez-Atehortua, L. & Reuver, M.D. (2016) Prototyping a health and wellbeing platform: An action design research approach. *49th Hawaii International Conference on System Sciences*. pp. 3462–3471.
7. Skidan, O.P. (2021) Anthropological aspects of the digital transformation of society: Articulating the problem. *Vestn. Sev. (Arktich.) feder. un-ta. Ser.: Gumanit. i sots. nauki – Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Humanitarian and Social Sciences*. 21(5). pp. 105–117. (In Russian). DOI: 10.37482/2687-1505-V136
8. Oxford Economics. (2019) *Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World*. [Online] Available from: <https://releases/digital-society-index-2019-human-needs-in-a-digital-world> (Accessed: 20th December 2021).
9. KPMG Digital Trust. [Online] Available from: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/digital-trust.pdf> (Accessed: 21st December 2021).
10. Giddens, A. (1994) Sud'ba, risk i bezopasnost' [Fate, risk and safety]. *THESIS*. 5. pp. 107–134.
11. Fukuyama, F. (2008) *Doverie: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu* [Trust: Social Virtues and The Path to Prosperity]. Translated from English. Moscow: AST.
12. Aseeva, I.A. & Belkina, V.A. (2022) Criteria and indicators of anthropological adequacy of digitalization in Russia. *Naukovedcheskie issledovaniya – Science Studies*. 1. pp. 8–44. (In Russian). DOI: 10.31249/scis/2022.01.01
13. Zotov, V.V., Aseeva, I.A., Budanov, V.G. & Belkina, V.A. (2022) Converting the sociotechnical convergence hazards into the risks of digitalisation. *Tsifrovaya sotsiologiya – Digital Sociology*. 5(2). pp. 4–20. (In Russian). DOI: 10.26425/2658-347X-2022-5-2-4-20
14. FOM. (2012) *Grazhdanskaya aktivnost' v internete* [Civic activity on the Internet]. [Online] Available from: <http://fom.ru/SMI-i-internet/10622> (Accessed: 21st December 2021).
15. Voynolovich, A. (2022) *Samyy svezhiy ochet Digital 2022 Global Overview* [The most recent Digital 2022 Global Overview Report]. [Online] Available from: <https://vc.ru/marketing/383351-samyy-svezhiy-otchet-digital-2022-global-overview> (Accessed: 21st September 2022).
16. Chernikova, I.V. & Loginovskaya, Yu.V. (2019) O tvorcheskoy sushchnosti cheloveka v kontekste krizisa identichnosti [On the creative essence of man in the context of the identity crisis]. *Yazyk i kul'tura*. 47. pp. 93–110.
17. Bukina, E.E. (2015) Pravovaya dealienatsiya kak osnova blagopoluchiya cheloveka [Legal dealienation as the basis of human well-being]. *Vestnik nauki Sibiri – Siberian Journal of Science*. 4(19). pp. 23–30.
18. Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation. (2019) *Tsifrovaya gramotnost'* [Digital Literacy]. [Online] Available from: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/540/> (Accessed: 2nd August 2022).
19. NAFI Research Center. (2021) *Vynuzhdennaya tsifrovizatsiya: issledovanie tsifrovoy gramotnosti rossiyan v 2021 godu* [Forced digitalization: A study of digital literacy of Russians in 2021]. [Online] Available from: <https://nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-tsifrovizatsiya-issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-v-2021-godu/> (Accessed: 2nd August 2022).
20. Dmitrieva, N.E., Zhulin, A.B., Artamonov, R.E. & Titov, E.A. (2021) *Otsenka tsifrovoy gotovnosti naseleniya Rossii* [Assessment of the digital readiness of the population of Russia]. Moscow: HSE.
21. Leven E.I. & Suslov, A.B. (2020) *Uroven' vladeniya tsifrovymi navykami po stranam* [Level of digital skills by country]. [Online] Available from: <https://issek.hse.ru/news/377859466.html> (Accessed: 10th September 2022).
22. Ridl.io. (n.d.) *Tsifrovaya gramotnost': put' Rossii* [Digital Literacy: The Way of Russia]. [Online] Available from: <https://ridl.io/cifrovaja-gramotnost-put-rossii/> (Accessed: 10th September 2022).

Сведения об авторе:

Асеева И.А. – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям, Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва, Россия). E-mail: irinaaseeva2011@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Aseeva I.A. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, leading researcher at the Center for Scientific and Information Research on Science, Education and Technology, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: irinaaseeva2011@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.10.2022;

одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023

The article was submitted 10.10.2022;

approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 141

doi: 10.17223/1998863X/71/15

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ В РОССИИ 90-х гг. XX в. – ДВУХ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XXI в. (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ)

Владимир Иванович Красиков

*Государственный институт театрального искусства, Москва, Россия;
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
Москва, Россия, KrasVladIv@gmail.com*

Аннотация. Приводится обзор исследовательской литературы, посвященной анализу сферы неформального философствования в России последнего тридцатилетия. Репрезентированы как обобщающие, сводные исследования интеллектуальной жизни и неинституционального философствования в современной России, так и работы, рассматривающие особенности теоретических платформ, механизмы функционирования, перипетии коммуникации и соперничества между собой самостоятельных философских групп.

Ключевые слова: неинституциональное философствование в современной России, философская самоидентичность, самостоятельные философские группы

Для цитирования: Красиков В.И. Неинституциональное философствование в России 90-х гг. XX в. – двух первых десятилетий XXI в. (исследовательское обозрение) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 149–163. doi: 10.17223/1998863X/71/15

Original article

NON-INSTITUTIONAL PHILOSOPHY IN RUSSIA IN THE 1990S – THE FIRST TWO DECADES OF THE 21ST CENTURY (RESEARCH REVIEW)

Vladimir I. Krasikov

*Russian Institute of Theatre Arts, Moscow, Russian Federation;
All-Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation,
KrasVladIv@gmail.com*

Abstract. The proposed article is an analytical review of Russian research on non-institutional philosophizing in the last decade of the past century and the first decades of this century. Non-institutional philosophizing is the development of teachings and concepts by some professional philosophers outside the institutional and corporate framework of the academic or educational system, in their amateur formations. Thus, in the article, I consider non-institutional philosophizing, which necessarily has textual forms of self-presentation, in the collective forms of circles, seminars and websites. Some of the university professors of philosophy in modern Russia demonstrate uncertainty, disbelief and evasiveness in their self-determination. Researchers call this “escaping from philosophical self-identity” and seek to find out its causes. One can state a clear increase in interest in the analysis of the characteristics and content of the amateur activity of Russian intellectuals. They have been studied in a number of summarizing works of a survey and encyclopedic nature. Of particular interest is research literature, which focuses on the conceptual features and specifics of theorizing of

today's amateur philosophical groups and their leaders. Philosophizing is also common in Runet. There are interesting philosophical sites here, which can be called a truly new form of communication. These are philosophical clubs and amateur communities within the framework of the so-called "live journals". So, I believe that a fairly significant number of interesting works have already appeared in the domestic scientific literature that are very promising for their use as a methodological and information resource for a subsequent study of new, rapidly developing theoretical practices.

Keywords: non-institutional philosophizing in modern Russia, philosophical self-identity, amateur philosophical groups

For citation: Krasikov, V.I. (2023) Non-institutional philosophy in Russia in the 1990s – the first two decades of the 21st century (research review). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 149–163. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/15

Введение

Как известно, университеты исследовательского типа появились в Германии XIX в., в которых академическая карьера и занятие институциональных должностей напрямую ставились в зависимость от творческих усилий и конкуренции. И некоторые преподаватели философии наряду с обучением получили возможности разрабатывать и свои оригинальные концепции. Таким образом, относительно недавно философия стала массовой образовательной дисциплиной, приобретая академический статус, однако заплатила за это соответствующую цену, потеряв свою общественную значимость и влияние, столь свойственные ее прежним историческим формам.

Как следствие, современные философы, особенно в нашей стране, большая часть которых являются преподавателями высшей школы или сотрудниками академических институтов, затрудняются однозначно определить свой сегодняшний профессиональный и экзистенциальный статус. Они живут во времена стремительного распада книжной культуры, смены медиумов коммуникации, аудиовизуального поворота и явного снижения абстрагирующе-рефлексивного качества мышления. Соответственно, они уже не могут выполнять в прежней форме свои традиционные функции культивирования и трансляции концептуального опыта поколений и им все труднее создавать новые тексты, интересные для массового потребителя.

Вряд ли стоит констатировать «смерть философии», как это делали уже многие ранее. Вероятно, речь должна идти лишь о радикальном изменении ее форм бытования и развития. Нельзя сказать, что люди не интересуются философией вообще, скорее они уже безразличны к ее прежним формам выражения и изложения, которые сложились в рамках речевой и письменной культуры. Напротив, мы можем наблюдать неподдельный интерес, в том числе и молодых интеллектуалов, к неакадемическим темам философствования, новым понятиям и яркому образному языку выражения вечных вопросов. И видим мы это, увы, зачастую не в стенах высших образовательных учреждений, регламентированных образовательными стандартами, и не в академических институтах, а в увлекательной деятельности неформальных сообществ некоторых профессиональных философов, которые четко различают «государственную службу» и «реальное философствование». Значит, многие люди по-прежнему стремятся философски решать свои насущные проблемы, однако сама философия при этом обретает новые формы своего

бытования. И наиболее проницательные наблюдатели интеллектуальных процессов, происходящих в последние тридцать лет в российском обществе, уже выявляют и проницательно анализируют эти процессы.

Еще известные философские диссиденты XIX в. С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше выдвинули идею неинституционального творческого философствования в противоположность «официальной, учебно-университетской» философии. Однако даже их предшественника, И. Канта, который был штатным университетским профессором, мы также можем причислить к неинституциональным философам по критерию его собственной «критической философии». В конце концов, он «преподавал различные предметы по учебникам, написанным другими, и увековечивал свою философию в книгах, которые никогда не составляли предмет или основу его обучения» [1. С. 63].

Не будем забывать и о том, что внеинституциональное философствование также есть постоянный персонаж истории русской философии. Достаточно вспомнить журналистскую философию XIX в. и философствование начала XX в. Мы также постоянно имеем в виду, что титульные и культовые фигуры русской философии, такие как Петр Чаадаев, ранние славянофилы, Николай Федоров, Николай Бердяев, Лев Шестов, Василий Розанов, Павел Флоренский и другие, не были философами ни по образованию, ни по служебному положению или по роду занятий.

В современной ситуации относительной академической свободы люди имеют более широкие возможности для произвольной самоидентификации. Для того чтобы провозгласить себя философом, нет нужды предъявлять диплом об окончании философского факультета. Дабы претендовать на звание философа нужно лишь предъявить для критического обсуждения свои идеи. Но для этого также нет нужды обращаться к государственным академическим журналам или издательствам, как было прежде. Достаточно разместить тексты в интернете, можно издавать книги в любом издательстве, организовывать конференции, открывать философские факультеты, кафедры или же просто кружки единомышленников. Это и есть основания современных возможностей неинституционального философствования. Конечно же, авторы, издающие свои тексты или же размещающие их в интернете, могут обладать разной степенью профессиональной или же самостоятельной философской подготовки, владеть в разной степени навыками академического письма и опытом подготовки научно-рациональных произведений. И даже если в этом появившемся обилии философских и, возможно, псевдофилософских текстов мы сможем найти не столь много полезного и интересного, все же это свидетельствует о явном оживлении философствования, очередном всплеске пыливости людей в отношении «вечных вопросов».

Теоретические рамки исследования

В российской философской литературе мы нечасто можем встретить исследования феномена неинституционального философствования – именно как универсального, имманентного феномена историко-философского процесса. Хотя в проблемно-постановочном виде сходные темы ранее уже разрабатывались некоторыми отечественными философами-нонконформистами. Так, М. Мамардашвили в духе своего варианта экзистенциализма полагал, что философия – не профессия, это, скорее всего, особый способ существова-

ния. Он приводил примеры независимого философствования П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева как автономной философской сферы, т.е. рефлексии, появляющейся вне рамок социального патернализма университетов. Именно эти философы и осуществляли акты «реального философствования» [2].

Позднее В. Подорога утверждал, что настоящее самородное философствование – крайне редкое социальное явление. Заниматься настоящей философской работой достаточно сложно. Философ, прежде всего, продуцирует интегративные генеральные образы и не связан со специализацией. Современная же философия в России существует в виде академических специальных форм, и ее интеллектуальное пространство разбито на небольшие группы, между которыми практически отсутствуют взаимопонимание и коммуникация [3]. В. Подорога полагает, что классическая системная философия или всеобщий философский дискурс – это пережиток скорее XIX в. Мы можем вновь наблюдать ситуацию противостояния сообщества университетских философов-преподавателей и «свободных мыслителей», в основе которой лежит борьба за власть над распределением важных ресурсов. Соответственно, можно говорить о появлении нового интеллектуального типажа мыслителя, появляющегося вне установившихся иерархий и институций, способного к продуцированию идей [4].

Почему в статье используется термин «философствование», а не «философия»? Его применение индицирует лишь ту часть философов, которые продуцируют оригинальные идеи, а не заняты исключительно трансляцией межпоколенного концептуального опыта, т.е. преподаванием. И не важна степень оригинальности и качества подобного нового генерируемого знания. Главное, что его творцы видят сам процесс как для них жизненно-смыслообразующий. Они мотивируются к творчеству не целями и программами той или иной образовательной или же академической институции, соответственно, служебными обязанностями и дисциплиной, а в основном личными устремленностями к самореализации и к полаганию идеалистических проектов. Они же могут становиться центрами групповых консолидаций разных масштабов.

Эти философы могут быть как членами государственных институций, образовательных и академических, так и не быть преподавателями или же научными работниками. Нам важен не их официальный статус, а их философствование вне контекста их официальных обязанностей и деятельность по распространению его результатов – в отличие от «философии» как нормированной и запрототолированной (госинституциями) деятельности в образовательной и академической деятельности.

Другие важные термины, которые следует прояснить, это «институциональное» и «неинституциональное». В статье мы употребляем их в следующем суженном значении: *институциональное* – это социально-организационные явления, создаваемые и поддерживаемые государством. Субъектом институционализации здесь выступает государство. Эти институты подчинены и реализуют, прежде всего, государственные цели (господствующей в политико-мировоззренческом отношении группы). То же самое и в образовательно-академической сфере: преподавание и научная деятельность в существенной степени здесь лимитированы и стандартизованы соответственно определенно понимаемым унифицированным целям и смыслам. Степени

унификации и стандартизации зависимы от традиций и жесткости властной вертикали, культурных условий. Разумеется, существуют и другие прецеденты организации образования и науки. Ярким тому примером можно считать модель исследовательского университета, появившейся благодаря усилиям Вильгельма фон Гумбольдта, в которой основными принципами были серьезная автономия академической сферы и внутренняя состязательность. В ней устанавливалась обязательность авторских концепций для занятия внутриинституциональных позиций и суверенность в определении смыслов и заслуг. Лишь в подобном социально и культурно автономном пространстве Г. Гегель мог читать студентам свои многочисленные именно авторские курсы, хотя и малодоступные в своей тяжеловесности для большинства внимающих (по свидетельствам очевидцев). Своего рода максимализацию подобных принципов мы можем видеть и в некоторых современных американских университетах, где отсутствуют столь знакомые нам федеральные образовательные стандарты, а властвует бескрайний плюрализм авторских спецкурсов. У нас же, как известно, дело обстоит с точностью до наоборот. Поэтому в статье мы вкладываем в обозначение «институциональная философия» следующий основной смысл – это унифицированное и нормированное преподавание, равно как и такая же академическая деятельность, но тоже по своим стандартам.

Напротив, те социально-организационные формы деятельности, в которых инициаторами являются отдельные люди и группы, мы полагаем *неинституциональными*, разумеется, лишь по отношению к государственным институтам. Различного рода сообщества, ассоциации, семинары, кружки, короче говоря, добровольные самодеятельные объединения в широком плане ведь также можно считать какими-то социальными институтами, для того и необходимы предварительные методологические прояснения. Но они «неинституциональны» по отношению к привилегированным институтам. Соответственно, не так важно, что многие фигуранты нашего исследования формально – институциональные философы, преподаватели и научные работники. Важно, что они помимо и сверх того ведут систематично, так сказать, параллельный образ жизни: занимаются иным философствованием нежели содержание федеральных образовательных и иных стандартов, объединяются в неформальные группы.

Вместе с тем нужно отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит настаивать на существовании жестких разделительных линий между институциональной и неинституциональной философией. Начиная с того же Канта, содержание преподаваемых курсов и собственное философствование зачастую не совпадали и не совпадают. Так оно и остается во многих случаях и во многих странах, в силу обстоятельств жесткой централизации образовательных и академических институтов в них. Однако и в подобных форматах институционализации некоторые харизматичные и удачливые авторы оказываются способными к институциональному встраиванию своих учений в существующие образовательные и академические структуры¹. Тем самым известная доля неинституционального философствования со временем институционализируется. Потому в качестве рассматриваемых здесь персон – неинституциональных

¹ Центр синергийной антропологии С. Хоружего как подразделение ВШЭ или же сектор аналитической антропологии Института философии РАН, который возглавлял В. Подорога.

философов в обозначенном нами смысле – мы увидим не только публицистов, литераторов, медиадеятелей, но и представителей традиционных образовательных и академических институций.

Итак, предметом нашего рассмотрения здесь являются исследования отечественными мыслителями российского неинституционального философствования. *Неинституциональное философствование* – это разработка концептуальных проектов (теорий, учений, комплекса идей и пр.) как частью профессиональных философов, но вне их институционально-корпоративных рамок, так и непрофессиональными философами – в рамках их самостоятельных организационных образований. В обоих случаях мы рассматриваем неинституциональное философствование в *коллективных формах* кружков, семинаров и сайтов, которое обязательно имеет *текстовые формы самопрезентации*. Объектом же можно назвать ситуацию в российском неинституциональном философствовании последних трех десятилетий.

Обсуждение

Философы в России позднесоветского и постсоветского периодов занимались в основном преподавательской деятельностью, ключевым смыслом которой являлось сохранение и передача определенного культурного стандарта мышления, а не поиск его новых форм. Вследствие этого, некоторые из них проявили неспособность осваивать новые международные практики мышления и концептуальные средства их выражения, замкнулись в своих старых привычных схемах. И многие из них понимают эти свои затруднения как ненужность философии современным людям, высказывают глубокое разочарование в современной жизни.

Один из немногих исследователей, занимающихся вопросом профессиональной философской самоидентичности, С. Лишаев констатирует, что университетские преподаватели философии в современной России демонстрируют неопределенность, неверие и уклончивость в своем самоопределении. Он называет это «бегством от философской самоидентичности». Отметим, что это именно уклонение, а не прямой отказ. Они позиционируют себя только как специалистов в конкретной области философского знания или же просто как преподаватели. Объяснения же подобного уклонения следующие: недостижимость для «простого смертного» классических образцов философии, окончание золотого века философии, осознание большой трудозатратности и малой отдачи самостоятельного философствования. С. Лишаев полагает эту ситуацию в современной философской среде имманентной эпохе и непреодолимой [5]. В. Семенов еще резче оценивает тенденцию к уклонению или даже отказу от философской идентичности, именуя ее «профессиональным инфантилизмом» [6]. К. Пигров видит причину подобных затруднений в противоречии между «сакральностью» философской самоидентификации в предшествующей истории и «приземленностью» профессии преподавателя философии в нынешней российской действительности [7].

На круглом столе философского факультета СПбГУ в 2005 г. ведущие философы Санкт-Петербурга предложили два варианта их видения возможного позитивного разрешения данной патовой ситуации. Согласно первому из них, философы должны вступать в альянсы с другими гуманитариями для преодоления своей изолированности, а именно: с философскими антрополо-

гами, культурологами, прикладными этиками и эстетиками. Второй вариант ориентирует на выход профессиональной философии в другие общественные сферы, где возможно философствование. Он должен формировать новые пространства обсуждения и свои новые роли, к примеру: свободного писателя; «терапевта метафизических смыслов», занимающегося выстраиванием определенного порядка в экзистенциальных ориентациях и ожиданиях людей; методолога науки; переводчика философской литературы и т.п. [8].

Из санкт-петербургских философов наиболее активно занимался осмыслением феномена «самодеятельной философии» К. Пигров. Он разработал концепцию, основные тезисы которой сходны с сократовско-экзистенциалистским пониманием сути философии. Философствование, как утверждает он, это базовая радость человека, яркое выражение врожденного «вкуса к философствованию» и возводит явление «философского призвания» еще к ментальности осевого времени. Философ тогда культивировал свободу и независимость своего мышления, духовный аристократизм, делающий упор не на корпоративном единомыслии, а на формировании способности мыслящего человека к самоопределению [9]. К. Пигров называет философствование важнейшим антропологическим качеством, которое реализуется в поиске и обретении двух высоко желательных состояний, а именно: преодоления онтологического страха, достижения атараксии или «высокого покоя» и артикулирование своей самоидентификации [10].

М. Эпштейн обращает внимание на особый характер русского философствования, носящего живой характер, соединяющего абстрактность, душевность и телесность, науку и поэзию, критику и фантазию, анализ и синтез, историчность и утопизм. Он подчеркивает «самодеятельный» характер российского философствования как выражение недостаточного продвижения по пути профессионализации, отсюда и сохранение первозданного синкретизма, схожего с античным Симпосионом. Он напоминает, что традиция и опыт подобного философствования во многом утрачены на Западе, где философия, особенно в англоязычной традиции, приобрела характер лишь аналитической интеллектуальной деятельности. Потому российский духовный опыт он называет *Filosofia*, в отличие от западной *Philosophy* [11].

Г. Тульчинский предлагает иное, более широкоформатное объяснение повсеместного присутствия неформального философствования, чем только историческое следствие темпов рационализации и профессионализации. Он интерпретирует философию не как вид рационального, обобщенного знания, а как специфический вид активности людей, идентифицирующих себя как философов. Это индивиды, особо склонные к обобщениям и рефлексии, но реализующие себя в широкой гамме средств выражения от фольклора, особенно жизненного стиля – вплоть до рациональной схематизации. Соответственно, он говорит о «левополушарном», словесном философствовании и «правополушарном», реализуемом с помощью иконических знаков, а именно схем, рисунков, изображений. Он заявляет, что следует говорить о разных типах философской мысли, а именно о живом философствовании как многообразном и разнообразном в своей жизненной полноте осмыслении мира и философии как рациональной систематизации философствования. Мощный стимул и фактор развития философской мысли есть взаимодействие и взаимопереход этих типов. При этом особенность истории русской филосо-

фии – это перманентная институционализация неинституциональной философии [12].

Есть и более специализированные работы, в которых их авторы исследуют неинституциональное философствование в более широких контекстах. К примеру, Е. Карчагин в рамках своей диссертации предложил классификацию, в которую включил следующие виды философствования, а именно дилетантское обыденное философствование, высокое обыденное философствование в рамках других профессий, низкое профессиональное философствование, высокое профессиональное философствование, низкое самодеятельное философствование и мастерское самодеятельное философствование [13].

Исследования общих особенностей неинституционального философствования в постсоветской России

Следует отметить, что изыскания относительно тематики и состава современного российского философского сообщества довольно немногочисленны, еще меньше их – в отношении неинституционального философствования. Екатеринбургская, Петербургская и Московская школы современной историографии русской философии не распространяют, как правило, свои исследования за рубеж Советской России [14].

Некоторые исследователи радикально-либерального толка вообще заявляют о деградации современной русской философии в сравнении актуальности тем и методологического уровня западной философии. Отечественная философия «провинциальна и туземна» [15, 16].

Недавно к этой тематике вернулся, однако в совершенно ином мировоззренческом настрое, видный новосибирский философ Н. Розов. И хотя формально он говорит о сибирской философии, эти же характеристики вполне применимы и к общероссийскому уровню отечественной философии. Философия в Сибири (России) оказывается в состоянии экзистенциальной «заброшенности», ей еще только предстоит выстроить свой авторский жизненный проект. Для сибирской (российской) философии характерна недостаточность собственного накопленного общего интеллектуального ресурса (культурного капитала). Сегодня она – это преимущественно философия одиночек и кружков, которые разобщены, лишены общего пространства и фокуса интеллектуального внимания. Эти группы не ведут необходимых для самоконституирования дискуссий друг с другом. Здесь доминирует провинциализм (ориентация на западные философские центры), ожидаемо крепкие позиции занимает туземство (философские самодовольство и самоуспокоенность) [17. С. 12, 15–16].

Вполне ожидаемо, подобные суждения вызвали повышенное внимание и полемический задор. В. Кудашов объявил это «социологическим редукционизмом», сведением философской деятельности к социальным отношениям статуса, стратификации, философской инфраструктуры [18. С. 40]. Напротив, В. Сыров призвал честно признать свою вторичность и периферийность, использовать для самоутешения опыт постколониальных исследований [19. С. 64].

По-иному, более оптимистично настроен другой спектр исследований анализа особенностей и содержания самодеятельной активности российских интеллектуалов. Так, следует отметить комплексное исследование основных тенденций современной русской философии, во всем ее диапазоне, представ-

ленное в 18 статьях специального выпуска англоязычного журнала *Studies in East European Thought* [20]. При этом стоит обратить внимание на краткие комментарии к этим статьям ряда современных действующих российских философов, таких как В. Савчук, Ф. Гиренок и др.

В 2006–2008 гг. фонд «Наследие Евразии» инициировал ряд проектов, посвященных междисциплинарному исследованию феномена интеллигенции и интеллектуалов в современной России. В итоге авторский коллектив под руководством В. Куренного выпустил серию коллективных монографий [21–23]. Следует отметить обилие социологического материала в виде многочисленных интервью со столичными и региональными интеллектуалами, некоторые интересные обобщения. Вместе с тем эти работы посвящены скорее анализу чувств и рефлексий интеллектуально активных людей в России, нежели философствующим субъектам.

Ведущие философы, институциональные и неинституциональные, обсудили злободневную тему «Философия в постсоветскую эпоху и угроза масс-медиа» в рамках «Открытых семинаров „Полит.ру“». Они отметили, что в 1990-е гг. институты легитимации в отечественной философии были трансформированы и констатировали, что сегодня в России отсутствует общее поле интеллектуального внимания, философское сообщество крайне фрагментировано, а легитимация существует лишь на уровне группы, кружка [24].

В 2009 г. М. Соболева отредактировала и опубликовала книгу текстов современных российских мыслителей, содержащую их понимание современного философского процесса [25]. Каждый автор рассказывал что-то о философии и о самом себе. Это были как неинституциональные философы, так и мэтры академического философского дискурса: религиозная философия В. Белова, российское кантоведение С. Чернова и А. Круглова, размышления о модерне в русской философии Б. Губмана, рефлексии о феномене философии в России и мире С. Хоружего, А. Гусейнова, В. Лекторского и др.

Н. Рябчун, Н. Ростова и Ф. Гиренок запустили с 2008 г. издательский проект «Современная русская философия» под эгидой кафедры философской антропологии МГУ. Авторы проекта выпустили 11 книг с целью познакомить российскую публику с действующими ныне философскими личностями. Мы можем встретить на страницах этих книг как произведения авторов серии, так и других философствующих интеллектуалов [26].

А. Нилов предпринял выдающиеся усилия для реализации проекта, посвященному анализу именно современной отечественной неинституциональной философии, который продолжался более 10 лет и воплотился в трех томах книги «Кто сегодня делает философию в России» [27–29]. Автор составил книги из серии интервью и манифестов нескольких десятков современных отечественных интеллектуалов. Он предполагал, что реальную, т.е. яркую, самобытную и интересную философию в современной России делает в основном ряд мыслителей вне академических и образовательных институций. Однако субъективизм автора превратил проект скорее в интеллектуальную беллетристику, нежели научное исследование. Так, он поместил в один ряд разных людей, и не только философов, но и художественных, поэтических и мистических личностей, довольно далеко стоящих от философского дискурса. Это, конечно, не отменяет серьезную значимость его труда.

П. Алексеев редактировал и неоднократно переиздавал энциклопедический словарь «Философы России XIX–XX столетий», содержащий в том числе информацию о направлениях и персоналиях российской философской культуры последнего десятилетия XX в. [30]. Вместе с тем следует иметь в виду, что это издание готовилось, а затем и дополнялось в основном благодаря информации, присылаемой самими же фигурантами словаря.

Также следует отметить ряд авторов, посвятивших свои работы рассуждениям о тех или иных аспектах современной философской ситуации в стране [12, 31–33].

О философской составляющей Рунета

Трудно объять необъятное, сказать определенно и точно о философствовании в Рунете. Уже появились первые обобщения относительно развития философской составляющей Рунета, но в основном касающиеся скорее текстовых ресурсов (онлайн-библиотек, философских журналов) [34–37].

Если же говорить о живом онлайн-творчестве, то мы предполагаем, что самые может быть интересные философские сайты, которые можно назвать действительно новой формой коммуникации – это философские клубы, самодеятельные сообщества в рамках так называемых живых журналов. В качестве примера философского интернет-клуба мы можем привести проект, созданный Иваном Шкуратовым. В ходе его реализации он организовал своего рода «правление» или девять полноправных членов, своего рода «академиков» во главе с администратором, и институт «кандидатов» в члены. Академики экспертировали темы обсуждения, кандидаты доказывали свою квалификацию. Они вели философский журнал, имели форум, публиковали свои статьи, сейчас деятельность клуба приостановлена.

В 2006 г. тот же Иван Шкуратов провел исследование, в рамках которого опросил на разных интернет-площадках 662 человека, высказавших заинтересованность в философских проблемах. Он получил итоги, отчасти проясняющие распределение предпочтений пользователей по отношению к популярным именам в истории философии а также о гендерном, возрастном, социальном и образовательном статусе российских любителей философии в интернет-пространстве [38].

Тип «философского сообщества» мы можем проиллюстрировать, приведя пример интернет-образования под названием «Философский штурм». Модераторы сайта тематически разделили его на две секции: философскую и гуманитарную, пользователи оставляют здесь свои записи. Любители философии пишут в первую секцию, выбирающие разнообразные темы от «истории философии» до «философского творчества». Те, кого волнуют эти темы, обсуждают их и по ним ведется статистика активности пользователей [39].

В рамках жанра «живых журналов» мы нашли довольно много сообществ, хотя их прежняя популярность и осталась в прошлом. Было обнаружено порядка десятка чисто философских сообществ: «истинная философия», «политическая философия», «общество», «форум философия», «актуальная философия», «когнитивные науки», «первокурсники философского факультета МГУ» и т.п. [40]. Недавно Санкт-Петербургский философ Владимир Климентьев создал интернет-сообщество «для освоения философии через

первоисточники» и пригласил заинтересованных лиц дать интервью о призывании к преподаванию философии [41].

Заключение

Итак, мы считаем, что в российской научной литературе появился уже довольно значимый пул интересных работ, которые весьма перспективны для их использования в качестве методологических и информационных ресурсов для последующих исследований новых, стремительно развивающихся теоретических практик. В результате мы можем сделать вывод, что неинституциональный философский дискурс, производимый той частью профессиональных философов, деятельность которых мотивируется целями не только институциональными, но и личностно-экзистенциальными предпочтениями, является одним из основных генераторов оригинального развития русской мысли, ментальным резонатором глубоких изменений в общественном сознании.

Список источников

1. Шнайдер У.И. Преподавание философии в немецких университетах в XIX веке // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 61–90.
2. Мамардашвили М.К. Мысль под запретом (беседы с А.Э. Эпельбуэн) // Вопросы философии. 1992. № 5. С. 100–115.
3. Подорога В.А. Философия и литература. Стенограмма лекции, прочитанной 24 марта 2005 года в клубе – литературном кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру» // Сайт. Полит.ру. Лекции. URL: <https://polit.ru/article/2006/07/28/podoroga/> (дата обращения: 15.09.2022).
4. Подорога В.А. Философия и литература: проблема взаимных отношений // Вопросы философии. 2009. № 9. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=52 (дата обращения: 15.09.2022).
5. Лишаев С.А. Неуверенная идентичность (самосознание философа в современной России) // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2014. № 2 (16). С. 3–24.
6. Семенков В.Е. Философское знание: модусы производства и признания. СПб. : Алетея, 2011.
7. Пигров К.С. Шепот демона: опыт практической философии. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2007.
8. Философия как профессия. Материалы круглого стола, состоявшегося на философском факультете СПбГУ 20.06.2005. СПб. : Сайт Web-кафедры философской антропологии, 2005. URL: <http://anthropology.ru/tu/edition/filosofiya-kak-professiya-philosophie-als-beruf> (дата обращения: 15.09.2022).
9. Пигров К.С. Феномен самостоятельной философии в Санкт-Петербурге // История культуры Петербурга и современность : материалы межвуз. науч.-практ. конф. 30 июня 2005 г. СПб., 2006. С. 57–61.
10. Пигров К.С. Профессионалы и самостоятельные философы: к развитию рецептивной философии // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8, вып. 3 (31). С. 106–130.
11. Эпштейн М.Н. Истоки и смысл русского постмодернизма // Звезда. 1996. № 8. С. 166–188.
12. Тульчинский Г.Л. Философская культура и способы философствования // Философские науки. 2011. № 11. С. 65–76.
13. Карчагин Е.В. Человек как философ: субъектно-деятельностный анализ : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Волгоград, 2007.
14. Черноскутова Л.Б. Основные идеи и направления современной историографии русской философии : дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2010.
15. Глостанова М. Существует ли постсоветская мысль? О колониальности знания, внешнем имперском и двойном колониальном различиях. 23.09.2015. Сайт Гефтер. URL: <http://gefter.ru/archive/16006> (дата обращения: 15.09.2022).

16. Соколов М., Тутаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.
17. Розов Н.С. Сибирская философия перед интеллектуальным вызовом: преодолеть «провинциализм» и «туземство» // Идеи и идеалы. 2020. Т. 12, № 1, ч. 1. С. 11–31. doi: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-11-31
18. Илларионов Г.А., Кудашов В.И. Прагматический проект сибирской философии: pro et contra // Идеи и идеалы. 2020. Т. 12, № 1, ч. 1. С. 39–56. doi: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-39-56
19. Сыров В.Н. Некоторые соображения по поводу идей Николая Розова // Идеи и идеалы. 2020. Т. 12, № 1, ч. 1. С. 62–66. doi: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-62-66
20. *Special Issue on Philosophy in Russia Today* // *Studies in East European Thought*. 2014. Vol. 66, is. 3–4. P. 163–330. URL: <https://link.springer.com/journal/11212/volumes-and-issues/66-3> (accessed: 15.09.2022).
21. *Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных направлений* / под общ. ред. В.А. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006.
22. *Интеллектуально-активная группа* / под общ. ред. В.А. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2008.
23. *История и теория интеллигенции и интеллектуалов* / под общ. ред. В.А. Куренного. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2009.
24. *Философия в постсоветскую эпоху и угроза масс-медиа. Открытые семинары «Полит.ру»*. URL: <http://polit.ru/article/2008/02/01/seminar/> (дата обращения: 15.09.2022).
25. *Российская постсоветская философия: опыт самоанализа* / под ред. М. Соболевой. München ; Berlin : Verlag Otto Sanger, 2009.
26. Рябчин Н.П. Издательский проект «Современная российская философия» // Библиография и книговедение. 2016. № 1 (402). С. 150–159.
27. *Кто сегодня делает философию в России. Т. I* / авт.-сост. А.С. Нилогов. М.: Поколение, 2007.
28. *Кто сегодня делает философию в России. Т. II* / авт.-сост. А.С. Нилогов. М.: Аграф, 2011.
29. *Кто сегодня делает философию в России. Т. III* / авт.-сост. А. Нилогов. М.: Сам Полиграфист, 2015.
30. *Философы России XIX–XX столетий. Биографии. Идеи. Труды* / под ред. П. Алексеева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1999.
31. Марков Б.В., Резник Ю.М. Философ и его мир // *Личность. Культура. Общество*. 2019. Т. XXI, вып. 1–2 (№ 101–102). С. 210–229.
32. Розов Н.С. Русская философия в поворотах истории: фатальна ли периферийность? // *Философия и общество*. 2016. № 3. С. 96–115.
33. Bazhanov V.A. Philosophy in Post-Soviet Russia (1992–1997): Background, Present State, and Prospects // *Studies in East European Thought*. 1999. Vol. 51 (3). P. 219–241.
34. *Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication* / by edit. M.S. Gorham, I. Lunde, M. Paulsen. London : Routledge, 2016. doi: 10.4324/9781315816470
35. DeBlasio Alyssa. Philosophy on the Early Russian Internet: 1994–2008 // *Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media*. 2020. № 20. P. 31–45. URL: <https://www.digitalicons.org/issue20/philosophy-on-the-early-russian-internet-1994-2008> (accessed: 15.09.2022).
36. Красиков В.И. Философия в Рунете: краткий экскурс // *Вестник КемГУКИ*. 2016. № 34. С. 109–116.
37. *Phenomen.Ru*. Online philosophy. URL: <http://phenomen.ru/> (accessed: 15.09.2022).
38. Шкуратов И. Философия в зеркале общественного мнения: исследование философских предпочтений пользователей Рунета. Сайт Феномен.ру. Философия онлайн. URL: <http://phenomen.ru/public/journal.php?article=28> (дата обращения: 15.09.2022).
39. *Философский штурм*. Совместное философское творчество. URL: <http://philosophystorm.org/tracker> (дата обращения: 15.09.2022).
40. *Философское сообщество ЖЖ*. URL: <http://ru-philosophy.livejournal.com/> (дата обращения: 15.09.2022).
41. *Философ & Я*. URL: <https://philosophiya.ru/> (дата обращения: 15.09.2022).

References

1. Shnayder, U.I. (2004) Prepodavanie filosofii v nemetskikh universitetakh v XIX veke [The Teaching Philosophy in German Universities in the 19th Century]. *Logos*. 3–4(43). pp. 61–90.

2. Mamardashvili, M.K. (1992) Mysl' pod zapretom (besedy s A.E. Epel'buen) [Thinking is forbidden (the conversations with A. E. Epel'buen)]. *Voprosy filosofii*. 5. pp. 100–115.
3. Podoroga, V.A. (2005) *Filosofiya i literatura. Stenogramma lektsii, pročitannoy 24 marta 2005 goda v klube – literaturnom kafe Bilingua v ramkakh proekta "Publichnye lektsii 'Po-lit.ru'"* [Philosophy and Literature. Transcript of a lecture given on March 24, 2005 in the Bilingua Literary Cafe Club as part of the project "Public Lectures 'Po-lit.ru'"]. [Online] Available from: <https://polit.ru/article/2006/07/28/podoroga/> (Accessed: 15th September 2022).
4. Podoroga, V.A. (2009) *Filosofiya i literatura: problema vzaimnykh otnosheniy* [Philosophy and Literature: The Problem of Mutual Relations]. *Voprosy filosofii*. 9. [Online] Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=52 (Accessed: 15th September 2022).
5. Lishaev, S.A. (2014) Neuverennaya identichnost' (samosoznanie filosofa v sovremennoy Rossii) [Insecure Identity (Self-Consciousness of a Philosopher in Modern Russia)]. *Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Seriya "Filosofiya. Filologiya"*. 2(16). pp. 3–24.
6. Semenov, V.E. (2011) *Filosofskoe znanie: modusy proizvodstva i priznaniya* [Philosophical Knowledge: Modes of Production and Recognition]. St. Petersburg: Aleteyya
7. Pigrov, K.S. (2007) *Shepot demona: opyt prakticheskoy filosofii* [Whispers of the Demon: An Experience in Practical Philosophy]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
8. Govorunov, A.V. et al. (2005) *Filosofiya kak professiya* [Philosophy as a Profession]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. [Online] Available from: <http://anthropology.ru/ru/edition/filosofiya-kak-professiya-philosophie-als-beruf> (Accessed: 15th September 2022).
9. Pigrov, K.S. (2006a) Fenomen samodeyatel'noy filosofii v Sankt-Peterburge [The phenomenon of amateur philosophy in St. Petersburg]. In: Zapesotsky, A.S. (ed.) *Istoriya kul'tury Peterburga i sovremennost'* [The History of the Culture of St. Petersburg and the Present]. St. Petersburg: St. Petersburg Himanitarian University of Trade Unions. pp. 57–61.
10. Pigrov, K.S. (2006b) Professionalny i samodeyatel'nye filosofy: k razvitiyu retseptivnoy filosofii [Professionals and Amateur Philosophers: Towards the Development of Receptive Philosophy]. *Lichnost'. Kul'tura. Obschestvo – Personality. Culture. Society*. 8(3-31). pp. 106–130.
11. Epstein, M. (1996) Istoki i smysl russkogo postmodernizma [The Origins and Meaning of Russian Postmodernism]. *Zvezda*. 8. pp. 166–188.
12. Tulchinsky, G.L. (2011) *Filosofskaya kul'tura i sposoby filosofstvovaniya* [Philosophical culture and ways of philosophizing]. *Filosofskie nauki*. 11. pp. 65–76.
13. Karchagin, E.V. (2007) *Chelovek kak filosof: sub'ektno-deyatel'nostnyy analiz* [Man as a Philosopher: A Subject-Activity Analysis]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Volgograd.
14. Chernoskutova, L.B. (2010) *Osnovnye idei i napravleniya sovremennoy istoriografii rus-skoy filosofii* [The Main Ideas and Directions of Modern Historiography of Russian Philosophy]. Philosophy Cand. Diss. St. Petersburg.
15. Tlostanova, M. (2015) *Sushchestvuet li postsovetetskaya mysl'? O kolonial'nosti znaniya, vneshnem imperskom i dvoynom kolonial'nom razlichii* [Is There a Post-Soviet Thought? On the Coloniality of Knowledge, External Imperial, and Double Colonial Differences]. [Online] Available from: <http://gefter.ru/archive/16006> (Accessed: 15th September 2022).
16. Sokolov, M. & Titaev, K. (2013) Provintsial'naya i tuzemnaya nauka [Provincial and Aboriginal Science]. *Antropologicheskii forum – Forum for Anthropology and Culture*. 19. pp. 239–275.
17. Rozov, N.S. (2020) Siberian Philosophy: an Intellectual Challenge to Overcome "Provincialism" and "Indigeneity". *Idey i ideal'y – Ideas and Ideals*. 12(1-1). pp. 11–31. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-11-31
18. Illarionov, G.A. & Kudashov, V.I. (2020) Pragmatic Project of Siberian Philosophy: Pro et Contra. *Idey i ideal'y – Ideas and Ideals*. 12(1-1). pp. 39–56. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-39-56
19. Syrov, V.N. (2020) Some Remarks on N. S. Rozov's Ideas. *Idey i ideal'y – Ideas and Ideals*. 12(1-1). pp. 62–66. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.1.1-62-66
20. Świderski, E. M. (ed.) (2014) *Special Issue on Philosophy in Russia Today. Studies in East European Thought*. 66(3-4). pp. 163–330. [Online] Available from: <https://link.springer.com/journal/11212/volumes-and-issues/66-3> (Accessed: 15th September 2022).
21. Kurennoy, V. (ed.) (2006) *Myslyashchaya Rossiya: kartografiya sovremennykh intelektual'nykh napravleniy* [Thinking Russia: Cartography of Contemporary Intellectual Trends]. Moscow: Fond "Nasledie Evrazii".
22. Kurennoy, V. (ed.) (2008) *Intellektual'no-aktivnaya gruppa* [Intelligently Active Group]. Moscow: Fond "Nasledie Evrazii".

23. Kurennoy, V. (ed.) (2009) *Istoriya i teoriya intelligentsii i intellektualov* [History and Theory of the Intelligentsia]. Moscow: Fond "Nasledie Evrazii".
24. Dobrokhotoy, A. et al. (2008) *Filosofiya v postsovetskuyu epokhu i ugroza mass-media* [Philosophy in the Post-Soviet Era and the Threat of the Mass Media]. February 1, 2008. [Online] Available from: <http://polit.ru/article/2008/02/01/seminar/> (Accessed: 15th September 2022).
25. Soboleva, M. (ed.) (2009) *Rossiyskaya postsovetskaya filosofiya: opyt samoanaliza* [Russian Post-Soviet Philosophy]. München-Berlin: Verlag Otto Sanger.
26. Ryabchun, N.P. (2016) Izdatel'skiy proekt "Sovremennaya rossiyskaya filosofiya" [Publishing Project "Contemporary Russian Philosophy"]. *Bibliografiya i knigovedenie*. 1(402). pp. 150–159.
27. Nilogov, A.S. (2007) *Kto segodnya delaet filosofiye v Rossii* [Who Makes Philosophy in Russia Today]. Vol. 1. Moscow: Pokolenie.
28. Nilogov, A.S. (2011) *Kto segodnya delaet filosofiye v Rossii* [Who Makes Philosophy in Russia Today]. Vol. 2. Moscow: Agraf.
29. Nilogov, A.S. (2015) *Kto segodnya delaet filosofiye v Rossii* [Who Makes Philosophy in Russia Today]. Vol. 3. Moscow: Sam Poligrafist.
30. Alekseev, P. (ed.) (1999) *Filosofy Rossii XIX–XX stoletiy. Biografii. Idei. Trudy* [Philosophers of Russia of the 19th – 20th centuries. Biographies. Ideas. Proceedings]. Moscow: Akademicheskiiy proekt.
31. Markov, B.V. & Reznik, Y.M. (2019) *Filosof i ego mir* [The Philosopher and His World]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo*. XXI (101–102). pp. 210–229.
32. Rozov, N.S. (2016) Russkaya filosofiya v povorotakh istorii: fatal'na li periferiynost'? [Russian Philosophy at the Turns of History: Is Peripherality Fatal?]. *Filosofiya i obshchestvo*. 3. pp. 96–115.
33. Bazhanov, V.A. (1999) Philosophy in Post-Soviet Russia (1992–1997): Background, Present State, and Prospects. *Studies in East European Thought*. 51(3). pp. 219–241.
34. Gorham, M.S. & Lunde, I. (eds) (2016) *Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication*. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315816470
35. DeBlasio, A. (2020) Philosophy on the Early Russian Internet: 1994–2008. *Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media*. 20. pp. 31–45. [Online] Available from: <https://www.digitalicons.org/issue20/philosophy-on-the-early-russian-internet-1994-2008> (Accessed: 15th September 2022).
36. Krasikov, V.I. (2016) *Filosofiya v Runete: kratkiy ekskurs* [Philosophy in Runet: A Brief Excursion]. *Vestnik KemGUKI*. 34. pp. 109–116.
37. Phenomen.Ru. (2022) *Online philosophy*. [Online] Available from: <http://phenomen.ru/> (Accessed: 15th September 2022).
38. Shkuratov, I. (2006) *Filosofiya v zerkale obshchestvennogo mneniya: issledovanie filosofskikh predpochteniy pol'zovateley Runeta* [Philosophy in the Mirror of Public Opinion: A Study of the Philosophical Preferences of Runet Users]. [Online] Available from: <http://phenomen.ru/public/journal.php?article=28> (Accessed: 15th September 2022).
39. Philosophystorm.org. (2021) *Filosofskiy shurm. Sovmestnoe filosofskoe tvorchestvo* [Philosophical Storm. Modern Philosophical Creativity]. [Online] Available from: <http://philosophystorm.org/tracker> (Accessed: 15th September 2022).
40. Anon. (2021) *Filosofskoe soobshchestvo* [Philosophical Community]. [Online] Available from: <http://ru-philosophy.livejournal.com/> (Accessed: 15th September 2022).
41. Philosophiya.ru. (2022) *Filosof & Ya* [Philosopher & I]. [Online] Available from: <https://philosophiya.ru/> (Accessed: 15th September 2022).

Сведения об авторе:

Красиков В.И. – доктор философских наук, профессор, Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) (Москва, Россия); Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (Москва, Россия). E-mail: KrasVladiv@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

V.I. Krasikov, Dr. Sci. (Philosophy), professor. Russian Institute of Theatre Arts (Moscow, Russian Federation); All-Russian State University of Justice (Moscow, Russian Federation).
E-mail: KrasVladIv@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 16.09. 2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 16.09. 2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК 008; 316.4; 141.7

doi: 10.17223/1998863X/71/16

КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОСТИ: ПРОТЕСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕАЛИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА

Наталья Николаевна Погожина

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
pogozhinann@gmail.com*

Аннотация. Анализируется знаковая черта современного коммуникативного пространства – протестная активность. Фиксируются ключевые позиции становления протестного активизма, его черты в цифровых обществах и теоретические корреляты осмысления данного процесса – от концепции «новых социальных движений» до потенциала выделения протестного дискурса в отдельную коммуникативную систему.

Ключевые слова: протест, коммуникация, общество, социальная философия протеста, глобализация, системно-коммуникативный анализ, универсализация, сетевое общество, новые социальные движения, идентичность

Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ № 22-28-00927 «Диагноз современности и глобальные общественные вызовы в социально-философской рефлексии».

Для цитирования: Погожина Н.Н. Конфликтотенный потенциал современности: протестная коммуникация в реалиях информационно-сетевого общества // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 164–176. doi: 10.17223/1998863X/71/16

Original article

THE CONFLICTOGENIC POTENTIAL OF MODERNITY: PROTEST COMMUNICATION IN THE REALITIES OF INFORMATION AND NETWORK SOCIETY

Natalya N. Pogozhina

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, pogozhinann@gmail.com

Abstract. This article attempts to philosophically problematise protest communication by means of highlighting its special characteristics dictated by the realities of the modern world, in particular, the spread of new media against the background of the development of the technological component. The author analyses the methods and forms of functioning of protest in the post-modern era and demonstrates the significant difference between the current protest, unfolding as part of the formation of new social movements (NSMs theory) and the protests of the past (using the example of modern revolutions). The modern protest communication is assigned unique properties – the imaginary clarity of thematic certainty, the production of permanent protest (protest for the sake of protest), the lack of the possibility of excluding one of the parties in connection with the formation of a society of universal inclusion, the essential characteristic of protest as a situation of communication which is based on opposing society against society. A theoretical understanding of the further outcomes of protest discourse is an important task. Potential polar scenarios are highlighted. In the case of the formation and entrenchment of new generalized means of

communication, we can talk about the separation of communication of protest into a unique system, different from the “big” ones – political, economic, etc., or we can see a situation of merging protest with one of the stable existing systems of public communication. The author traces significant points of the development of new social movements, makes a critical review of some theoretical positions regarding the phenomenon of new social movements (their origins, temporal boundaries, special attributive properties). The article uses the theoretical apparatus of the system-communicative approach of social analysis, a number of provisions of the theory of network societies, universalist studies of the conceptual model of the global social order.

Keywords: protest, communication, society, social philosophy of protest, globalization, network society, theory of systems, universalization, new social movements, identity

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-00927: Diagnosis of Modern Society and Global Social Challenges in Socio-Philosophical Reflection.

For citation: Pogozhina, N.N. (2023) The conflictogenic potential of modernity: protest communication in the realities of information and network society. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 164–176. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/16

Введение

Важнейшей задачей всякой теории, претендующей на осмысление общественной жизни путем вычленения и анализа отдельных значимых социальных явлений или реконструкции социальной модели современного общества в целом, в рамках исследовательских изысканий любого уровня абстракции – «больших», теорий среднего ранга, отдельных прикладных исследований, осуществляемых силами как собственно философского знания, так и с использованием разработок из других областей общественных наук, – является фиксация, рассмотрение и оценка нарождающихся феноменов и актуализированных процессов, протекающих в обществе. Способность теории быть «приложимой» к ситуации наличного состояния социальной реальности, использование объяснительных схем «здесь и сейчас» и, в принципе, ориентация на актуальность, возможность «ухватить» тот или иной отдельный феномен или длящийся процесс на стадии становления – все это с необходимостью продиктовано самой сутью производства научного знания и известным практическим критерием его истинности. Интерпретация явлений, релевантных текущей социальной ситуации, дает возможность в определенной степени увеличить известность или повысить уровень контролируемости неизвестности, другими словами, обозначить прогностические пределы концептуальных построений. Сегодня мы сталкиваемся с подобной необходимостью в абсолютно конкретном случае – в рамках функционирования коммуникации протеста на базе новых социальных движений (New Social Movements).

Столкновение с опытом протестной коммуникации испытывал буквально каждый пользователь социальных сетей. Протестные высказывания совершенно разной тематики, непрекращающаяся, постоянно циркулирующая полемика как способ выстраивания коммуникации утвердились и стали нормой, раз за разом мелькая в новостной ленте. Более того, некоторые современные интернет-медиа репрезентируют себя почти исключительно на базе протестной риторики. Она укореняется как некая новая повседневность: те-

материализует наше межличностное общение, формирует свой собственный язык, устойчивый дискурс и демонстрирует пластичность, тотально проникая в «традиционные» сферы коммуникативной реальности, такие как наука, политика, хозяйственная деятельность.

Безусловно, протестная коммуникация находит свое отражение в массовой культуре, причем не просто в рамках нарратива о единичном протестном кейсе, а на базе идеи нормализации непрерывного протеста и даже его гламуризации. Ярким примером тому может служить рекламный ролик компании Pepsi 2017 г., вызвавший споры и затем удаленный с видеохостинга. В нем, по мнению многих пользователей, уличный протест представлен излишне романтизировано, скорее в духе городского праздника или карнавала, что не соответствует реальному положению дел, эксплуатирует проблему насилия, тем самым порождая вредный и искаженный образ социального выступления.

Еще одним важным аспектом осмысления отображения современных протестных движений в массовой культуре является трансляция мысли потенциального равенства протестного активизма и социально приемлемой, с необходимостью одобряемой гражданской позиции по широкому кругу вопросов – экологии, гендерной проблематике, защите животных и др. Центральным положительным героям и героиням фильмов и телесериалов все чаще отводится роль протестных активистов, что сближает образ ответственного человека, активно включенного в жизнь общества и участвующего в социальных инициативах, с человеком перманентно протестующим.

Также внимания заслуживает анализ разграничения коммуникации протеста в современности – конституирования его уникальности и своеобразных черт на фоне отделения от ведения протестной повестки в принципе, которой сопровождается как условно «нормальное» протекание функционирования обществ в исторической перспективе, так и пиковые точки социальных потрясений, например революции. Необходимо заметить, что революция как особый всплеск протестных волнений традиционно рассматривается с точки зрения своей рубежности, как феномен, возникающий на стыке определенных периодов общественного развития, содержащий в себе потенциал к перелому и радикальной смене социальной организации. Например, отмечается историческое совпадение революций – буржуазных, национально-освободительных – с укоренением капиталистической доктрины, развитием капиталистических механизмов и отношений, пришедших на смену позднефеодальным [1, 2]. В исследовании текущих социальных изменений важно учитывать их общий революционный характер при отсутствии пограничного значения, как это было в рамках перехода домодерновых обществ в общества модерна. В этом отношении стоит обратить внимание на термин Дж. Голдстоуна, используемый для описания современных реактивных событий – «revolution-like events» [3, 4].

Возвращаясь к обсуждению факторов, оказывающих непосредственное воздействие на формирование протестного дискурса современности, мы отмечаем их взаимосвязанный характер и возможность продуцирования друг друга – сетевой тип организации общества и его главный инструмент – новые медиа-коммуникации [5]. Сетевой способ организации не единственная «метафора описания современности», выработанная в лоне социогуманитарного

знания, но именно она достаточно точно отражает установленную взаимосвязь: новые медиа порождаются сетевой природой и онтологизируют общество-сети посредством повторного самовоспроизведения. Важным аспектом исследования выступает также анализ возможных сценариев связи (вхождения/отделения) коммуникации протеста с другими крупными коммуникативными системами.

Таким образом, очевидной оказывается необходимость предметного рассмотрения протеста как особой формы коммуникации в обществе с привлечением как уже имеющихся наработок философии и устойчивых объяснительных схем социальной теории, приложимых к большим коммуникативным системам (политика, экономика, наука) для высвечивания специфики возможного наслоения протестного дискурса на них (появления гибридных форм), так и с проактивным теоретическим заданием – потенцией к включению новых пунктов в исследовательскую программу работы с феноменом протестного активизма при рассмотрении уникальных характеристик онлайн-активизма, отличительных черт отечественной протестности [6].

К вопросу о «современности» протеста, или что такое New Social Movements?

Ранее было сказано, что предмет нашего интереса – протест, находящий свое выражение в рамках актуализации и распространения современных социальных движений (New Social Movements), поэтому отдельно необходимо оговорить, какой смысл вкладывается в представление о «современности» протеста, а именно: 1) прояснить, начиная с какого временного промежутка полемический образ коммуникации приобретает специфические свойства современного протеста; 2) в связи с чем появляются новые социальные движения, в основе которых лежит такая форма коммуникации; 3) обозначить ключевые подходы к исследованию сущности современного протеста и социальных интеракций, продуцирующих развертывание протестной коммуникации.

В социальной теории принято связывать возникновение новых социальных движений с протестными событиями 1960-х гг., которые вполне могут рассматриваться как переломные для анализа общественно-политических изменений и пиковые в рамках критики широко распространенного на тот момент структуралистского подхода (чему, например, свидетельствует часто приводимая фраза, описывающая парижские протесты, про структуры, которые не выходят на улицы). Традиционные политические институты были подвержены серьезной критике. Эта критика не ограничивалась теоретизированием, а представляла собой вполне реальные стихийные или организованные массовые общественные выступления, протестные акции, послужившие толчком к появлению различных социальных движений, в которых исследователи замечают черты, отличные от «старых» классовых (в первую очередь рабочих) движений.

Таким образом, в 70-е и 80-е гг. оформляются подходы к анализу «нового протеста». В исследовательской литературе выделяется два основных направления, принципиально отличающихся при рассмотрении социальных движений. Первое направление объединяет теоретиков вокруг вопросов, связанных с аккумуляцией ресурсов протестной активности. В англоязычной традиции подход получает название «resource mobilization approach», или

«RMA», и характеризуется широким спектром включения наработок как социальной, так и экономической теории (McAdam, McCarthy, Zald, Tilly, Olson) [7–11]. Представителями этого подхода критикуется взгляд на социальные движения как возникающие на базе фрагментарности, разобщенности общества и пополняющиеся сторонниками – рассогласованными социальными группами или относительно изолированными членами социума. В основе RMA лежит представление о мобилизации ресурсов социальных движений, именно масштабы и темпы ресурсного привлечения сулят успех, относительную долгосрочность или крах протестной интеракции. Следовательно, необходимо исходить из представления о в высшей степени «неслучайных» коалициях, обладающих возможностью быть встроенными в социальную структуру для реализации всей полноты мобилизационного потенциала. В связи с этим можно частично реконструировать следующие ключевые соображения сторонников данной концептуальной позиции [12. Р. 326–330]: 1) коллективные действия участников новых социальных движений конкретны и направлены на наращивание ресурса; 2) в качестве ресурсов аккумулируются финансовые средства, знания, экспертный опыт, медийные силы, упрочняющие солидаризацию вокруг общих целей и влияющие на легитимацию движения; 3) успех социального движения зависит именно от мобилизационно-ресурсной составляющей, это отличает новые социальные движения от повсеместно распространенных в обществе форм недовольства или нарастающего социального напряжения; 4) организации и отдельные акторы согласуют требования, активизируют поиск и накопление ресурса, переводя коллективное возмущение в определение и реализацию конкретных шагов в протестной деятельности; 5) издержки и бенефиты участия в коллективном протестном действии подлежат калькуляции; 6) основа протестной активности новых социальных движений – присоединение к существующим организациям, доступ к постоянным каналам финансовой и иной поддержки, позволяющим создавать и развивать широкомасштабные кампании давления; 7) идеологическая компонента выполняет вторичную функцию; 8) логика развития новых социальных движений далека от прежних предписанных сценариев – движения экспонентного роста к упадку, для них нерелевантны принципы элитарной кооптации (например, «железный закон» олигархии Р. Михельса); 9) развитие и реализация современных социальных движений моделируются с учетом структуры возможностей (opportunity structure) [13], что является важнейшим фактором стратегического направления социально-го протеста и напрямую влияет на возможный успех в реализации цели.

Необходимо заметить, что подход RMA довольно широко определяет социальные движения. Фактически под социальными движениями понимается совокупность представленных в обществе позиций и убеждений относительно предпочтений в перестройке тех или иных структурных элементов, а также распределение социальных бенефициаров [14. Р. 2]. Ключевым элементом функционирования социального движения выступает формальная организация всех видов деятельности, направленной на коллективную мобилизацию ресурсов в отношении цели. Таким образом, протестная активность анализируется через организацию разнородной сети общественных движений и соотносится с вопросом получения полезности от индивидуального или коллективного участия в них, а также тех потерь и издержек, которые это

участие за собой может повлечь (по аналогии с ресурсными аспектами деятельности в экономической индустрии, вопросами полезности и предельной полезности в экономике) [8].

Второе направление анализа новых социальных движений видит протестную активность как репрезентацию тех противоречий, которые актуализируются в современном обществе. Здесь необходимо учитывать переосмысление марксистской позиции и идеи фундаментальной классовой борьбы, детерминированной особенностями распределения экономического блага в капиталистическом обществе. Опыт становления и распространения модели государств всеобщего благосостояния (Welfare state) – этапа их расцвета и кризиса [15–17] – заставляет социальных теоретиков обратиться к подробному рассмотрению тех коллективных договоренностей, которые были достигнуты в связи со становлением сложной системы социального обеспечения, с одной стороны, и продолжающимся разломом – рождением новых форм социального неравенства в рамках постиндустриального постфордистского капитализма – с другой. Продуктом этих процессов выступают, по мнению ряда авторов (к которым можно отнести, например, Шанталь Муфф, Эрнесто Лакло, Клауса Оффе, Алена Турена), новые социальные движения разного тематического спектра проблематизации – пацифистские, феминистские, направленные на защиту гражданских прав и свобод, выступающие против расовой дискриминации, экологические и др.

Анализ последних приводит Клаус Оффе, которого мы выше упоминали в числе сторонников данного концептуального блока. Он фиксирует, что экологический активизм как часть новых социальных движений характеризуется манифестацией общности, т.е. действием от имени всего коллектива (например, защитников животных), тематическим закреплением идеи создания нового и справедливого, а также формой выражения через политический протестный активизм, фундированный на негативной формулировке требований [18. Р. 42].

Ален Турен видит следующую динамику становления новых социальных движений: «По мере того как мы входим в постиндустриальное общество, общественные движения могут развиваться независимо от политических действий, имеющих в виду прямой захват государственной власти... Новые общественные движения формируются... не посредством политического действия и столкновения, а скорее, влияя на общественное мнение» [19. С. 164]. Современная социальная теория предлагает целую концептуальную «семью» подходов, объединенных идеей «конца революции». Подобная теоретическая позиция значима при анализе методологических оснований современной протестной коммуникации, поскольку базируется на представлении современности как конфликтного поля поиска идентичностей. Уход от универсализма просвещенческой парадигмы современной рациональности и присущей модерну революционной активности порождает социальные движения такого типа, которые не имеют жесткой связи с развитием исключительно революционных сценариев, о чем было сказано выше. В терминологии Турена эти феномены находятся в структурной связке различий – революция/антидвижения и новые социальные движения/антиреволюция. Предполагается, что при разворачивании революционных событий невозможно существование новых социальных движений, поскольку они не воспроизводят себя как нацеленные на властное превосходство, не претендуют на положение гегемонии и наоборот.

Интенции новых социальных движений направлены в большей степени на культурные и социальные аспекты общественной жизни и связаны с легитимизацией того или иного образа жизни, поиском и наделением смыслом, рутинизацией определенных практик и интерпретируются, к примеру, Ю. Хабермасом как протест против расширения государственного вмешательства в индивидуальные миры интеракций индивидов и избыточную рациональность со стороны политических институтов [20].

Смещение оптики с коллективного на индивидуализированное бытие – общее место многих подходов к осмыслению постсовременности. Вместе с индивидуальными решениями приходит хрупкость и «текучесть» мира, поиск точки опоры, которой уже не могут выступать социальные столпы прошлого – классы [21], а значит, появляются и иные – плоские, гетерархичные – формы консолидации. Говоря о новых социальных движениях, нельзя обойти вниманием и не учесть не только формирующийся «новый средний класс» как их костяк, но и другие новые формы неравенства в современном обществе, возникающие в связи с повышением социальных рисков, флуктуационной динамикой на фоне уменьшения стабильности, выраженного в сокращении кредита социальных гарантий. Гай Стэндинг называет такой оформляющийся на наших глазах класс прекариатом, подчеркивая, что «все значимые общественные движения в истории человечества были классово обоснованными» [22. С. 12]. Но сейчас ситуация в корне меняется – старая классовая структура стирается, прежняя жесткая и четко определенная стратификация уступает место или соседствует с формами, напоминающими прежнюю классовую структуру скорее как внешнее подобие, поскольку эти формы более подвижны и имеют абсолютно не четкие, размытые границы.

Два выше означенных подхода очевидно вступают в противоречие и демонстрируют кардинально противоположные объяснения «отправной точки» коммуникативной практики социального протеста в современности. Первый утверждает за протестной коммуникацией аккумуляцию ресурсных возможностей для выдвижения «новых лиц» и организаций, способствуя их встраиванию в наличествующие в обществе социальные структуры. Вторая трактовка, наоборот, основывается на позиции, согласно которой мотивация протестной коммуникации детерминирована совокупностью социальных переживаний системной несправедливости, фундаментом которой выступает положение всех участников экономического процесса производства блага. На наш взгляд, обе концептуальные позиции упускают важную аналитическую компоненту – предметное рассмотрение самого феномена протестной коммуникации, т.е. механизмов и принципов формирования протеста не только на уровне организаций, социальных групп и институций, а в ходе реальной коммуникативной практики. Подобный взгляд может быть представлен на базе системно-коммуникативной теории, к ключевым положениям которой мы намерены обратиться далее.

Стратегия исследования протестной коммуникации в системно-коммуникативной теории

Какова сущность протестного активизма с точки зрения коммуникативной теории? Если использовать концептуальный язык социальной теории в том варианте, который предлагается Н. Луманом, можно отметить, что про-

тестным движениям автор отводит особую роль в разветвленной системной типологии общества в силу их особого свойства, которое маркируется им как «социальная открытость» для новых участников коммуникации [23. С. 271]. Именно эта потенциальная возможность все новых и новых инкорпораций, и даже более – чрезвычайная функциональная «нацеленность» на такого рода включение в коммуникативную реальность протеста, позволяет говорить об особом параметре внутреннего потенциала современного протеста. Протестная коммуникация выстраивает себя в качестве единственно верной, а значит, остальная коммуникация (общество) в этом случае выступает для коммуникации протеста антагонистичной, «неправильной» и враждебной. В этой точке рассуждения мы приходим к тезису о важнейшей собственной атрибуции протеста как коммуникации, разворачивающейся в дискурсивной плоскости выступления «общества против общества». Этот парадоксальный тезис требует следующего пояснения: современное общество перестраивается в связи с разнообразной функциональной дифференциацией, сохраняя взаимосвязи в рамках обобщения базиса символического («ценностей») – так формулируется социальное единство. Однако такие обобщенные ценности лишаются собственного места в современном дифференцированном обществе и сложно поддаются реализации, следовательно, новые социальные движения и их способ коммуникативной протестной активности выступают формой ответа на данную проблему в виде широкого и повсеместного охвата протестной коммуникации (а не только отдельных субъектов и их специфических интересов / ценностных ориентаций).

В этой связи возникает два важных наблюдения. Во-первых, феномен коммуникации протеста значим именно как самостоятельный объект теоретического исследования, поскольку демонстрирует некую ценностную лакуну в самовоспроизводстве общественной коммуникации. «Материя» протеста и есть то, что заполняет лакуну, возникающую в тех условиях, когда общественная система не способна конституировать свою слитность и ценностную идентичность. Во-вторых, уникальность протеста, как отмечалось выше, сводится к способу коммуникативной дифференциации. Современный протест парадоксален, поскольку он, опираясь на специфические механизмы новых медиакоммуникаций, которые способствуют распространению и самостоятельному воспроизводству протестных коммуникативных связей, выстраивает себя как целокупное противопоставление социального социальному. Хотя необходимо отметить, что, безусловно, у протеста есть «лица» в виде конкретных активистов, а также те или иные темы повестки, но перспектива наблюдения второго порядка за производством коммуникации протеста позволяет выявить тот факт, что как раз этими параметрами протест абсолютно не ограничен, они непригодны для анализа сущностных характеристик протеста как такового, поскольку для него свойственна демонстрация лишь относительной закреплённости дискурса вокруг отдельных тем или «акторов».

Исследуя протестные движения современности, мы, согласно довольно классическому методологическому приему социального анализа, направленному на рассмотрение принципиально нового явления, действуем, отталкиваясь от тех различий, которые *не* репрезентируют протест для того, чтобы обозначить его собственные атрибутивные свойства. Использование терминологического аппарата социально-коммуникативной теории позволяет нам

провести различие *коммуникации, интеракции и организации*. Как известно, каждая функциональная система коммуникации имеет свой двоичный код необходимый для ее самовоспроизведения (*аутопойэзиса*), что может быть достигнуто путем флуктуации от позитивного до негативного значения на концах кода. Эти «маятниковые» движения системы коммуникации (общества), таким образом, предполагают множественную (двойную) *контингентность* и порождают потребность в *программах* функциональных систем, структурирующих их самовоспроизведение. Интеракция и организация также базируются на двойной контингентности, однако в первом случае ключевым выступает «наличная» субъектность, т.е. контакт происходит «в моменте» личного присутствия; существуют границы начала и конца взаимодействия; исключается любая отложенность во времени, которая в рамках коммуникации возможна, например, благодаря письменности; также появляется четкая корреляция с сознанием субъектов, включенных в интеракцию. Организация же как еще одна альтернативная возможность двойной контингентности предполагает продолжительность и институциональную включенность субъектов посредством членства, самовоспроизведение на базе аккумуляции цепи решений.

Выходит, что протестные движения не могут рассматриваться ни как организации, ни как интеракции. Этот тезис требует пояснения: в первом варианте, очевидным оказывается недостаточность формы организации в вопросах включенности новых приверженцев протестного движения. Сила протеста – в его разрастании, а значит, требуется все большее количество сочувствующих, и, соответственно, жесткие правила включения не действуют, а также теряет смысл постоянное продуцирование решений, которое свойственно организации. Луман отмечает, что протестные движения «гетерархичны, а не иерархичны, полицентричны, сетеобразны и, прежде всего, не контролируют процесс собственного изменения» [23. С. 272]. Концептуальные возможности интеракции в объяснении протеста тоже довольно ограничены, поскольку совместное взаимодействие «здесь и сейчас» важно скорее в демонстративном варианте – для обозначения широты круга приверженцев. Как отмечалось ранее, новые социальные движения в отличие от классовых разнороднее в своей тематической определенности. Но что даже более значимо – по сути своей в крайне степени индивидуалистичны. Если подсоединение к классовому движению (например, за права рабочих) происходило посредством коллективной (классовой) определенности, совместного «переживания» общих целей на базе социального фундамента – положения в общественной (классовой) организации, то члены новых социальных движений могут быть связаны абсолютно разной мотивацией, индивидуальными поисками смыслов (не случайно существенное место на «карте» новых социальных движений занимают те, которые проблематизируют вопросы «новой этики»), уникальными целями, а развитие таких движений нельзя объяснить, используя исключительно отсылки к социальной базе, поскольку в абсолютном большинстве она разнопланова.

Необходимо заметить принципиальное различие в рамках наблюдения протеста – дихотомию *центра и периферии*. Это различие, по сути, заменяет двоичный код протестной коммуникации, который существует в других системах общественной коммуникации. Позиционное положение протестной коммуникации фундируется на противопоставлении протестных требований

движений (периферии) и общего курса (центра). Однако необходимо учитывать особенности современной социальной структуры, для которой несвойствен единый центр. В этой связи Луман подчеркивает потенциал формирования протестных движений в лоне коммуникативных подсистем политики и религии, поскольку для них характерен примат центробежной организации. С этим можно согласиться лишь частично. Дело в том, что за последние двадцать лет протестные социальные движения получили серьезный импульс к развитию и в других коммуникативных подсистемах. Сегодня мы видим специфические черты оформления протестных выступлений, например в науке [24]. Это наводит на мысли о потенциале протестной коммуникации в преодолении фундаментального разрыва между двумя типами коммуникативных практик – когнитивными (основанными на переживании) и нормативными (основанными на действии).

Влияние сетевого характера коммуникации на формирование дискурсивного поля современного протеста

Ранее мы обращались к исследованию новых социальных движений в контексте их становления, но не акцентировали внимание на предметном рассмотрении тех фундаментальных влияний, которые привносит появление сетевого общества и развитых информационных технологий. Далее будут высказаны некоторые соображения о характере такого влияния, основах современной сетевой коммуникации и организации протеста в обществах-сети.

В относительной современности (начиная со второй половины XX в.) мы можем наблюдать процессы, которые характеризуют становление пространства *global society*, обладающего всеобщим включением и в том числе сосуществованием оппозиционных сторон, задействованных в рамках развертывания протестной коммуникации. Протестный активизм сегодня включает способность постоянной аккумуляции и присоединения новых сторонников и, как следствие, расширение числа агентов коммуникации благодаря сетевому характеру обсуждения, размывающему темпоральные и пространственные границы протеста. Протестная повестка, демонстрирует уникальные черты, например мнимую тематическую определенность и размытые идейные границы коммуникации протеста. Для современной протестной коммуникации это является принципиальным способом связи и возможностью «подключения» к коммуникации новых сторонников. Ведь в ходе функционирования современного протеста нет рычагов для директивного исключения одной из сторон, находящихся в структурном напряжении по отношению друг другу. Таким образом, происходит закрепление «социального места» за протестующими в их оппозиции к остальной части общества, позиционное противостояние существует, но нет объективных причин для прекращения воспроизводства протестного дискурса. Так как сетевой характер коммуникации предполагает пролонгированность протестной активности, можно выделить некоторые повторяющиеся этапы реализации протестного дискурса в сети. Линия протестной сетевой коммуникации сперва «закрепляется», этому способствует возможность ухода от уличных и иных форм активного выступления в сферу обсуждения и конфронтации в социальных сетях, сбора петиций и т.д. Таким образом, протестная коммуникация фундируется и получает возможность регулярного самовоспроизводства. Однако радикальный

активизм нечувствителен к такому способу организации коммуникативной схемы протестного общения, поскольку не имеет «социально приемлемых» внешних форм коммуникации. Этот факт очевидно «тормозит» появление самостоятельного медиума коммуникации протеста, закрепления устойчивого кода коммуникативной интеракции.

Заключение

Современный протестный активизм как продукт новых социальных движений невозможно рассматривать исключительно с помощью оптики разделения успеха/неудачи, при которой явной целью будет выступать изменение социального порядка. Даже исходя из такой позиции, сценарии «неудачи» могут серьезным образом разниться – от внешнего подавления всплесков протестной активности до угасания интереса к участию в такой форме коммуникации, а успех – варьироваться от достижения ряда программных целей, на которые движение было ориентировано, до «встраивания» в существующий каркас общественной организации и институционализацию, а с ней и легитимации ценностной базы движения. В этом ключе продуктивным видится обращение к дихотомии коммуникативного успеха/неудачи как продолжения или прекращения коммуникации, а в поле протестной коммуникации представляется в первую очередь идея замещения социальной разобщенности и прекращения разрыва социальных связей.

На наш взгляд, ревизия теоретических подходов к постановке и осмыслению ряда проблем, возникающих и получающих свое развитие в рамках темы современного протеста и новых социальных движений, дает возможность говорить о формировании особой исследовательской программы, базирующейся, прежде всего, на исследовании протестной коммуникации. Для этого необходимо учитывать ряд свойств, который обозначался ранее, а именно самозамкнутость протеста, выраженную в постоянной тематизации собственной коммуникации и маркирование ее как протестной. Из этого во многом следует жизненная необходимость циркуляции и поддержания актуальной практики протеста для репродуцирования самого себя в противовес конкретным директивным решениям заявленных проблем в рамках повестки того или иного протестного движения, что свойственно для организаций и социальных интеракций. Другими словами, понимание сущностной характеристики протестной коммуникации как протеста ради протеста (т.е. механизма продолжающейся коммуникации) помогает исследовать инструменты присоединения новых сторонников, которые работают с помощью смещения фокуса внимания на острую тему, но не обязательно влекут за собой условное «решение». А также благодаря сетевому характеру абсолютизируется возможность подсоединения к коммуникации и расширения проблемного поля за счет относительно нестрогой тематической определенности, что позволяет протестной коммуникации продолжаться, а не «затухать», т.е. совершать те же маятниковые коммуникативные движения, но без определенных различий «больших» социальных систем (истина/ложь, власть/безвластие и т.д.). Сейчас мы находимся в такой точке наблюдения, из которой открывается перспектива на дальнейшие возможные сценарии развития коммуникации протеста – окончательного обособления и оформления ее в отдельную систе-

му с собственным двоичным (?) кодом или сращивания с существующими коммуникативными системами.

Список источников

1. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1957. Т. 8. С. 115–217.
2. Сорокин П.А. Социология революции. М.: Астрель, 2008. 784 с.
3. Goldstone J.A. 'Is Revolution Individually Rational?: Groups and Individuals in Revolutionary Collective Action // *Rationality and Society*. 1994. Vol. 6, is. 1. P. 139–166.
4. Goldstone J.A. Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory // *Annual Review of Political Science*. 2001. Vol. 4. P. 139–187.
5. Castells M. *Communication Power*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. 571 p.
6. Новые социальные движения в сетевую эпоху: статьи, интервью, экспертные заключения / под ред. К.Х. Момджяна, Р.Э. Бараш. М.: Русское общество истории и философии науки, 2020. 299 с.
7. McAdam D. *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: Univ. Chicago Press, 1982. 304 p.
8. McCarthy D., Zald M.N. Resource mobilization and social movements: a partial theory // *The American Journal of Sociology*. 1977. Vol. 82. P. 1212–1241.
9. McCarthy J., Zald M.N. *The Trend of Social Movements*. Morristown, NJ: General Learning, 1977. 30 p.
10. Tilly C. *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978. 349 p.
11. Olson M. *The Logic of Collective Action*. NY: Schocken, 1968. 166 p.
12. Kitschelt H. Resource Mobilization Theory: A Critique in: Rucht, D., *Research on Social Movements – The State of the Art in Europe and the USA*, Campus Verlag, Frankfurt am Main, Westner Press, Boulder, Colorado. 1991. P. 323–347.
13. Rootes C. Political Opportunity Structures: promise, problems and prospects // *La Lettre de la maison Franchise d'Oxford*. 1999. № 10. P. 75–97.
14. McCarthy D., Zald M.N. *Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations, Research in Social Movements, Conflicts and Change*. 1980. Vol. 3. P. 1–20.
15. Esping-Andersen G. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge, 1990. 248 p.
16. Offe C. Some Contradictions of the Modern Welfare State // *Critical Social Policy*. 1982. Vol. 2, № 2. P. 136–151.
17. Pontusson J. At the end of the third road: Swedish social democracy in crisis // *Politics & Society*. L., 1992. № 20. P. 305–332.
18. Offe C., Elster J., Preuss U.K. *Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea*. Cambridge: University Press, 1998. 350 p.
19. Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с.
20. Habermas J. *New Social Movements*. Telos, 1981. Vol. 49. P. 33–37.
21. Бауман З. *Текущая современность*. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
22. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М., 2014. 328 с.
23. Луман Н. *Общество общества*. Кн. 4: Дифференциация. М.: Логос, 2011. 640 с.
24. Бараш Р.Э., Антоновский А.Ю. Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест // *Эпистемология & философия науки=Epistemology & Philosophy of science*. 2018. Т. 56, № 2. С. 18–33.

References

1. Marx, K. (1957) *Vosemnadsatsoe bryumera Lui Bonaparta* [The eighteenth brumaire of Louis Bonaparte]. In: Marx, K. & Engels, F. *Sochineniya* [Works]. Vol. 8. 2nd ed. Moscow: Politizdat. pp. 115–217.
2. Sorokin, P.A. (2008) *Sotsiologiya revolyutsii* [Sociology of Revolution]. Moscow: Astrel'.
3. Goldstone, J.A. (1994) *Is Revolution Individually Rational?: Groups and Individuals in Revolutionary Collective Action*. *Rationality and Society*. 6(1). pp. 139–166.
4. Goldstone, J.A. (2001) *Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory*. *Annual Review of Political Science*. 4. pp. 139–187.
5. Castells, M. (2009) *Communication Power*. Oxford, New York: Oxford University Press.

6. Momdzhyan, K.Kh. & Barash, R.E. (2020) *Novye sotsial'nye dvizheniya v setevuyu epokhu: stat'i, interv'yuu, ekspertnye zaklyucheniya* [New social movements in the network era: Articles, interviews, expert opinions]. Moscow: Russian Society for the History and Philosophy of Science.
7. McAdam, D. (1982) *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.
8. McCarthy, D. & Zald, M.N. (1977) Resource mobilization and social movements: a partial theory. *The American Journal of Sociology*. 82. pp. 1212–1241.
9. McCarthy, J. & Zald, M.N. (1977) *The Trend of Social Movements*. Morristown, NJ: General Learning.
10. Tilly, C. (1978) *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley.
11. Olson, M. (1968) *The Logic of Collective Action*. New York: Schocken.
12. Kitschelt, H. (1991) Resource Mobilization Theory: A Critique. In: Rucht, D. *Research on Social Movements – The State of the Art in Europe and the USA*. Frankfurt am Main: Campus Verlag; Boulder, Colorado: Westner Press. pp. 323–347.
13. Rootes, C. (1999) Political Opportunity Structures: promise, problems and prospects. *La Lettre de la maison Franchise d'Oxford*. 10. pp. 75–97.
14. McCarthy, D. & Zald, M.N. (1980) *Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations, Research in Social Movements, Conflicts and Change*. Vol. 3. pp. 1–20.
15. Esping-Andersen, G. (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Princeton University Press.
16. Offe, C. (1982) Some Contradictions of the Modern Welfare State. *Critical Social Policy*. 2(2). pp. 136–151.
17. Pontusson, J. (1992) At the end of the third road: Swedish social democracy in crisis. *Politics & Society*. 20. pp. 305–332.
18. Offe, C. Elster, J. & Preuss, U.K. (1998) *Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea*. Cambridge: University Press.
19. Touraine, A. (1998) *Vozvrashchenie cheloveka deistviyushchego: Ocherk sotsiologii* [Return of the acting man: Essay on sociology]. Translated from French. Moscow: Nauchnyy mir.
20. Habermas, J. (1981) New Social Movements. *Telos*. 49. pp. 33–37.
21. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
22. Standing, G. (2014) *Prekariat: novyy opasnyy klass* [The Precariat: The New Dangerous Class]. Translated from English. Moscow: [s.n.].
23. Luhmann, N. (2011) *Obshchestvo obshchestva* [Society of Society]. Vol. 4. Translated from German. Moscow: Logos.
24. Barash, R.E. & Antonovskiy, A.Yu. (2018) Radical science. Are the scientists capable of social protest? *Epistemologiya & filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(2). pp. 18–33. (In Russian).

Сведения об авторе:

Погожина Н.Н. – старший преподаватель философского факультета московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: pogozhinann@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

N.N. Pogozhina, senior lecturer, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: pogozhinann@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.09.2022;
одобрена после рецензирования 19.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 08.09.2022;
approved after reviewing 19.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.42
doi: 10.17223/1998863X/71/17

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Михаил Сергеевич Алексеев

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия, amscocacola@mail.ru

Аннотация. В рамках подхода понимания доверия, как рационального действия рассматриваются теоретико-методологические основы изучения доверия к органам власти в современном обществе. Представлена авторская трактовка доверия. Сделан вывод, что обоснованное доверие к органам власти доступно лишь небольшой группе экспертов политического поля, а диагностируемое многими исследователями снижение доверия к власти представляет собой снижение слепой веры, как механизма преодоления неопределённости.

Ключевые слова: доверие, доверие к органам власти, снижение доверия, информационное общество, открытость, измерение доверия

Для цитирования: Алексеев М.С. Доверие населения к органам власти в информационном обществе: теоретико-методологические основы изучения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 177–191. doi: 10.17223/1998863X/71/17

SOCIOLOGY

Original article

PUBLIC TRUST IN THE AUTHORITIES IN THE INFORMATION SOCIETY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING

Mikhail S. Alekseev

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation, amscocacola@mail.ru

Abstract. Rapid digitalization and awareness of the need to expand public participation in governance require updating methodological approaches to the study of trust. The aim of this article is to consider the theoretical bases of the studying of trust in the authorities in the information age. The conceptualization of the concept of trust was carried out within the framework of the approach of understanding trust as a rational way to overcome uncertainty and was based primarily on the theories of Piotr Sztompka and Russell Hardin. The choice of the approach is determined by the instrumental nature of the relationship between state and public institutions. The study used data from the reports of the international sociological

study Edelman's Trust Barometer from 2010 to 2022. The introduction presents the author's model of trust of the act, which includes four mandatory elements: agent, subject, bet, and object. The first part of the article is dedicated to the consideration of the nature of the population's trust in the authorities. The justification of trust in the authorities is based on an assessment of the motivational and instrumental aspects of trustworthiness. The motivational aspect of trustworthiness is the set of motivations for actions that will justify trust. The instrumental aspect is related to the ability of the trust object to meet the expectations of the truster. The article shows that the authorities cannot be absolutely trustworthy on all issues in relation to all citizens. Reasonable trust in the authorities and state agents is available only to a small group of experts of the political field, and most citizens use only an indirect strategy for assessing trustworthiness. This is not a social pathology and is based on the nature of the state structure and cognitive limitations of a person in the complexity of a modern dynamic society. The second part of the article discusses the problems of measuring trust in the authorities in public opinion surveys. The author comes to the conclusion that mass quantitative surveys are not able to correctly measure trust and, in most cases, represent a one-dimensional assessment of the trustworthiness of the object under study, which is poorly correlated with the real behavior of people. However, a competent assessment of trustworthiness, carried out through the measurement of several factors, can give certain ideas about the propensity for trust and predict its implementation in social actions. The final part of the article describes the changes in the digital society that have affected the dynamics of trust in the authorities. Having found no convincing empirical evidence of the fact of a decrease in trust in the authorities, the author accepts this thesis as an axiom and analyzes the possible reasons for this phenomenon. The article concludes that the declared fact of a decrease in trust in the authorities in the digital era is only a decrease in the use of blind faith as a mechanism for overcoming uncertainty and can be justified by an increase in institutional openness, criticality and reflexivity of modern society.

Keywords: trust, trust in authorities, declining trust, information society, openness, measurement of trust

For citation: Alekseev, M.S. (2023) Public trust in the authorities in the information society: theoretical and methodological bases of studying. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 177–191. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/17

Введение

Тема доверия к органам власти находится в фокусе внимания исследователей и практиков государственного и муниципального управления. При значительно отличных подходах к пониманию сущности доверия и отсутствия его консенсуальной дефиниции, большинство исследователей и управленцев признают доверие одним из важнейших факторов взаимодействия власти и населения, наполненности их отношений. Признание значимости доверия, как правило, сопровождается презумпцией его позитивного влияния на публичные коммуникации и общественные отношения в целом.

Основания изучения доверия заложили еще классики социологии [1, 2]¹, однако по настоящему живой и результативный исследовательский интерес тема получила во второй половине XX – начале XXI в. Допуская определенное упрощение в типологизации, многообразие современных вариантов трактовок концептуализации доверия, можно свести к двум основным подходам: 1) понимание доверия как относительно стабильного свойства социальных

¹ Хотя у классиков не было исследований, посвященных непосредственно доверию, оно часто подразумевалось в текстах их работ, например в теории социальной солидарности Э. Дюркгейма и формальной рациональности М. Вебера. Особо важное влияние работы Вебера оказали на развитие теорий, в которых доверие понимается с позиции рационального подхода.

общностей и систем (Ф. Факуяма [3], Э. Гидденс [4]); 2) понимание доверия как действия, сопровождающегося рациональным расчетом (А. Селигмен [5], Р. Хардин [6], П. Штомпка [7]). Понимание доверия в рамках этих подходов существенно отличается, поэтому выбор подхода является важной развилкой, от которой зависит программа исследования и его результат.

В программных документах и нормативно-правовых актах содержание доверия обычно не раскрывается, оно предстает как понятие, не требующее толкования, что может приводить к противоречивым толкованиям и оторванности теории от практики. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 2021 г. при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ федеральная власть использует двадцать критериев, одним из которых является доверие [8]. Документ не раскрывает, что понимается под доверием, он лишь указывает на то, что оно определяется в том числе посредством оценки общественного мнения. Изолированное использование таких ключевых показателей эффективности (KPI) скорее стимулирует органы власти создавать условия для получения высоких оценок в опросах общественного мнения, а не быть надёжными перед населением.

Важным фактором, обуславливающим необходимость актуализации методологических подходов к исследованию доверия, является стремительная виртуализация общества. Рост информационного обмена, скорость и доступность коммуникаций существенно изменили положение органов власти в информационном пространстве. На восприятие власти населением влияют общий рост критичности общественного сознания и возрастание запросов граждан [9. С. 90–92]. Рост популярности фейк-культуры и обнажение феномена постправды также должны были оказать существенный ущерб репутации власти и политиков.

В практической плоскости возрастание интереса к доверию связано с осознанием необходимости расширения участия населения в управлении. В частности, указание на возрастание этой потребности государственного управления содержится в основных постулатах «менеджмента публичных ценностей» (New Public Management), актуальной концепции, которую рассматривают как развитие клиентоориентированного «нового государственного управления» (New Public Management) [10. С. 204–208]. Отсутствие доверия граждан к органам власти препятствует участию граждан в осуществлении государственного и муниципального управления.

Цель статьи – рассмотрение теоретических основ изучения доверия к органам власти в информационную эпоху.

Концептуализация доверия

Концептуализация понятия доверия проводилась в рамках подхода понимания доверия как рационального способа преодоления неопределенности и основывалась, прежде всего, на теориях П. Штомпки [7. С. 440] и Р. Хардина [6]. Выбор подхода обусловлен в первую очередь инструментальным характером взаимоотношений государственных и общественных институтов [11. С. 20–21], в которых конструируется и реализуется доверие к органам власти. Выбранный подход наиболее соответствует как природе этих отношений, так и современным запросам на расширение осознанного участия населения в управлении.

Мы определяем *доверие* как социальное действие, включающее ставку (актуализация риска), обоснованную позитивными ожиданиями от неопределенных действий других людей. Любой акт доверия включает совокупность обязательных элементов: субъект, объект, предмет, ставка и потенциальный выигрыш (рис. 1).

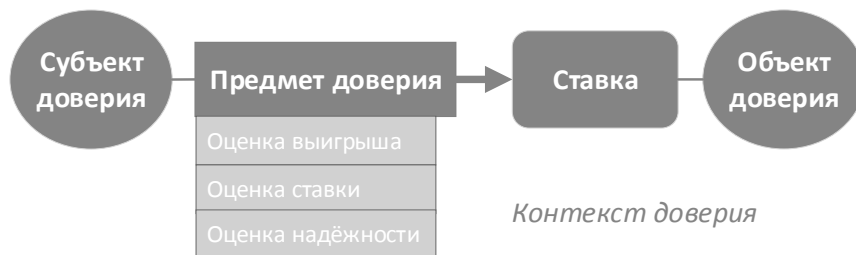


Рис. 1. Модель акта доверия

Субъект доверия действует исключительно на добровольной основе в условиях отсутствия осознаваемого внешнего контроля. Он может быть индивидуальным и в случае, если есть возможность обозначить механизм группового принятия решения о доверии, – коллегиальным. Помимо отдельных людей *объектом* доверия могут быть также различные объединения, институты, технологии и даже устройства. Однако доверие является исключительно социальным феноменом, поэтому применительно к сложным объектам мы можем говорить о нем только в случае, если субъект связывает позитивные ожидания с действиями отдельных людей, которые вносят вклад в конструирование или функционирование этого объекта.

Предмет доверия представляет собой конкретные ожидания от действий объекта доверия, рассчитанные в условиях ситуации доверия, исходя из оценки надежности объекта, ставки и выигрыша. Доверие всегда предметно, оно основано на частных, а не обобщенных ожиданиях. Именно это отличает доверие от веры. Доверие всегда сопровождается некой *ставкой*, которая актуализирует для субъекта потенциальные риски. Существует множество видов ставок (материальные, временные, социальные, символические, психологические и др.). Ставки отличаются по серьезности последствий дляверяющего в случае их потери. Как правило, потеря ставки при неоправдании доверия сопровождается как минимум негативными последствиями психологического типа. Риск в доверии заключается в вероятности неудачи и неблагоприятных последствий, которые обусловлены осознанным вовлечением субъекта доверия в определенное действие. *Выигрыш* – это потенциальный позитивный результат, к которому приводит доверие. Как и ставка, выигрыш может быть нематериальным и заключаться, например, в простой экономии времени. Между актом доверия и его результатом всегда существует смещение по времени (темпоральный сдвиг).

Надежность – это свойство потенциального объекта доверия оправдывать ожидания или выполнять обязательства. Доверяя, субъект проводит оценку надежности объекта доверия и приходит к выводу, что он заслуживает доверие в рассматриваемой ситуации. В содержании надежности можно выделить два взаимосвязанных друг с другом аспекта – мотивационный и инструментальный. Мотивационный аспект заключается в наличии мотива-

ции действовать таким образом, чтобы оправдать доверие. Важность этого аспекта подчеркивается в теории доверия как «инкапсулированного интереса» Р. Хардина, в соответствии с которой доверие представляет собой рациональное ожидание того, что доверенный связывает свои интересы с интересами доверяющего (инкапсулирует) и, следовательно, имеет стимул быть надежным в выполнении ожиданий доверяемого [6. Р. 54]. Инструментальный аспект связан со способностью объекта оправдать ожидания доверителя, что может требовать от него определенных компетенций, благоприятного физического и психологического состояния. Заинтересованность в выполнении действий, оправдывающих доверие, может не соответствовать возможностями объекта доверия (и наоборот), поэтому адекватная оценка надежности должна учитывать оба аспекта.

Основания доверия к органам власти

Население проявляет доверие к государству и его представителям в реальных практиках, а не в пустых ожиданиях. Риск и ставка неотделимы от предмета доверия и плохо поддаются анализу в обобщенном виде. Однако в отношении власти в подавляющем большинстве случаев оценка надежности всегда основывается на неких общих представлениях об объекте доверия. Независимо от уровня и вида государственной власти государственные агенты представляют для населения особую сторону взаимодействия, отождествляемую, в первую очередь, с единым субъектом – государством. Для принятия решения о доверии органам власти субъекту доверия необходимо оценить мотивационный и инструментальный аспект надежности объекта доверия, и здесь субъект сталкивается с дефицитом информации и проблемой перевода отношений между индивидами, организациями и институтами.

Мотивационный аспект надежности. Чтобы государственные агенты были заинтересованы в учете интересов граждан, это должно быть соотносимо с их стимулами в рамках организации или как минимум не противоречить им. Рядовой чиновник отвечает прежде всего перед своей организацией, которая ждет от него надежности, профессиональной эффективности и лояльности по отношению к себе, а не по отношению к населению. Для того чтобы граждане могли ожидать надежности от представителей государства, организации, в которых они состоят, должны быть заинтересованы быть надежными для населения. Ситуация осложняется иерархичностью, которая присуща механизму государства и администрирования, в котором друг другу подчинены или подотчетны не только должностные лица, но и организации.

Политические программы и управленческие решения на государственном уровне затрагивают интересы множества лиц. По многим вопросам граждане должны иметь разные предпочтения, которые находятся на некотором расстоянии от любой предполагаемой политики [6. Р. 169]. В отношении некоторых вопросов (таких как отношение к смертной казни или абортam) компромиссные решения просто невозможны. Чем более гетерогенно общество, тем власти сложнее обеспечить согласованность интересов множества социальных групп (это особенно ярко проявляется в обществах с высоким уровнем социального неравенства) [12. С. 46–54]. Государство не может быть абсолютно надежным по всем вопросам в отношении всех граждан, изъявляя

свою волю и принимая решения, ей приходится действовать вопреки интересам части граждан.

Рассел Хардин отмечает две отличительные характеристики доверия населения к органам власти: односторонность и познавательные ограничения при его расчете [6. Р. 154]. Опросы общественного мнения демонстрируют наибольшее доверие к персонифицированным объектам [13. С. 11], с которыми большинство граждан не имеют прямых взаимодействий. Взаимное доверие предполагает не только интеракции и взаимозависимость, но и наличие ставок и рисков у каждой из сторон, что в отношениях между властью и населением встречается достаточно редко. Даже если допустить, что большая часть населения доверяет органам власти, это будет преимущественно односторонним доверием.

Познавательные ограничения при расчете доверия основаны не только на дефиците информации, но и на ситуативно ограниченных возможностях ее обработки. Фактически обычный гражданин ничего не знает о конкретных мотивах и интересах подавляющего числа государственных агентов. Обоснование их надежности производится либо на индуктивном обобщении поведения лиц со схожими статусными позициями, либо на знании об ограничениях и стимулах в организациях и институтах, в которых они состоят.

В разных сферах политики есть множество ситуаций, в которых оценка надежности представителей государства требует узкоспециализированных экспертных знаний. По мнению американского профессора медиатехнологий Рассела Ноймана, только 5% американского электората обладают достаточными знаниями, чтобы судить о надежности правительства [14. Р. 3]. Это небольшая и активная в политическом поле группа, которая вносит основной вклад в работу американской демократии. Если экстраполировать эти данные на российское общество, то только каждый двадцатый россиянин может рационально обосновать свое доверие к органам власти по широкому кругу вопросов, не прибегая к индуктивным обобщениям и абстрактным ожиданиям. Разумно предположить, что именно в доверии этой группы должны быть заинтересованы органы власти в первую очередь.

Инструментальный аспект надежности. Оценка инструментального аспекта надежности органов власти основывается на рассмотрении компетенций и способностей государственных агентов. Даже если наши интересы инкапсулированы, мы вряд ли будем ожидать оправдания своих ожиданий от лиц, которые при всем желании просто не в состоянии их оправдать. Поскольку реализация функций государства выражается в профессиональной и узкоспециализированной деятельности, инструментальный аспект должен играть существенную роль при оценке населением надежности государственных агентов.

Если органы власти формируются в условиях конкурентности и открытости в соответствии с принципами профессионализма и компетентности, мы можем сделать вывод об инструментальной надежности этих организаций и ее членов. Серьезной проблемой государственной службы в условиях российской действительности является nepотизм, который зачастую является латентным принципом подбора, отбора и продвижения персонала [15]. Анализируя влияние nepотизма на современную политическую культуру Италии, Н.М. Асланова приходит к выводу, что распространение nepотизма сопро-

вождалось ростом коррупции и ограничением доступа достойных граждан к государственной службе, что в итоге привело к критическому снижению доверия к власти и политическому абсентеизму [16]. Непотизм и кумовство несут угрозу надежности и в мотивационном, и в инструментальном аспекте, конструируя образ закрытой и несправедливой власти.

Важным фактором, влияющим на оценку инструментального аспекта надежности, является восприятие субъектом объема полномочий и реальной власти объекта доверия. Фактически или в нашем представлении органы власти и государственные агенты могут быть слишком слабы и не обладать достаточными ресурсами для оправдания нашего доверия. Этим отчасти объясняются диспропорции в уровне доверия к федеральной, региональной и муниципальной власти. Патерналистские ожидания населения, характерные для российского общества [17. С. 50], часто приводят к завышенным ожиданиям, а в итоге – разочарованию во власти и перманентному недоверию к политическим инициативам.

При оценке инструментального аспекта надежности органов власти и государственных агентов мы так же, как и при оценке мотивационного аспекта, сталкиваемся с познавательными ограничениями. По мнению П. Штомпки, обычные граждане формируют свое представление о надежности органов власти, исходя из двух основных источников: контактов с государственными агентами и СМИ [7. С. 366]. Как и Р. Хардин, он отмечает роль индуктивных обобщений гражданами своего опыта взаимодействия с представителями власти. Обобщенное доверие к государству во многом опирается на оценку его персонала. Поскольку восприятие власти носит во многом персонифицированный характер, при оценке надежности органов власти большое значение играет отношение к лицам, которые возглавляют соответствующие организации и институты. СМИ же по своей природе имеют склонность представлять одностороннюю, неполную или искаженную информацию о деятельности органов власти. Интересы СМИ редко полностью инкапсулированы с интересами населения, они могут аккумулировать и интерпретировать информацию в интересах государства, разного рода элит и рынка. Обобщая информацию из СМИ и других вторичных источников, мы можем приходить к необоснованным выводам о надежности или ненадежности органов власти [18].

Доверие к органам власти в опросах общественного мнения

Методики измерения доверия можно разделить на два основных дихотомических подхода: 1) количественные и качественные измерения; 2) прямые и скрытые измерения.

Большинство измерений доверия органам власти производится *количественными* методиками (в форме массовых опросов). Преимущества количественных методик заключается в возможностях распространения результатов на генеральную совокупность, сравнения доверия к разным объектам и мониторинга ситуации. Главный недостаток количественных методик – недостаточная связь с поведением, утверждение респондентов о доверии к объекту не свидетельствует о том, что в реальных ситуациях он будет демонстрировать доверие [19. С. 1846]. Л. Гудков также отмечает важность разграничения

«декларативного» и «операционального» кода доверяющих [13. С. 29]. Качественные методики, такие как открытые вопросы, интервью и фокус-группы, позволяют более подробно раскрыть содержание доверия и в большей степени акцентировать внимание на его предмете, что должно обеспечить большую связь результатов исследования с реальными практиками. Из недостатков данного подхода можно отметить сложности при сопоставлении качественных измерений между собой (даже если они проведены по единой методике).

В *прямых* измерениях респондентов прямо спрашивают о доверии какому-либо объекту, которое, как правило, предметно не обозначается. Дискуссионным является вопрос, что в таких измерениях понимают под доверием исследователи, а что – респонденты. На наш взгляд, в большинстве прямых измерений исследователи под доверием понимают лишь оценку надежности, и уже в процессе интерпретации они могут сделать шаг (весьма условный) к обозначению и прогнозированию доверия. Еще большую свободу в интерпретации доверия получают респонденты. Выражение респондентом «доверия» к органам власти может быть основано на множестве факторов, которые лишь косвенно характеризуют надежность объекта: восприятие функциональной значимости органа в воображаемой картине реальности [13. С. 28], оценке политической и экономической конъюнктуры [20], образ отдельных государственных политических деятелей [21. С. 126], или просто на оптимистичных ожиданиях будущего [22. С. 130]. Практически невозможно раскрыть, что понимал респондент под доверием и на основе каких факторов происходило его обоснование.

В *скрытых* измерениях доверие представляет собой латентную переменную и прямо не упоминается в тексте вопросов, оно выявляется при помощи одной или нескольких наблюдаемых переменных. Доверие для респондента предстает замаскированным другими более очевидными понятиями и феноменами, которые находятся с ним в корреляционной зависимости. В массовых опросах такие методики все равно ограничиваются оценкой надежности объекта, хотя и позволяют точнее раскрыть ее содержание и установить более обоснованную связь с доверительным поведением респондентов. Например, скрытое измерение надежности персонифицированного объекта доверия может включать оценку его работы, профессионализма, порядочности, достаточности полномочий и, пожалуй, самое главное, согласованности его интересов с интересами респондента.

На наш взгляд, массовые количественные опросы все же не способны корректно измерить доверие и в большинстве случаев представляют собой одноаспектную оценку надежности исследуемого объекта. Однако грамотная оценка надежности, проведенная через измерение нескольких факторов, может дать определенные представления о склонности к доверию и прогнозировать его воплощение в социальных действиях.

Снижение доверия к органам власти

Обоснование актуальности исследований доверия часто сопровождается тезисом о снижении доверия населения к органам власти [23. С. 8–9]. Эмпирически доказать или опровергнуть это положение достаточно сложно, поскольку стабильные постоянные измерения доверия органам власти стали

осуществляться сравнительно недавно. Одним из подобных авторитетных источников является «Барометр доверия Эдельмана» (Edelman Trust Barometer) – сравнительное международное социологическое исследование, которое ежегодно проводится компанией Edelman с 2001 г. (в России – с 2007 г.) [24]. Данные по показателям доверия к правительству в семи (на наш взгляд) странах за период с 2009 по 2022 г. приведены в таблице¹.

Доверие к правительству в разных странах (Edelman Trust Barometer), %

Год	Россия	США	СК	Франция	Германия	Китай	Индия	Общий показатель
2010	38	46	38	43	43	74	43	47
2011	39	40	43	49	33	88	44	52
2012	26	43	38	31	33	75	53	43
2013	29	53	47	49	33	81	53	48
2014	27	37	42	32	34	76	57	44
2015	51	35	34	27	40	75	65	41
2016	53	39	36	27	39	79	68	42
2017	44	47	36	25	38	76	75	41
2018	44	33	36	33	43	84	70	43
2019	34	40	42	32	40	86	74	47
2020	33	39	36	35	45	90	81	49
2021	34	42	45	50	59	82	79	53
2022	37	39	42	53	47	91	74	52

На основании отчетов компании «Эдельман» можно сделать следующие выводы о доверии к органам власти: 1) показатель доверия нестабилен и чувствителен к событиям внутри страны; 2) за рассматриваемый четырнадцатилетний период общемировой тренд снижения доверия не фиксируется; 3) в азиатских и восточных странах уровень доверия существенно выше, чем в европейских странах и США; 4) доверие в России находится на схожем с европейскими странами уровне. Возможно, если бы «Барометр доверия Эдельмана» охватывал более длительный период, мы бы смогли зафиксировать спад доверия к органам власти.

Джеффри Хоскинг делает вывод о снижении доверия к органам власти в демократических странах, исходя из анализа фактического поведения людей [25. Р. 77–108]. С его точки зрения, свидетельства этого спада являются несколько ярких и важных событий: триумф Brexit на референдуме в Великобритании в 2016 г., избрание Дональда Трампа президентом США и самое главное – рост влияния популистских лозунгов и партий. Исследователь считает, что население стран Европы (в первую очередь Евросоюза) отвергло последствия экономической глобализации, которая ограничила политическую власть национальных государств и передала ее в руки межгосударственных структур и бизнес-гигантов. Природа снижения доверия к органам власти кроется в осознании населением того, что национальные элиты начинают действовать в интересах глобализированных элит, интересы которых не соответствуют интересам большинства граждан.

¹ В соответствии с методикой барометра Эдельмана респондентов просили оценить доверие к правительству по девятибалльной шкале. Доверяющими считаются респонденты, поставившие оценки от 6 до 9 (top 4 box). Общий показатель представляет собой среднее значение для всей выборки (в 2022 г. в выборку входили респонденты из 27 стран). Измерения проводятся в конце предшествующего отчету года.

По Дж. Хоскингу, глобализация породила противоречия надежности правительств, которые, с одной стороны, являются гарантом безопасности, защиты прав и предоставления социальных услуг населению, а с другой стороны, гарантом выполнения внешних обязательств и глобальной финансовой стабильности. Люди начали чувствовать, что государством управляют не для них, а для узкого круга инсайдеров с хорошими связями. Власть становится слабой и неспособной действовать в интересах населения, поскольку испытывает сильную зависимость от финансовых элит и наднациональных структур. Как отмечает П. Штомпка, можно уверенно утверждать, что слабость демократии более деструктивна для культуры доверия, чем настоящий автократический режим – неисполненные ожидания и обманутые надежды приводят к большему разочарованию, чем настоящий автократический режим, в отношении которого граждане не испытывают иллюзий [7. С. 380].

Доводы Дж. Хоскинга о снижении доверия выглядят убедительно, поскольку основаны на признании повышения рефлексивности граждан и логически обоснованных конфликтах интересов населения, правительственных элит и глобального рынка. Отечественные исследователи В.И. Чупров и В.В. Михеева также отмечают мировой тренд – снижение доверия, который обуславливается процессом глобализации [26. С. 50]. Тем не менее необходимо отметить, что исследование Дж. Хоскинга ограничено локальной спецификой отношений внутри Евросоюза и может выражать лишь локальный тренд.

Если принять снижение доверия к органам власти как аксиому, возникает вопрос, связано ли оно со снижением надежности власти. Спад доверия может быть обусловлен изменениями в работе органов власти или изменениями в восприятии граждан. Развитие информационных технологий и появление новых форм коммуникативного воздействия должно было повлиять на прозрачность государственных организаций и институтов. Условия открытости и прозрачности политической жизни содействуют доверию, правительство «с открытым занавесом» имеет гораздо больше шансов завоевать доверие граждан [7. С. 369]. Рост количества информации о работе органов власти и невиданный ранее уровень открытости должны были содействовать росту доверительных отношений, однако эти изменения также могли отрицательно повлиять на оценку населением надежности органов власти.

В своей работе 2002 г. Р. Хардин размышлял о том, как развитие телевидения повлияло на снижение доверия к правительству [6. Р. 159–163]. В отличие от газет оно предоставило более интуитивную и менее требовательную к адресату информацию, граждане стали знать «слишком много», чтобы продолжать доверять политикам и органам власти. Расширение границ информационного поля и возможностей сравнения работы органов власти подняло планку ожиданий населения от работы чиновников, что способствовало снижению доверия. Развитие интернета должно было оказать еще более серьезное влияние на доверие к органам власти. Интернет не только принес демократию в информационную сферу, но и обеспечил невиданный ранее уровень прозрачности и гласности. Интернет-пространство наполнено огромным количеством информации о работе органов власти, распространение которой сравнительно слабо подвержено контролю и цензуре. В совокупности с пользовательской предрасположенностью к восприятию критической и негатив-

ной информации это сделало обобщенный образ власти менее надежным. Органы власти оказались под бдительным контролем общественности, теперь даже незначительные факты девиантного поведения государственных агентов могут привести к критической растрате их символического капитала [27. С. 244].

В свою очередь, органы власти ряда стран (включая Россию [28]) приняли решения, направленные на повышение открытости государства для населения, сделав его бюрократические операции, процессы и результаты работы доступными для всех пользователей интернета [29]. Это, в частности, повлекло за собой публикацию большого объема статистической информации, трансляцию из залов судебных заседаний и доступ к декларациям чиновников. Данные инициативы основаны на предполагаемой связи между институциональной открытостью (транспарентностью) и публичным доверием. Стремление к транспарентности было призвано сделать граждан более информированными, вовлеченными и способными лучше понимать, как работает государство.

Проанализировав результаты политики транспарентности в Великобритании и США, странах – передовиках продвижения политики открытых данных, Сара Мур пришла к выводу, что политика транспарентности привела к невзаимной форме открытости, которая запутывает больше, чем открывает [29]. В программах транспарентности ответственность органов власти ограничена «выгрузкой» как можно большего количества данных, которые в теории население может использовать как сырье для анализа и принятия верных решений. По мнению Мур, открытые данные в большинстве случаев являются просто набором фактов, которые представляют интерес разве что для небольшой группы профессионалов в соответствующей сфере, а сами программы не учитывают ограничений в познавательных возможностях обычных граждан и рассматривают их как молчаливых потребителей. Игнорируя аспект понимания и коммуникативную основу доверия, открытость стала самоцелью, что не привело к существенному улучшению понимания гражданами работы органов власти и, похоже, не способствовало формированию доверия к органам власти. Эти недостатки политики открытых данных проявились в публичных коммуникациях в период пандемии COVID-19, что обернулось невысоким уровнем доверия к официальным сообщениям и отсутствием вовлеченности населения [30]. Говоря о расчете надежности, в лучшем случае открытые данные позволят нам судить о компетентности органов власти, но они практически ничего не могут сказать о том, в чем заключаются интересы государственных агентов.

С.А. Кравченко отмечает важную характеристику информационного общества, повлиявшую на доверие. Речь идет о возросшей рефлексивности [9. С. 90–92]. Развитие информационно-коммуникативных технологий, общее повышение открытости и тенденции в образовании трансформировали общественное сознание, которое стало более критичным по отношению к власти, запросы граждан возросли, они теперь меньше верят пустым обещаниям и чаще осознают несоответствие своих интересов с интересами государственных агентов. Предполагаемое снижение доверия к органам власти в информационном обществе может быть просто снижением склонности к доверию без предварительного обдумывания и оценки надежности.

Выводы

Обоснованное доверие к органам власти и государственным агентам доступно лишь небольшой группе экспертов политического поля, большинство граждан используют лишь косвенную стратегию оценки надежности. Это не является социальной патологией и основано на природе государственного устройства и познавательных ограничениях человека в условиях сложности современного динамичного общества. Измерения доверия к органам власти с помощью опросов общественного мнения в большинстве случаев представляют собой лишь упрощенную оценку надежности, а их результаты слабо коррелируют с реальным поведением людей. Можно попробовать сгладить эти ограничения, измеряя доверие, исходя из фактического поведения людей или используя сложный дизайн анкет, в которых доверие выступает латентной переменной. Диагностируемый и декларируемый многими исследователями факт снижения доверия к органам власти в цифровую эпоху представляет собой лишь снижение использования слепой веры как механизма преодоления неопределенности и может быть обоснован повышением институциональной открытости, критичности и рефлексивности современного социума. Для того чтобы рост транспарентности государственного управления сопровождался ростом доверия к органам власти, он должен сопровождаться равноправным диалоговым взаимодействием и ростом компетенций граждан в политическом поле.

Список источников

1. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 880 с.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Канон, 1996. 432 с.
3. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : Изд-во АСМ, 2004. 730 с.
4. Гидденс Э. Последствия современности. М. : Праксис, 2011. 352 с.
5. Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-Пресс, 2002. 256 с.
6. Hardin R. Trust and Trustworthiness. New-York : Russell Sage Foundation, 2002. 256 p.
7. Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. 440 с.
8. Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 08.02.2021. № 6. Ст. 966.
9. Новые идеи в социологии / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 479 с.
10. Зотов В.В. От нового государственного управления к государственному менеджменту публичных ценностей (новая философия публичного управления) // Проблемы философии: история и современность : сб. ст. по итогам науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 18–21 мая 2018 г.). Курск : Изд-во Курск. гос. ун-та, 2018. С. 204–208.
11. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии. М. : Ad Marginem, 1996. 287 с.
12. Гасанов И.Б. Просвещенная свобода и доверие. М. : РГ-Пресс, 2018. 72 с.
13. Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения. 2012. № 2. С. 8–47.
14. Neuman W.R. The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1986. 241 p.
15. Мамсуров А.Б., Дарчиева З.И. Совершенствование системы противодействия коррупционным проявлениям nepотизма на государственной службе // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. № 2. С. 38–45.
16. Асланова Н.М. Влияние nepотизма на современную культуру Италии // Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 2. С. 88–94.

17. Быстрянец П.С. Социологический анализ институционального доверия в сфере социального управления : дис. ... канд. соц. СПб. : СПб. гос. эконом. ун-т, 2020. 224 с.
18. Попов А.В. Механизмы и инструменты влияния средств массовой информации на формирование общественного мнения в России и в мире // Этносоциум и межнациональная культура. 2018. № 9. С. 62–69.
19. Горина Т.С. Теоретические установки изучения доверия в образовательной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11. С. 1845–1851.
20. Глушко И.В. Социальное доверие: проблема измерения и экономической оценки // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 7. С. 60–63.
21. Лысенко Г.В. Коммуникативные аспекты взаимодействия власти и общества: проблема доверия // Социология власти. 2005. № 4. С. 122–132.
22. Кокотов А.Н. Доверие. Недоверие. Право. М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. 192 с.
23. Хоскинг Дж. Доверие: История. М. : Полит. энцикл., 2016. 296 с.
24. Edelman Trust Barometer // Edelman. URL: <https://www.edelman.com/trust> (дата обращения: 07.08.22).
25. *Trust in Contemporary Society*. Boston; Leiden : Brill, 2019. 270 p.
26. Чупров В.И., Мухеева В.В. Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий в условиях неопределенности. Почему нет мира в Украине? М. : Норма, 2017. 160 с.
27. Кови С., Линк Г. Разумное доверие. Минск : Попурри, 2013. 256 с.
28. Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93 «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов власти» // Собрание законодательства РФ. 03.02.2014. № 5. Ст. 547.
29. Moore S. Towards a Sociology of Institutional Transparency: Openness, Deception and the Problem of Public Trust // *Sociology*. 2017. Vol. 52, № 2. P. 416–430.
30. Мартынова С.Э., Сазонова П.В. Публичные коммуникации в период пандемии COVID-19: оценки граждан России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 87–101.

References

1. Weber, M. (1990) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from German. Moscow: Progress.
2. Durkheim, E. (1996) *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labour in Society]. Translated from French. Moscow: Kanon.
3. Fukuyama, F. (2004) *Doverie: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu* [Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity]. Translated from English. Moscow: ASM.
4. Giddens, A. (2011) *Posledstviya sovremennosti* [The Consequences of Modernity]. Translated from English. Moscow: Praksis.
5. Seligman, A. (2002) *Problema doverya* [The Problem of Trust]. Translated from English. Moscow: Ideya-Press.
6. Hardin, R. (2002) *Trust and Trustworthiness*. New York: Russell Sage Foundation.
7. Sztompka, P. (2016) *Doverie – osnova obshchestva* [Zaufanie. Fundament Społeczeństwa]. Translated from Poland. Moscow: Logos.
8. Russia. (2021) Ukaz Prezidenta RF ot 04.02.2021 № 68 “Ob otsenke effektivnosti deyatelnosti vysshikh dolzhnostnykh lits (rukovoditeley vysshikh ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoy vlasti) sub"ektov Rossiyskoy Federatsii i deyatelnosti organov ispolnitel'noy vlasti sub"ektov Rossiyskoy Federatsii” [Decree No. 68 of the President of the Russian Federation of February 4, 2021, “On assessing the effectiveness of the activities of senior officials (heads of the highest executive bodies of state power) of the constituent entities of the Russian Federation and the activities of executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation”]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*. 6. Art. 966.
9. Toshchenko, Zh.T. (ed.) (2013) *Novye idei v sotsiologii* [New Ideas in Sociology]. Moscow: YuNITI-DANA.
10. Zotov, V.V. (2018) Ot novogo gosudarstvennogo upravleniya k gosudarstvennomu menedzhmentu publicnykh tsennostey (novaya filosofiya publichnogo upravleniya) [From new public management to public value management (a new philosophy of public administration)]. *Problemy filosofii: istoriya i sovremennost'* [Problems of Philosophy: History and Modernity]. Proc. of the Conference. Kursk, May 18–21, 2018. Kursk: Kursk State University. pp. 204–208.

11. Putnam, R. (1996) *Choby demokratiya srobotala: grazhdanskie traditsii v sovremennoy Italii* [Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy]. Translated from English. Moscow: Ad Marginem.
12. Gasanov, I.B. (2018) *Prosveshchennaya svoboda i doverie* [Enlightened Freedom and Trust]. Moscow: RG-Press.
13. Gudkov, L. (2012) *Doverie v Rossii: smysl, funktsii, struktura* [Trust in Russia: Meaning, Functions, Structure]. *Vestnik obshchestvennogo mneniya – The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions.* 2. pp. 8–47. DOI: 10.24411/2070-5107-2012-00011
14. Neuman, W.R. (1986) *The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
15. Mamsurov, A.B. & Darchieva, Z.I. (2019) Improving the system of counteraction to corruption manifestations of nepotism in the public service. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya – Economy and Management: Problems, Solutions.* 2. pp. 38–45. (In Russian).
16. Aslanova, N.M. (2019) The impact of nepotism on the contemporary political cultural of Italy. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.: 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Moscow State University Bulletin. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication.* 2. pp. 88–94. (In Russian).
17. Bystryantsev, P.S. (2020) *Sotsiologicheskii analiz institutsional'nogo doveriya v sfere sotsial'nogo upravleniya* [Sociological analysis of institutional trust in the field of social management]. Sociology Cand. Diss. St. Petersburg.
18. Popov, A.V. (2018) *Mekhanizmy i instrumenty vliyaniya sredstv massovoy informatsii na formirovanie obshchestvennogo mneniya v Rossii i v mire* [Mechanisms and tools of mass media influence on the formation of public opinion in Russia and in the world]. *Etnosotsium i mezhnatsional'naya kul'tura.* 9(123). pp. 62–69.
19. Gorina, T.S. (2014) Theoretical attitudes of trust study in educational environment. *Fundamental'nye issledovaniya – Fundamental Studies.* 11. pp. 1845–1851. (In Russian).
20. Glushko, I.V. (2014) Social confidence: problem of valuation and economic assessment. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki.* 7. pp. 60–63. (In Russian).
21. Lysenko, G.V. (2005) *Kommunikativnye aspekty vzaimodeystviya vlasti i obshchestva: problema doveriya* [Communicative aspects of interaction between government and society: the problem of trust]. *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power.* 4. pp. 122–132.
22. Kokotov, A.N. (2020) *Doverie. Nedoverie. Pravo* [Trust. Distrust. Law]. Moscow: Norma: INFRA-M.
23. Hosking, G (2016) *Doverie: Istoriya* [Trust: A history]. Translated from English. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya.
24. Edelman.com (2022) *Edelman Trust Barometer*. [Online] Available from: <https://www.edelman.com/trust> (Accessed: 7th August 2022).
25. Sasaki, M. (ed.) (2019) *Trust in Contemporary Society*. Boston; Leiden: Brill.
26. Chuprov, V.I. & Mikhieva, V.V. (2017) *Doverie v samoregulyatsii sotsial'nykh vzaimodeystviy v usloviyakh neopredelennosti. Pochemu net mira v Ukraine?* [Trust in self-regulation of social interactions under conditions of uncertainty. Why is there no peace in Ukraine?]. Moscow: Norma.
27. Covey, S. & Link, G. (2013) *Razumnoe doverie* [Smart Trust]. Translated from English. Minsk: Popurri.
28. Russian Federation. (2014) *Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 30.01.2014 №93 "Ob utverzhdenii Kontseptsii otkrytosti federal'nykh organov vlasti"* [Order No. 93 of the Government of the Russian Federation of January 1, 2014, "On approval of the Concept of openness of federal authorities"]. *Sobranie zakonodatel'stva RF.* 5. Art. 547.
29. Moore, S. (2017) Towards a Sociology of Institutional Transparency: Openness, Deception and the Problem of Public Trust. *Sociology.* 2. pp. 416–430. DOI: 10.1177/0038038516686530
30. Martynova, S.E. & Sazonova, P.V. (2021) Public communications during the COVID-19 pandemic: Responses from Russia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 62. pp. 87–101. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/8

Сведения об авторе:

Алексеев М.С. – аспирант Кемеровского государственного университета (Кемерово, Россия). E-mail: amscocacola@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

M.S. Alekseev, postgraduate student, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: amscocacola@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 19.09.2022;
одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 19.09.2022;
approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК 316.4

doi: 10.17223/1998863X/71/18

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОФЕССОРА

Олег Альбертович Донских¹, Лариса Юрьевна Логунова²,
Антонина Николаевна Уткина³

¹ Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Новосибирск, Россия;
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия,
olegdonskikh@yandex.ru

² Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия, vinsky888@mail.ru

³ Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета,
Белово, Россия, uan69@bk.ru

Аннотация. Ценностно-смысловая основа университета – истинные знания и достоинство их обладателей. Противоречия между хранителями терминальных ценностей и администраторами, функционирующими ради сиюминутной выгоды, оформляются в проблему распада связей и взаимодействий между участниками процесса трансляции знаний. Это и есть ситуация anomie, в которой утрачиваются смыслы и нормы социальных взаимодействий профессора и студента, представителей академической среды и администрации вузов.

Ключевые слова: профессиональное достоинство, терминальные и инструментальные ценности, социальный статус профессора

Для цитирования: Донских О.А., Логунова Л.Ю., Уткина А.Н. Профессиональное достоинство профессора // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 192–203. doi: 10.17223/1998863X/71/18

Original article

PROFESSIONAL DIGNITY OF THE PROFESSOR

Oleg A. Donskikh¹, Larisa Yu. Logunova², Antonina N. Utkina³

¹ Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation;
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation, o.a.donskih@nsuem.ru

² Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation, vinsky888@mail.ru

³ Belovo Institute (branch) of Kemerovo State University, Belovo, Russian Federation,
uan69@bk.ru

Abstract. As a result of a study of the problem of the professional dignity of the national professorship, we have found that economocentrism contradicts the value basis of the life of the university as a sanctuary of knowledge. Converting the value of knowledge into a service format destroys the dignity of the holders of unique knowledge, weakens the authority of the educational institution and its teaching staff. The value-semantic basis of the university is true knowledge and the dignity of its owners. The contradictions between the custodians of terminal values and administrators functioning for the sake of momentary benefit are framed in the problem of the breakdown of connections and interactions between participants in the process of knowledge translation. This is the situation of anomie, in which the meanings and norms of social interactions between a professor and a student, representatives of the

academic environment and university administration are lost. Dignity is a valuable quality of a person that needs to be protected and preserved. Dignity is threatened by the professional's increasing level of anxiety about the possibility of losing one's job, defending one's beliefs. The professorial staff of universities have the Sword of Damocles hanging over their heads: they are under the constant threat of dismissal for non-fulfillment of "indicators", the number and content of which is constantly changing. Games on the "field of science" are becoming more and more nerve-racking: yesterday a certain number of articles indexed in Scopus and Web of Science, the growth of the Hirsch index were required as a qualification; today it is customary to juggle "quartiles"; tomorrow the rules for obtaining grants are changing with the constant demand from the teacher to extract money for the university's business structure. The higher the level of anxiety, the more fear a person feels under the circumstances in which he or she performs professional duties, the higher the threat to his or her dignity. Dignity is fundamentally not amenable to qualimetric analysis. Dignity is a point of balance between professionalism and social change. If this point shifts, then mental or psychological disorder begins in all spheres of life. Modernization entails rethinking the status and content of the social roles of a teacher and a scientist. The economocentric radicalization of such an understanding leads to a distortion of the meanings of the process of translation and production of knowledge. In a situation of rapid social changes, redefinition of value-normative orientations in the field of education, understanding the role of the university is in demand. To survive the stage of restructuring an entire sphere of people's lives with minimal losses is a great wisdom that worthy people, keepers of values and knowledge, possess. In this situation, the dignity of the professor becomes the basis of the dignity of the national university.

Keywords: professional dignity, terminal and instrumental values, social status of professor

For citation: Donskikh, O.A., Logunova, L.Yu. & Utkina A.N. (2023) Professional dignity of the professor. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 192–203. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/18

Существуют три подхода к определению достоинства – юридический, нравственный и профессиональный (статусный). Для юристов достоинство – это то, что делает личность субъектом права. Совершая правонарушение, человек лишается гражданских прав, теряет достоинство. Этика видит нравственный характер достоинства как терминальной ценности. Достойным объявляется человек, принимающий мораль, чье поведение удовлетворяет нравственным законам общества. Профессиональное достоинство связано с уровнем личной ответственности субъекта, выполняющего профессиональные обязанности. Оно становится маркером социальной дифференциации, определяет социальный статус в обществе. Ценность статуса выражается в количестве пользы для общества. Суммарное значение пользы соотносится с количеством ответственности, возлагаемой на носителя статуса. Социальный статус и профессиональное достоинство взаимосвязаны. Чем выше социальный статус, тем больше степеней свободы, тем значительнее требования к его обладателю, тем выше ответственность. Достоинство сопрягается с общественно осознаваемой ценностью выполняемой профессионалом работы, накладывает на человека ряд ограничений. Самодисциплина свидетельствует о достойном выполнении профессиональной миссии.

Соглашаясь на личностную несвободу, связанную с социальным статусом, профессор обретает профессиональное достоинство – символическую награду для человека, честно выполняющего свои обязанности. Статус определяет уровень социальной ответственности, признавая право профессионала на самостоятельность при решении задач. Достоинство невозможно без уверенности в этом праве, значит, оно присуще не статусу как таковому, но лич-

ности, обретшей статус. Общество признает за профессионалом определенный уровень самостоятельности и ответственности. Это подразумевает рамки ограничений внешней и внутренней свободы. Поэтому достоинство – это «мера внутренней свободы, которую человек определил себе для строительства собственной личности и на основе которой он уважает внутреннюю свободу других» [1. С. 21].

Проблема достоинства как терминальной ценности обострилась в ситуациях, противостояния ценности и пользы в профессиональной деятельности. Такие ситуации ученые связывают с «концом определенности» [2] (И. Пригожин), с наступлением «века недоверия» (П. Штомпка) [3]. Противоречие между востребованностью сбалансированной ценностной и административной основы функционирования образовательных организаций и бюрократизацией духовной жизни повлекло трансформацию университета из святилища знаний в контролируемую структуру институтов и кафедр. Старания эффективных менеджеров создали ловушку контроля, в которой оказались и преподаватели, и сами администраторы. Произошла трансформация «университета культуры» (университета эпохи модерна) в «университет совершенства», являющийся бюрократической корпорацией [4. С. 21].

В университете модерна ценностной основой были знания профессионалов – ученых, работающих в своих сферах. На этом фундаменте строился процесс трансляции культуры от одного поколения к другому. Профессионалы выступали в качестве экспертов в своих областях, формировали научное и преподавательское сообщество. Предполагалось, что это сообщество культивирует этос классической науки, манифестированный Р. Мертоном в виде набора институциональных императивов – универсализма, коллективизма, бескорыстности и организованного скептицизма [5. С. 771]. Это означало, что само сообщество намного строже, чем любой внешний управляющий, следило за выполнением стандартов этого этоса. Оно не нуждалось в избыточных процедурах проверки их честности и достоинства вроде антиплагиата, поскольку любой ученый знал, что, если в его работах обнаружится нечто подобное, он будет с позором исключен из корпорации. Не нужно было указывать на необходимость самопроверки результатов, поскольку настоящий ученый больше других настроен на эту проверку.

В университете совершенства основой становятся показатели разного рода: рейтинги, стандарты. Это маркер перехода регулирования процессов от внутренних факторов (принципов профессионального сообщества) к внешним – к экономоцентричным показателям, задаваемым извне [6]. Такое внешнее управление приводит к серии следствий очевидного и латентного характера, радикально меняющих профессиональное сообщество.

Преобладание в управлении «функциональной рациональности» над «сущностной рациональностью» лишило членов сообщества способности увидеть перспективу, почувствовать силу не в контроле, но в потенциале «объектов» управления. Увеличивая аппарат контроля в виде чиновников и экспертов по оценке качества, менеджмент «полагается на расчеты и отчеты специалистов, сообщающих им, что происходит, а следовательно, их точка зрения формируется в результате тех же организационных процедур» [7. С. 406]. Но смысл происходящего всегда глубже, чем калька оценочных процедур. Интерпретация факта всегда интереснее самого факта.

Смысл профессионального творчества заключен в категории достоинства, которая объясняет не сиюминутные достижения, но долговременные отношения человека с обществом. Однако профессиональное достоинство сегодня подменяется требованием эффективности деятельности с «квантификацией качества» (сведение качества к количеству). В результате миф об эффективном преподавателе замещает ценность человека, обладающего знанием и умеющего его передать младшим поколениям. «Сводя любое качество к количеству, миф осуществляет умственную экономию», с помощью него человек «постигает реальность по более дешевой цене» [8]. Мифологизация сводит разнообразие и сложность реальности, требующей интеллектуальных усилий для осмысления, к нескольким параметрам, выраженным в количественной исчислимости того, что оценке в принципе не поддается. «Язык денежной рациональности признается *универсальным метаязыком* для описания не только хозяйственно-экономических, но и всех социальных, культурных, нравственных и других реалий» [9. С. 101]. Университет превращается в компанию, целью которой является получение прибыли.

Достоинство – это баланс неопенимой ценности / оцененной пользы. Но оценка работы профессионала (степень приносимой им пользы) выносит за скобки ценность достоинства профессии. Менеджерально-управленческие решения сводятся к разработке квалиметрических показателей и «оценок качества». Других индикаторов управленческая практика не предложила.

Функция пользы очевидна, но становится противоречивой, когда затмевает неочевидность ценности. Необходимость оценки склоняет эксперта к упрощению работы – формату квалиметрических показателей, «симулякров» [10] осмысления профессионализма. Эти процессы идут в разных странах с разной скоростью, но их суть одинакова: переход властных полномочий от научно-образовательного (экспертного) сообщества к менеджерам. Европейская профессура делает по этому поводу громкие заявления. Яркий пример – «Академический манифест», в котором оценивается происходящее в университетах, как «оккупация»: «Университеты заняты менеджментом, режимом, одержимым „подотчетностью“ посредством измерения, усиления конкуренции, эффективности, „совершенства“ и неверно понятого экономического спасения» [11. Р. 165]. Это ключевая проблема современного университета.

Профессиональное сообщество озабочено тотальным переходом от «академической автономии к культуре менеджмента». Это проявляется в том, что «повышенная подотчетность в рамках схем финансирования и стремление к повышению эффективности исследований способствуют формированию «командно-контрольной» культуры измерения и производительности, реализуемой по принципу «сверху вниз». В критической литературе делается акцент на рисках внедрения методов, обеспечивающих не только «эффективную работу», но и «регулирование личности» [12. Р. 1144]. В европейских университетах эти процессы называют моральным коллапсом. Аналитики наблюдают, как «растет число администраторов, которые понятия не имеют, что такое университет как учебное заведение и каким он должен быть» [13. Р. 83]. Эти администраторы заполнили этический вакуум университетской среды и стали весьма эффективно функционировать. Заимствуя методы из коммерческих, политических или военных миров, они, возможно, искренне верят в эффективность «рационального управления» и манипулирования

людьми. «Эффективные» менеджеры проявляют чудеса мобильности в социальном и этическом смыслах. Они действуют быстро, не рассуждая о традициях, истории процесса трансляции знаний, этике социальных взаимодействий. Этический вакуум, как воронка, затягивает таких людей внутрь. «Это те, кто предпочитает управлять, манипулировать, давить и запугивать, а не подавать моральный или интеллектуальный пример» [13. Р. 83]. Их активную деятельность подстегивает «неопределенность в отношении финансирования университетов, набора студентов, глобальной конкуренции, маркетинга высшего образования» [14. Р. 138]. Они не просто успешно ловят рыбку в мутной воде такой неопределенности, но и используют для своих целей человеческие ресурсы (преподавательский состав) и потенциал будущего (студенчество).

Риск экономоцентричности образования. В последние десятилетия это стало мировым трендом. «Высшее образование в Великобритании уже давно подвергается сокращению финансирования и бюрократическому вмешательству» [14. Р. 130]. Та же ситуация в университетах Нидерландов. Университеты Германии держались дольше. В немецком высшем образовании эта тенденция начала набирать обороты в середине 1990-х гг. Сегодня «преподаватели высшей школы в Германии испытывают на себе все больше влияния по управлению их работой с помощью правил, оценок, стимулов и санкций, благодаря растущей управленческой власти в целом» [15. Р. 183].

Разница между тем, как эти процессы идут в США, Европе и России, заключается не столько в качестве, сколько в их скорости. Если в западных университетах с давних пор существует традиция автономии, то в России эта традиция не укоренилась вовсе. Поэтому внешнее управление в нашей стране лишь усилилось. Показательна в этом ключе ситуация с Российской академией наук. Процессы проникновения в академическую среду «небережливого» менеджмента прямо сказались на репутации исследователя, вынужденного выдавать на-гора тонны скороспелых научных статей, оправдывая это «публикационной активностью». Потеря достоинства и репутации – это своего рода адаптация к новым неакадемическим требованиям представителей академической среды.

До настоящего времени критерием оценки научного достоинства в Европе и США являлась профессиональная репутация в международном научном сообществе. Достоинство личности профессионала было более значимо, чем полезность функционера для организации. Роль репутации в отечественном образовании сомнительна. Чиновник может со скандалом защитить диссертацию и остаться «при исполнении», оказываясь очень полезным в своем деле. Так, в докладе «Ректоры России», опубликованном сообществом «Диссернет» (сентябрь, 2019 г.), сообщается, что у 64 ректоров в диссертациях был обнаружен плагиат. Исследователи из «Диссернета» неоднократно называли Российский государственный социальный университет фабрикой фиктивных диссертаций. Например, предполагаемый плагиат находили в кандидатской диссертации депутата Государственной Думы А. Мурги и докторской диссертации экс-министра культуры В. Мединского. Тем не менее обоим удалось сохранить свои степени [16].

Происходит подмена профессионального достоинства преподавателя «эффективностью» его работы. Так, польза становится вредом. В ситуации защиты диссертации Мединского внимание привлекают даже не ошибки или

заимствования, а декларативный уход от истины к сиюминутной пользе. Его докторская диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII в.» построена на положении: «Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда» [17]. Так историческая истина стала заложницей идеологии. Это и есть позиция эффективного менеджера по отношению к науке и истине.

Формальная оценка университета сегодня расширяет пределы, охватывая отношение студентов к знаниям как ценности. Используется тот же инструмент подмены понятий и искажения их смыслов. Терминальная ценность знания становится вторичной по отношению к ее инструментальному смыслу – получению диплома. Содержательная сторона образовательного процесса подменяется формализованными количественными характеристиками: количеством и объемом прослушанных курсов. Акцент на формальные критерии успеваемости (академические рейтинги) нередко подменяет ценность реальных знаний и умений учащихся [9. С. 49]. Оценка знаний становится формальным «показателем» – симулякром знаний. Так, принижается ценность знаний и людей, обладающих этими знаниями, аккумулирующих и распространяющих их.

Безусловно, новое время требует нового осмысления ролей и профессионального статуса академического и административного персонала. Но этот длительный процесс кристаллизации ценностей нового времени заменило радикальное административное решение. Как отмечают авторы «Академического манифеста», «...администрация объявила университетских преподавателей внутренним врагом: им нельзя доверять, и поэтому их необходимо проверять и контролировать под постоянной угрозой реорганизации, увольнения и отпуска» [11. Р. 166]. Закрутился вихрь методической вакханалии. Мощь университетских интеллектуальных ресурсов была направлена на создание целой индустрии «методического обеспечения», которая не имеет ничего общего с ведением занятий, работает исключительно на процедуру аккредитации вузов. Ни о каком достоинстве знания или уважении достоинства преподавателя здесь говорить не приходится.

Это стало полным разгромом традиционного взгляда на профессионализм, который «означает чувство власти, привилегии, статуса, элитарности и исключительности. Он основан на ключевых принципах: владение специальными знаниями и опытом, которых нет у других, автономность профессиональной практики, ритуализированное вступление в группу, честность и порядочность» [14. Р. 131]. Статус преподавателей дисциплин предполагает, что они являются профессионалами, способны самостоятельно сформировать методические материалы к своему курсу. Но по требованию Минобра и Рособнадзора они вынуждены составлять бесконечные рабочие программы и ФОСы по заданным извне лекалам для удобства проверок. Одновременно декларируется возможность ведения курсов по авторским программам, что является чистым лицемерием. И это лицемерие сегодня стало практически нормой в университетской среде.

Экономоцентрическое изменение нормы отношения к профессору как хранителю и транслятору знаний – один из аспектов современности, ее называют «текучей» (З. Бауман [18]), «рискогенной» (У. Бек [19]). Профессура

сегодня становится функциональной единицей бизнес-структуры университета, где атака ведется на профессиональное достоинство. Это является относительно новым ходом в управленческой практике. Перевод взаимодействий профессора и студента в формат рыночных отношений осложнился побочным действием – переносом акцента с процесса трансляции знаний на торговлю знаниями. Это не может не отразиться на духовной атмосфере. Подмена гуманистического принципа управления рационально-прагматической целесообразностью в менеджеральных инновациях связана с риском для института образования. Последствия такой инноватики трансформируют духовную сферу жизни общества. «Испытание риском предполагает нормативный горизонт утраченной уверенности, нарушенного доверия» [19. С. 18]. Это порождает аномическую ситуацию в самом уродливом ее формате – «нормальной аномии» – текучей, длящейся, практически узаконенной, легитимной аномии.

Нормальность, нормы и количество нормативности образования.

В течение двух десятилетий трансформация ценностей и смыслов образования шла под слоганом «Услуги», что, по-видимому, оправдано с экономической точки зрения: сфера образования рассматривалась в качестве одной из составляющих сферы услуг, включалась в рыночные отношения. Но с нравственной точки зрения сведение отношений профессора и студента к оказанию и потреблению услуги явно нелепо: в процессе обучения передаются не только знания, но и ценностное отношение к ним. В этом процессе значительную роль играет воспитательный аспект, в отличие от услуги, оказываемой таксистом или парикмахером.

Понятие услуги неоправданно в статусно-профессиональном смысле потому, что преподаватель университета должен заниматься наукой: публиковаться в научных журналах, представлять результаты исследований на конференциях. Этот аспект деятельности преподавателя к услугам не относится. Нынешний отказ от использования понятия услуги в образовательном процессе выглядит административной уступкой здравому смыслу. Постепенно приходит осознание того, что обслуживание знаниями подрастающего поколения хранителями этих знаний уже сыграло свою негативную роль в снижении статуса преподавателя в глазах общества. Глава Министерства просвещения РФ успокоил общественность заявлением о том, что ведомство работает «над повышением статуса учителя, значимости профессии. ...И, конечно, мы поддерживаем уход и исключение понятия образовательной услуги по отношению к учителю» [20].

Противоречие между ценностями и пользой функционирования университета осложняется еще одним противоречием – между нормой и нормальностью взаимодействий, между управленцами и представителями академической среды. Если под управлением понимаются отношения типа «субъект–объект», то процесс и результат управления сводится к умению манипулировать человеческими коллективами. Точная метафора такого управления дана С. Лемом. Управление сводится к «умению свалить на другого работу, порученную тебе самому, и лишь механические цифровые тупицы послушно исполняют программы» [21]. Любые манипуляции делают вторичными этические отношения, подменяя их отношениями коллективного (организационного) успеха. Но, сколько бы не длился бюрократический экстаз от послуша-

ния подчиненных, однажды встает вопрос о приемлемости (нормальности) качества и смысла таких отношений и соответствия такой нормальности институциональным нормам взаимодействий.

Норма, нормальность, нормативность – слова с родственным смысловым корнем. Различение их содержания основано на различении этического, социального, организационного. Норма – ценностно-ориентированное поведение, нормативность – формы поведения в организациях, нормальность – пределы допустимости поддержания или нарушения этих норм. «Нормальная жизнь», о которой мечтают люди, – это невербализированные представления о достойном существовании. Нормальная жизнь – это то, к чему хочет вернуться человек после пережитых кризисов. «Нормальность» постулируется в смыслах достоинства, комфорта, благополучия [22. С. 10–12]. Идеальные представления человека о нормальности противостоят ограничениям нормативности – совокупности представлений чиновника о достаточности, зафиксированные в организационных инструкциях. Этими нормативами определяются оценка достоинства и единицы его измерения.

Норма обладания личностью достоинством соответствует общечеловеческим принципам взаимодействия, это инструмент самоограничений ограничений при выборе средств для достижения целей. Нормы обеспечивают и ограничивают допустимые поведенческие паттерны в общении между людьми [19. С. 373]. Нормы зафиксированы в кодексах всех профессиональных корпораций, обеспечивая нормативность взаимодействий. Но бюрократическая составляющая корпоративных взаимодействий поддерживает нормы административных структур, преследующих свои цели, защищающих свои интересы.

Особый цинизм, связанный с риском самоуничтожения, – подмена общих целей частными задачами узкого круга выгодоприобретателей, групп, партий. Например, вокруг «поля притяжения» науки, по мнению П. Бурдье, формируется круг акторов, претендующих на символическое господство, состоящее в производстве символических систем и навязывании их другим социальным группам, посредством создания разнообразных мифов [23, 24] («правил игры»). Наука и образование – большая игра, в которой доминантным игрокам невыгодно принимать в свой круг новичков. Поэтому правила игры резко и постоянно меняются, чтобы рядовые акторы не успели адаптироваться к новизне требований. Придумывается ценз, который могут преодолеть только авторы правил игры или акторы, особо заинтересованные в том, чтобы попасть хотя бы в окружение доминантных игроков. В этой погоне внимание переключается с терминальной ценности знаний на утилитарные инструментальные ценности, теряется достоинство всех – и менеджеров всех уровней, и преподавателей, и студентов.

Таким образом, достоинство – ценное качество личности, которое нуждается в охране и сохранении. Достоинству угрожает возрастание у профессионала уровня тревожности по поводу возможности потерять работу, отставив свои убеждения. Постоянная угроза увольнения за невыполнение «показателей», количество и содержание которых постоянно меняется, висит дамокловым мечом над профессорским составом вузов. Игры на «поле науки» становятся все более нервными: вчера в качестве ценза требовалось определенное количество статей, индексированных в системах Scopus, Web

of Science, рост индекса Хирша, сегодня принято жонглировать «квартилями», завтра меняются правила для получения грантов при постоянном требовании от преподавателя добычи денег для бизнес-структуры университета. Чем выше уровень тревожности, чем больший страх испытывает человек в сложных обстоятельствах при выполнении своих профессиональных обязанностей, тем выше угроза его достоинству.

Однако эта угроза направлена и против менеджмента, попавшего в собственную ловушку контроля, который в своих решениях опирается на страх, что подчиненным будет предоставлено слишком много свободы. Чиновники одной рукой благословляют создание привлекательных условий для ученых, а другой рукой они стараются не выпустить подчиненных из-под контроля. Контроль основан на нормах подчинения, противоречащих нормальности профессионального поведения профессоров. Страх проникает во все структурные элементы системы российского образования. Провозглашенная ориентация на конкурентоспособность российской науки противоречит нормам охраны государственной тайны, политкорректности, самоцензуры. Страх – это чувство, играя на котором, легко манипулировать человеком. Достоинство состоит в преодолении страха, несмотря на риски.

Достоинство принципиально не поддается квалитетическому анализу. Достоинство – это точка равновесия между профессионализмом и социальными изменениями. Если эта точка смещается, то начинается ментальный или анонимический беспорядок во всех сферах жизни. Модернизация влечет переосмысление статуса и содержания социальных ролей преподавателя и ученого. Экономоцентричная радикализация такого осмысления ведет к искажению смыслов процесса трансляции и производства знаний. В ситуации стремительных социальных изменений востребовано переопределение ценностно-нормативных ориентаций в сфере образования, осмысление роли университета. Пережить этап перестройки целой сферы жизни людей с минимальными потерями – великое умение, которым обладают достойные люди, хранители ценностей и знаний. В этой ситуации достоинство преподавателя становится основой достоинства отечественного университета.

Список источников

1. Донских О.А. Воля к достоинству: Национальный идеал в истории России. 2-е изд., перераб. М. : ЛЕНАНД, 2018. 208 с.
2. Prigogine I. The End of Certainty. New York : Free Press, 1997. 240 p.
3. Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2012. 445 с.
4. Readings B. The University in Ruins. Cambridge Mass, London : Harvard University Press, 1997. 256 p.
5. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ; Хранитель, 2006. 872 с.
6. Семенов Е.В. Производство показателей как механизм подавления производства знаний, технологий и компетенций // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т. 2, № 1. С. 69–93.
7. Коллинз Р. Социологическая интуиция (Социологическая проницательность): Введение в неочевидную социологию / пер. с англ. В.Ф. Анурина // Личностно-ориентированная социология. М. : Академический проект, 2004. 608 с.
8. Барт Р. Мифология / пер с фр. С.Н. Зенкина. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 312 с.
9. «Нормальная аномия» в России и современном мире / под ред. С.А. Кравченко. М. : МГИМО-Университет, 2017. 281 с.
10. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. с фр. А.А. Качалова. М. : Изд. дом «Постум», 2015. 240 с.

11. Halfman W., Radder H. The Academic Manifesto: From an Occupied to a Public University // *Minerva*. 2015. № 53 (2). P. 165–187.
12. Alexander A., Manolchev C. The future of university or universities of the future: a paradox for uncertain times // *International Journal of Educational Management*. URL: <https://www.emerald.com/insight/0951-354X.htm> (accessed: 6.11.2021).
13. Wilshire B. The Moral Collapse of the University. Professionalism, Purity, and Alienation. NY : State University of New York Press, 1990. 287 p.
14. Kolsaker A. Relocating professionalism in an English university // *Journal of Higher Education Policy and Management*. 2014. № 36:2. P. 129–142.
15. Teichler U., Höhle E.A., Jacob A.K. The Academic Profession in Germany // *The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective* 18. Springer Nature, 2017. P. 167–192.
16. Пектора РГСУ Наталью Починок отстранили. Вуз критиковали за династичность и «фабрику диссертаций». URL: <https://www.bbc.com/russian/news-58177545> (дата обращения: 13.08.2021).
17. Пять фактов о скандальной диссертации Мединского. URL: <https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-41028352> (дата обращения: 5.11.2021).
18. Бауман З. Текущая современность / пер. с англ. и под ред. Ю.В. Асочакова. СПб. : Питер Пресс, 2008. 240 с.
19. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седелника, Н. Федоровой. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 383 с.
20. Министерство просвещения РФ поддерживает отказ от формулировки «оказание услуг» по отношению к учителям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. URL: <https://ria.ru/20210825/uslugi-1747225632.html> (дата обращения: 05.11.2021).
21. Лем С. Кибериада. Собр. соч. : в 10 т. Т. 6. М. : Текст, 1990. 360 с.
22. Логунова Л.Ю., Маженина У.А., Нятина Н.В. «Умные технологии» в системе жизнеобеспечения городов Кузбасса: социально-политический и социокультурный контексты. Кемерово, 2018. 284 с.
23. Бурдые П. Социальное пространство и символическая власть // *Альманах THESIS*. 1993. Т. 1, вып. 2. С. 137–150.
24. Бурдые П. Поле науки / Социальное пространство: поля и практики. СПб. : Алетейя, 2005. С. 473–518.

References

1. Donskikh, O.A. (2018) *Volya k dostoinstvu: Natsional'nyy ideal v istorii Rossii* [Will to Dignity: National Ideal in the History of Russia]. 2nd ed. Moscow: LENAND.
2. Prigogine, I. (1997) *The End of Certainty*. New York: Free Press.
3. Sztompka, P. (2012) *Doverie – osnova obshchestva* [Zaufanie. Fundament Spoleczenstwa]. Translated from Poland. Moscow: Logos.
4. Readings, B. (1997) *The University in Ruins*. Cambridge Mass, London: Harvard University Press.
5. Merton, R. (2006) *Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya struktura* [Social Theory and Social Structure]. Translated from English. Moscow: AST; Khronitel'.
6. Semenov, E.V. (2020) *Proizvodstvo pokazateley kak mekhanizm podavleniya proizvodstva znaniy, tekhnologii i kompetentsiy* [Production of indicators as a mechanism for suppressing the production of knowledge, technologies and competencies]. *Upravlenie naukoy: teoriya i praktika*. 2(1). pp. 69–93.
7. Collins, R. (2004) *Sotsiologicheskaya intuitsiya (Sotsiologicheskaya pronitsatel'nost'): Vvedenie v neochevidnyuyu sotsiologiyu* [Sociological intuition (Sociological insight): An introduction to non-obvious sociology]. Translated from English by V.F. Anurin. Moscow: Akademicheskii Proekt.
8. Barthes, R. (1996) *Mifologiya* [Mythology]. Translated from French by S.N. Zenkin. Moscow: Izd-vo im Sabashnikovskh.
9. Kravchenko, S.A. (ed.) (2017) *“Normal'naya anomiya” v Rossii i sovremennom mire* [“Normal anomie” in Russia and the modern world]. Moscow: MGIMO-Universitet.

10. Baudrillard, J. (2015) *Simulyakry i simulyatsiya* [Simulacra and simulation]. Translated from French by A.A. Kachalov. Moscow: Postum.
11. Halfman, W. & Radder, H. (2015) The Academic Manifesto: From an Occupied to a Public University. *Minerva*. 53(2). pp. 165–187.
12. Alexander, A. & Manolchev, C. (n.d.) The future of university or universities of the future: a paradox for uncertain times. *International Journal of Educational Management*. [Online] Available from: <https://www.emerald.com/insight/0951-354X.htm> (Accessed: 6th November 2021).
13. Wilshire, B. (1990) *The Moral Collapse of the University. Professionalism, Purity, and Alienation*. New York: State University of New York Press.
14. Kolsaker, A. (2014) Relocating professionalism in an English university. *Journal of Higher Education Policy and Management*. 36(2). pp. 129–142.
15. Teichler, U., Höhle, E.A. & Jacob, A.K. (2017) The Academic Profession in Germany. *The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective*. 18. pp. 167–192.
16. BBC. (n.d.) *Rektora RGSU Natal'yu Pochinok odstranili. Vuz kritikovali za dinastiynost' i "fabriku dissertatsiy"* [Rector of RSSU Natalya Pochinok was removed. The university was criticized for its dynasties and "factory of dissertations"]. [Online] Available from: <https://www.bbc.com/russian/news-58177545> (Accessed: 13th August 2021).
17. DW.com. (n.d.) *Pyat' faktov o skandal'noy dissertatsii Medinskogo* [Five facts about Medinsky's scandalous dissertation]. [Online] Available from: <https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-41028352> (Accessed: 5th November 2021).
18. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity]. Translated from English by Yu.V. Asochakov. St. Petersburg: Piter Press.
19. Beck, U. (2000) *Obshchestvo riska: Na puti k drugomu modernu* [Risk society: Towards a New Modernity]. Translated from German by V. Sedelnik, N. Fedorova. Moscow: Progress-Traditsiya.
20. Russian Federation. (n.d.) *Ministerstvo prosveshcheniya RF podderzhivaet otkaz ot formulirovki "okazanie uslug" po otnosheniyu k uchitelyam, zayavil glava vedomstva Sergey Kravtsov* [The Ministry of Education of the Russian Federation supports the abandonment of the wording "providing services" in relation to teachers, said the head of the department, Sergei Kravtsov]. [Online] Available from: <https://ria.ru/20210825/uslugi-1747225632.html> (Accessed: 5th November 2021).
21. Lem, S. (1990) *Kiberiada. Sobr. soch. v 10 t.* [Cyberiad. Works in 10 vols]. Vol. 6. Translated from Polish. Moscow: Tekst.
22. Logunova, L.Yu., Mazhenina, U.A. & Nyatina, N.V. (2018) *"Umnye tekhnologii" v sisteme zhizneobespecheniya gorodov Kuzbassa: sotsial'no-politicheskiy i sotsiokul'turnyy konteksty* ["Smart Technologies" in the Life Support System of Kuzbass Cities: Socio-Political and Socio-Cultural Contexts]. Kemerovo: [s.n.].
23. Bourdieu, P. (1993) *Sotsial'noe prostranstvo i simvolicheskaya vlast'* [Social space and symbolic power]. *THESIS*. 1(2). pp. 137–150.
24. Bourdieu, P. (2005) *Pole nauki / Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Field of science / Social space: fields and practices]. St. Petersburg: Aleteyya. pp. 473–518.

Сведения об авторах:

Донских О.А. – доктор философских наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск, Россия); Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, Россия). E-mail: olegdon-skikh@yandex.ru

Логунова Л.Ю. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социологических наук Кемеровского государственного университета (Кемерово, Россия). E-mail: vinsky888@mail.ru

Уткина А.Н. – доцент, кандидат социологических наук, доцент кафедры экономических наук и информационных технологий Беловского института (филиал) Кемеровского государственного университета (Белово, Россия). E-mail: uan69@bk.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Donskikh O.A., Dr. Sci. (Philosophy), head of the Department of Philosophy and Humanities, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation); Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: o.a.donskih@nsuem.ru

Logunova L.Yu., Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: vinsky888@mail.ru

Utkina A.N., Cand. Sci. (Social Sciences), docent, associate professor, Belovo Institute (branch) of Kemerovo State University (Belovo, Russian Federation).
E-mail: uan69@bk.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 27.12.2022;
одобрена после рецензирования 14.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 27.12.2022;
approved after reviewing 14.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК 373.1

doi: 10.17223/1998863X/71/19

ПРОФИЛИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Александра Витальевна Филькина¹, Ольга Сергеевна Камнева²

^{1,2} *Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия*

¹ *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *lexia@inbox.ru*

² *olganet@tspu.edu.ru*

Аннотация. Представлены результаты исследования профилей цифровой грамотности школьников 9–11-х классов школ г. Томска и Томской области. Эмпирической базой для исследования стали 15 полуструктурированных интервью со школьниками, собранных в марте–мае 2022 г. Для оценки параметров цифровой грамотности используется модель цифровой грамотности DigitalCompSAT 2020. Исследование дает представление о диапазоне навыков школьников в различных аспектах цифровой грамотности и может быть использовано в качестве методологической базы для разработки инструментов для оценки цифровой грамотности школьников старших классов.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые навыки школьников, параметры цифровой грамотности

Благодарности: статья написана в рамках исследования, выполненного за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20001, <https://rscf.ru/project/22-28-20001/> и средств Администрации Томской области.

Для цитирования: Филькина А.В., Камнева О.С. Профили цифровой грамотности школьников // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 204–214. doi: 10.17223/1998863X/71/19

Original article

PROFILES OF SCHOOLCHILDREN'S DIGITAL LITERACY

Alexandra V. Filkina¹, Olga S. Kamneva²

^{1,2} *Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *lexia@inbox.ru*

² *olganet@tspu.edu.ru*

Abstract. Young people, on the one hand, are considered to be more advanced in terms of digital skills than older generations due to a more active use of the Internet from an earlier age. On the other hand, many studies show that digital skills are acquired selectively and unevenly by young people: schoolchildren are more likely to develop communication skills in social networks, using Internet access for communication and entertainment, while the skills of creating digital content and digital products, and also the ability to work with information are less developed. In our study, using local empirical material, we are trying to track the content profile and differences in digital literacy by various parameters among

young people aged 14 to 17, for which 15 semi-formalized interviews were conducted with schoolchildren in grades 9–11. To assess the levels of digital literacy in our study, we use the DigitalCompSAT 2020 digital literacy model, which includes such elements as: information literacy, communications and interaction, creation of digital content, safety, solution of problems. The article presents observations made in relation to various parameters of schoolchildren's digital literacy based on the results of interviews. A number of conclusions are made. Firstly, the uneven development of various aspects of schoolchildren's digital literacy is confirmed. The skills of using digital services and security are better developed, the skills of searching and critically evaluating information and creating new digital products/content are much less developed. Secondly, in our opinion, there are also certain gaps in the communication skill in social networks, which is most often assessed by researchers as a priori developed since schoolchildren spend a lot of time in them. Thirdly, the skill of creating new products or social content, in our opinion, can be a key parameter among aspects of digital literacy in the sense that its development may lead to an increase in other aspects of digital literacy. Fourthly, for schoolchildren, the skills associated with searching for information and critically evaluating it remain a "blind spot", children do not perceive them as skills that can be mastered and do not see a range of skills from "low" to "advanced". Fifthly, it can be assumed that the illusion of their own competence in all parameters of digital literacy arises in schoolchildren from the lack of visible practical challenges. The study gives an idea of the range of schoolchildren's skills in various aspects of digital literacy and can be used as a methodological basis for developing tools for assessing the digital literacy of high school students.

Keywords: digital literacy, digital skills of schoolchildren, digital literacy profiles

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-20001, <https://rscf.ru/project/22-28-20001/>, and by the Tomsk Region Administration.

For citation: Filkina, A.V. & Kamneva, O.S. (2023) Profiles of schoolchildren's digital literacy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 204–214. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/19

Введение

Молодежь, с одной стороны, считается более продвинутой в плане владения цифровыми навыками, чем старшие поколения, в силу активного использования интернета с более раннего возраста: эта разница в поколенческой социологии фиксируется, например, в концептах поколений X, Y и Z У. Штрауса и Н. Хоуа, выделяемых по факту существования различий в коммуникационных привычках и паттернах поведения в обращении с новыми технологиями и цифровыми ресурсами, а также в теории «цифровых аборигенов и иммигрантов» М. Пренски. Поколение Z – родившихся в XXI в. детей, называют «зумеры» и или «digital natives», появился и новый термин – «поколение альфа». С другой стороны, многие исследования демонстрируют, что цифровые навыки приобретаются молодыми людьми избирательно и неравномерно: школьники в большей степени осваивают навыки коммуникации в социальных сетях, используя доступ в интернет для общения и развлекательной деятельности [1], тогда как навыки создания цифрового контента и цифровых продуктов, а также умение работать с информацией развиты в меньшей степени и/или у меньшего числа школьников [2–5].

В нашем исследовании мы на локальном эмпирическом материале пытаемся отследить содержательный профиль и различия в цифровой грамотности по различным параметрам у молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Для оценки уровней цифровой грамотности мы используем модель цифровой грамотности DigitalCompSAT 2020, разработанную на основе рекомендаций

Европейской комиссии, включающую в себя такие элементы, как информационная грамотность; коммуникации и взаимодействие; создание цифрового контента; безопасность; решение проблем [6]. Для достижения поставленных исследовательских задач весной 2022 г. было проведено 15 полуформализованных интервью со школьниками 9–11-х классов. Исследование является пилотным; среди школ, выбранных для изучения, были представлены различные типы образовательных учреждений: сельская школа, городская школа, лицей. Результаты могут послужить основанием для разработки инструментов для оценки цифровой грамотности школьников и определения направлений цифровых разрывов.

Обзор литературы

Ключевые теоретические концепты. Цифровая грамотность – это полисемантическое понятие, содержательное наполнение которого является предметом ожесточенных дебатов научно-педагогического сообщества с начала XXI в. А. Кальвани и соавторы для оценки цифровой компетенции предложили теоретическую рамку, включающую три измерения: технологическое (умение использовать технологии не только для потребления, но и для формирования нового знания), когнитивное (умение критически оценивать цифровой текст и его надежность) и этическое (способность продуктивно взаимодействовать с людьми в интернете) [6]. В той или иной форме трехчастная модель применялась для измерения цифровых компетенций школьников, иногда в рамках этих трех направлений выделялись более конкретные параметры. Например, на платформе Международного общества технологий в образовании (ISTE) с 2007 г. использовались опросники, опиравшиеся на стандарт оценки технологических компетенций учащихся посредством измерения пяти параметров: креативность была выделена в отдельную категорию от технологических навыков, также выделялось умение обращаться с цифровыми ресурсами и средами, пусть и в потребительском ключе [7]. Когнитивное измерение цифровых компетенций является значимым параметром для исследователей цифрового неравенства школьников и студентов, поскольку именно по нему проходит, по всей видимости, основная линия цифрового разрыва внутри молодых поколений [8–11]. Для оценки уровней цифровой грамотности в нашем исследовании была выбрана модель цифровой грамотности DigitalCompSAT 2020, основные направления которой соответствуют методике измерения цифровой грамотности Росстатом [6. С. 19]: 1) информационная грамотность (навыки по поиску и оценке информации и использование этих навыков в академическом процессе); 2) коммуникации и взаимодействие (навыки общения в социальных сетях); 3) создание цифрового контента; 4) безопасность (навыки информационной безопасности); 5) решение проблем (в том числе использование интернета и цифровых ресурсов для решения потребительских, социальных и образовательных задач).

Обзор эмпирических исследований цифровой грамотности школьников и студентов

Новые поколения детей проводят в интернете больше часов, чем их родители, в том числе и в России [12], зачастую их навыки обращения с цифровыми ресурсами в большей степени развиты, чем у их родителей [13]. В то же

время исследования демонстрируют, что цифровые навыки приобретаются молодыми людьми избирательно и неравномерно, отчасти это связано и с конкретными занятиями детей в интернете: по данным масштабного европейского исследования активности детей в интернете «EU Kids Online» [1], школьники в основном сосредоточены на коммуникации с друзьями и семьей и развлекательной деятельности: просмотре видео, прослушивании роликов и онлайн-играх, тогда как, например, в создании контента или поиске/просмотре новостей участвует малая часть детей. Соответственно, исследователи приходят к выводам, что молодежь чаще развивает навыки именно в использовании развлекательных и социальных цифровых инструментов, и в развитии различных цифровых навыков у подростков возникает асимметрия [2, 3–5]. Использование интернета, развлекательных веб-сайтов и чтение новостей онлайн в среднем способствует повышению уровня цифрового чтения и академической успеваемости, так же как и использование интернет-ресурсов для учебы. Но что касается, например, онлайн-игр, игр через социальные сети и в целом проведения времени в социальных сетях в рекреационных целях, то их влияние на умение работать с информацией и на цифровое чтение скорее негативное [14–18].

Когда студенты начинают обучаться в университете, их навыки работы с цифровыми ресурсами в процессе обучения, а также критическая оценка источников информации, качества информации и авторов текстов находятся на более низком уровне, чем навыки социального общения в интернете [19–22].

Описание исследования. Весной 2022 г. было проведено 15 полуструктурированных интервью с учащимися разных ступеней образования (средняя и старшая школа) от 14 до 17 лет из различных типов образовательных учреждений г. Томска и Томской области. Площадками для проведения интервью стали сельская школа (МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района, 4 человека), неспециализированная городская школа (МАОУ СОШ № 12 г. Томска, 4 человека), специализированная городская школа (МАОУ СОШ № 29 г. Томска, 5 человек) и лицей (МАОУ лицей № 7 г. Томска, 2 человека). Выборка имела целевой характер на основе добровольного рекрутирования и степени доступности респондентов-школьников. Задачи, которые ставились в исследовании, были следующие: оценить различные элементы цифровой грамотности школьников с использованием модели цифровой грамотности DigitalCompSAT 2020, а также аккумулировать и проанализировать представления школьников о значимости цифровых навыков, путях их формирования и возможном неравенстве в степени владения различными аспектами цифровой грамотности сверстниками в их окружении.

Результаты исследования. Одно из основных наблюдений, которое было сделано по итогам проведенных интервью, состоит в том, что школьники, имеющие базовый/низкий уровень цифровой грамотности, не рефлексируют различия в уровнях цифровой грамотности среди ровесников. Для них не существует цифровых разрывов, они считают, что все школьники сейчас, имея доступ к интернету, обладают равными возможностями в использовании цифровых ресурсов и одинаковыми знаниями в сфере информационных технологий благодаря урокам информатики, доступности социальных сетей и т.д. Они различают только условный «базовый» уровень цифровой грамотности и «высокий», которым, по их мнению, обладают ученики, «увлекающиеся про-

граммированием». То есть школьники в принципе не видят возможных вариаций в степени владения навыками по поиску и оценке информации, информационной безопасности, использования возможностей социальных сетей. Остановимся на этом подробнее:

А. В вопросе **поиска и оценки информации**, школьники не только не обладают навыками критической оценки информации, но чаще всего не проблематизируют необходимость ее верификации. Критерием надежности информации большинство школьников считают ее источник: государственные каналы/источники информации рассматриваются как априори надежные и авторитетные, не требующие перепроверки и имеющие кредит полного доверия: *«если официальный (источник) – это правда»* (девушка, СОШ № 29 г. Томска). Такая ситуация контрастирует с тем, что на уровне речевых формул все респонденты хорошо знают теорию, например, то, что нужно *«пользоваться подтвержденной информацией»* и *«сравнивать источники информации»*. В действительности же для разграничения информации, которой стоит доверять и которой доверять не стоит, по мнению школьников, важен стиль сообщения: *«...стиль тоже важен, т.е. если написано более научным языком, идет какая-то ссылка на какие-то документы, сразу понимаю, что это правдивая информация, если нет, более разговорным языком, ну сразу мне понятно, это не совсем правдиво»* (девушка, СОШ № 29 г. Томска). Отсутствие практического навыка критической оценки информации и ее поиска связано, по всей видимости, с отсутствием практики. Зачастую школьники говорят, что *«новости их не интересуют»*, и подписаны на один региональный новостной паблик в соцсетях, а *«мировые новости»* узнают из федеральных телевизионных каналов. Реже новостями интересуются более целенаправленно, действительно сравнивая несколько телеграм-каналов, и в этом случае выбор каналов обусловлен советами людей из близкого окружения: *(предпочитаю) пользоваться проверенными источниками, которые советовали родители или знающие люди* (юноша, СОШ № 12).

Что касается оценки информации, которую используют в учебном процессе, то она фактически не дифференцируется: используются те ресурсы, которые открываются в поисковике первыми. Критерием оценки релевантности информации для них выступают *«понятность изложения»*, *«доступность»*, *«простота»*, *«интересность»*: *«...я просто открываю браузер, набираю тему и ищу нужную мне информацию, просто набираю и открываю сайт, на котором написано понятным языком, например, хорошее оформление и сразу понятно, сразу видна важная информация, т.е. когда на сайте написано сплошным текстом, не совсем уютно и приятно читать эту информацию, а когда что-то выделено, оформлен сайт я с удовольствием открываю, читаю»* (девушка, СОШ № 29 г. Томска). Учителя могут иногда ориентировать на конкретные источники информации, но не в плане различения баз данных, а посредством списков источников литературы с фамилиями авторов (как правило, учебников). В отдельных случаях школьники с условно высоким уровнем цифровой грамотности могут занять активную позицию в освоении информации, необходимой в учебе или приобретении конкретных навыков (веб-дизайн, программирование), самостоятельно пробуя и сопоставляя доступные онлайн-ресурсы: *«...я когда учился программировать, попробовал курсы „...“, они там просто берут информацию из от-*

крытых источников и преподносят ее. Если уж заниматься платно, то в „***“, они там предоставляют трудоустройство» (юноша, СОШ № 29 г. Томска). Тогда как школьники на базовом уровне в большей степени пассивны в освоении программ и инструментов. При этом, даже при низком уровне критической оценки информации и навыков по ее поиску, сами школьники оценивают свое владение данным навыком высоко.

Б. Коммуникация и презентация себя в интернет-пространстве, социальные сети. В большинстве своем молодые люди используют социальные сети в очень ограниченном функционале: для общения с теми, кого знают лично, – друзьями и родственниками, из непосредственного окружения. Также большинство из них являются пассивными пользователями: они ничего не публикуют на своих страницах в социальных сетях, никак себя не позиционируют и даже редко комментируют что-либо. Основной социальной сетью для них является «ВКонтакте». Главная функция социальных сетей для них – это коммуникация с одноклассниками, чтение новостей в группах по интересам или просто потребление развлекательного контента. Активная позиция в социальных сетях чаще коррелирует с высоким уровнем ЦГ по другим параметрам и сопряжена, например, с попытками вести свой телеграм-канал, модерированием других каналов, вступлением в дискуссии в сообществах и даже троллингом: «...сам могу троллить людей, если они изображают, что разбираются там в чем-то, а на самом деле нет» (юноша, СОШ № 29 г. Томска).

В. Использование цифровых ресурсов для создания новых продуктов / цифрового контента. Создание новых продуктов с использованием цифровых средств или нового цифрового контента – наиболее очевидный для школьников параметр, по которому они проводят различия в уровне цифровой грамотности между сверстниками. В большинстве своем подростки владеют только какими-то простыми программами/фильтрами для обработки фотографий, но иногда наличие конкретных интересов приводит их к освоению более сложных программ: по дизайну, обработке музыки, языков программирования. Любопытным моментом является то, что освоение какого-то инструмента формирует также навык активного использования интернета для решения практических задач, т.е. появление более универсальных навыков. Довольно часто также звучит нарратив *попробовал и понял, что это не мое* в отношении попыток использования социальных сетей для конструирования и продвижения любого личного образа или творческого продукта. Наполнение личного профиля и привлечение фолловеров рассматривается как тяжелый труд, на который нужно время и желание и который не оправдывает усилий или мешает другим видам деятельности, например учебе. «Да, был такой момент, когда я думала, что можно попробовать набрать аудиторию, постила фотографии... Но набрать подписчиков оказалось сложно, и вообще, вроде обрабатываешь фото, но так красиво не получается, как у профессиональных блогеров. А еще я стеснялась тех, кого вживую знаю, помню, даже блокировала их... Потом бросила это дело. Месяца (через) два, наверное» (девушка, МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района). «Раньше, когда инстаграм был открыт, и я пыталась что-то вести свой блог, но не знаю мне введение блога очень... введение блога занимает большое количество времени, т.е. это, конечно интересно, но надо полностью углубляться

туда, т.е. это занимает очень много времени» (девушка, СОШ № 29 г. Томска). Получается, что непродолжительный опыт более интенсивного использования цифровых ресурсов (даже просто наполнение своей страницы в блоге) не позволяет сформироваться навыкам по активному решению задач с использованием цифровых ресурсов, но создает иллюзию «я в принципе могу, но у меня сейчас другие задачи» (девушка, МАОУ СОШ № 12 г. Томска), например учеба.

Г. Безопасность. Из массовых опросов видно, что почти каждый второй подросток сталкивается с неприятными контактами в интернете (коммуникация с незнакомцами, агрессивные сообщения) и деструктивным контентом (сцены насилия, причинения вреда людям или группам людей), намного реже (не более 15% в выборке) молодые люди выступают объектами киберагрессии, злоупотребления их личной информацией со стороны других людей или теряют деньги в интернете [12]. Участвовавшие в нашем исследовании молодые люди также упоминали о том, что после регистрации в социальных сетях в начальной школе они получали сообщения от незнакомых людей, после чего учились использовать настройки приватности: «...естественно, я когда создала „одноклассники“, по-моему, первым, вообще были ужасы, мне сразу написали какие-то кавказские мужчины и естественно мы сразу закрыли аккаунт, я закрыла сообщение» (девушка, МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района). На момент обучения в старшей школе или колледже все они и их сверстники уже имели закрытые профайлы. Также рядовой ситуацией для них выступал опыт взлома их аккаунтов в социальных сетях и последующее укрепление системы безопасности своих страниц. Интересным моментом здесь является то, что в соответствии с данными исследования «EU Kids online» 2017–2019 гг., проанализированными Г. Солдатовой и Е. Рассказовой, более активные формы родительского контроля над действиями детей в социальных сетях (запреты, ограничения и т.д.) приводят скорее к большей пассивности, более низкому уровню цифровой грамотности, к тому, что подростки скрывают свои действия в интернете от родителей, но не предотвращают столкновение подростков с онлайн-рисками. Более значимым фактором, связанным со способностью иметь дело с онлайн-рисками, является возраст: старшеклассники намного лучше могут справиться с онлайн-угрозами, чем учащиеся младшей школы. Наши данные также подтверждают, что в плане информационной безопасности для школьников более значимым становится их собственный опыт и опыт сверстников; уроки информатики в плане информационной безопасности оказываются менее значимыми, поскольку тема рассматривается позже, чем школьники смогли приобрести опыт общения в интернете. Что касается родительского контроля, то более типичным для школьников является отсутствие коммуникации с родителями касательно их опыта в интернете, хотя здесь возможны вариации, и наше исследование, будучи разведывательным, не позволяет специфицировать различные паттерны родительского контроля действий школьников в интернете.

Д. Решение проблем. В плане использования цифровых сервисов для решения потребительских, социальных или образовательных задач у школьников почти не наблюдается различий в степени владения ими. Для данного возраста как потребительские (интернет-магазины), социальные (например, «Госуслуги»), так и образовательные сервисы интуитивно понятны и не вы-

зывают проблем в их использовании. *«Почти все люди совершают покупки через интернет, оплачивают счета. Но я не назвала бы это очень важным навыком, так как этому очень легко научиться, особенно современному поколению»* (девушка, МАОУ лицей № 7 г. Томска). Даже школьники с условно низким уровнем грамотности по другим параметрам часто помогают своим старшим родственникам, мамам или бабушкам в использовании платформ. При вынужденном переходе на дистанционное обучение во время эпидемии COVID-19 школьники, по их словам, иногда быстрее осваивали интерфейс образовательных платформ, чем их учителя (что никак не связано с эффективностью обучения на этих платформах и предполагает необходимость развития совершенно других навыков, например самоорганизации).

Заключение и ограничения

Проведенное нами разведывательное исследование позволило нам сделать некоторые промежуточные выводы о профилях развития цифровой грамотности у школьников:

1. Подтверждается наличие неравномерного освоения различных аспектов цифровой грамотности школьниками. Лучше всего развиты навыки использования цифровых сервисов и безопасности, в гораздо меньшей степени – навыки поиска и критической оценки информации и создания новых цифровых продуктов/контента.

2. В навыке коммуникации в социальных сетях, который чаще всего оценивается исследователями как априори развитый, поскольку школьники проводят в них много времени, на наш взгляд, также имеется определенное пространство для разрывов: поведение в социальных сетях может быть как более активным, так и пассивным, при этом пассивное поведение в социальных сетях предполагает очень ограниченный функционал их использования.

3. Навык создания новых продуктов или социального контента, как нам кажется, оказывается значимым параметром среди аспектов цифровой грамотности в том смысле, что его развитие, возможно, ведет к повышению и других аспектов цифровой грамотности, включая навыки коммуникации в социальных сетях.

4. Для школьников навыки, связанные с поиском информации и критической ее оценкой, остаются «слепой зоной», они не воспринимают их как навыки, которые можно освоить, и не видят диапазона навыков от «низкого» до «продвинутого».

5. Можно предположить, что иллюзия собственной компетентности по всем параметрам цифровой грамотности возникает у школьников от отсутствия видимых практических вызовов: за исключением тех школьников, кто обучается в специализированных классах/школах и/или коммуницирует оффлайн или онлайн со специализированными группами по интересам (обработка видео, программирование, геймерство и т.д.), подростки не сталкиваются с задачами, которые им нужно было бы решать за счет расширения цифровых компетенций. Например, тот же навык по поиску информации не видится ими как что-то, требующее специального освоения, пока они не попадают в вуз, потому что школьные учителя не проблематизируют этот навык. То же относится и к информационной безопасности – большинство вызовов, которые школьники решают в этот плане, имеют место в младшей и

средней школе, когда они только начинают пользоваться социальными сетями. Поэтому эти блоки на уроках информатики, изучаемые в рамках программы, являются для них давно пройденными на практике и потому не релевантными; более глубокие задачи по информационной безопасности в школе не ставятся, и если в силу довольно пассивного использования интернета сами школьники с ними не сталкиваются, то и навык не углубляется.

Полученные нами представления о развитости различных параметров цифровой грамотности у школьников станут отправной точкой для создания конкретного инструментария для оценки цифровых навыков и констатирования цифровых разрывов или «слабых мест» в цифровых компетентностях школьников. В то же время наше исследование имеет ряд очевидных ограничений: 1) исследование носило разведывательный характер, в выборку попало очень ограниченное количество школьников с «продвинутыми» цифровыми навыками, интервью не проводилось с учащимися специализированных лицеев, в выборке оказалось больше девочек, чем мальчиков; 2) результаты исследования и в частности обозначенные диапазоны параметров цифровой грамотности имеют привязку к локальному контексту небольшого города, географически удаленного от столицы и крупных городов с другими образовательными возможностями, в других городах картина диапазона цифровых навыков может отличаться.

Список источников

1. *Smahel D.* EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. 2020. URL: <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-March2020.pdf> (accessed: 17.10.2022).
2. *Pangrazio L.* Young people's literacies in the digital age: Continuities, conflicts and contradictions. Routledge, 2018. 188p.
3. *Henderson M., Selwyn N., Finger G., Aston R.* Students' everyday engagement with digital technology in university: Exploring patterns of use and 'usefulness' // *Journal of Higher Education Policy and Management*. 2015. № 37 (3). P. 308–319.
4. *Lazonder A., Walraven A., Gijlers H., Janssen N.* Longitudinal assessment of digital literacy in children: Findings from a large Dutch single-school study // *Computers & Education*. 2020. Vol. 143. P. 103681.
5. *Lambić D.* Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students // *Computers in Human Behavior*. 2016. Vol. 61. P. 313–320.
6. Оценка цифровой готовности населения России : докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Н.Е. Дмитриева (рук. авт. кол.), А.Б. Жулин, Р.Е. Артамонов, Э.А. Титов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 86 с.
7. *Covello S., Lei J.* A review of digital literacy assessment instruments // *Syracuse University*. 2010. Vol. 1. P. 31.
8. *Chan B., Churchill D., Chiu T.K.* Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach // *Journal of International Education Research (JIER)*. 2017. Vol. 13, № 1. P. 1–16.
9. *Ávila J.A., Pandya J.Z.* Critical Digital Literacies as Social Praxis: Intersections and Challenges. New Literacies and Digital Epistemologies. Peter Lang Inc., International Academic Publishers, New York, 2013. 228 p.
10. *Hilton J.T.* Digital critical dialogue: A process for implementing transformative discussion practices within online courses in higher education // *Journal of Online Learning and Teaching*. 2013. Vol. 9, № 4. P. 602–614.
11. *Roche T.B.* Assessing the role of digital literacy in English for Academic Purposes university pathway programs // *Journal of Academic Language and Learning*. 2017. Vol. 11, № 1. P. A71–A87.
12. *Soldatova G.U., Rasskazova E.I., Chigarkova S.V.* Digital Socialization of Adolescents in the Russian Federation: Parental Mediation, Online Risks, and Digital Competence // *Psychology in Russia: State of the Art*. 2020. Vol. 13, № 4. P. 191–206.

13. Глухов А.П., Стаховская Ю.М. Цифровой разрыв в фокусе межпоколенческой коммуникации / А.П. Глухов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 59. С. 148–155.
14. Hu J., Yu R. The effects of ICT-based social media on adolescents' digital reading performance: A longitudinal study of PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015 and PISA 2018 // *Computers & Education*. 2021. Vol. 175. P. 104342.
15. Feng S., Wong Y.K., Wong L.Y., Hossain L. The Internet and Facebook usage on academic distraction of college students // *Computers & Education*. 2019. Vol. 134. P. 41–49.
16. Junco R. The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement // *Computers & education*. 2012. Vol. 58, № 1. С. 162–171.
17. Junco R., Heiberger G., Loken E. The effect of Twitter on college student engagement and grades // *Journal of computer assisted learning*. 2011. Vol. 27, № 2. P. 119–132.
18. Kirschner P.A., Karpinski A.C. Facebook and academic performance // *Computers in human behavior*. 2010. Vol. 26, № 6. P. 1237–1245.
19. McGrew S., Breakstone J., Ortega T., Smith M., Wineburg S. Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning // *Theory & Research in Social Education*. 2018. Vol. 46, № 2. P. 165–193.
20. Barak M. Are digital natives open to change? Examining flexible thinking and resistance to change // *Computers & Education*. 2018. Vol. 121. P. 115–123.
21. Henderson M., Selwyn N., Finger G., Aston R. Students' everyday engagement with digital technology in university: Exploring patterns of use and 'usefulness' // *Journal of Higher Education Policy and Management*. 2015. Vol. 37, № 3. P. 308–319.
22. Morgan A., Sibson R., Jackson D. Digital demand and digital deficit: conceptualising digital literacy and gauging proficiency among higher education students // *Journal of Higher Education Policy and Management*. 2022. P. 1–18.

References

1. Smahel, D. (2020) *EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries*. [Online] Available from: <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-March2020.pdf> (Accessed: 17th October 2022).
2. Pangrazio, L. (2018) *Young people's literacies in the digital age: Continuities, conflicts and contradictions*. Routledge.
3. Henderson, M., Selwyn, N., Finger, G. & Aston, R. (2015) Students' everyday engagement with digital technology in university: Exploring patterns of use and 'usefulness'. *Journal of Higher Education Policy and Management*. 37(3). pp. 308–319.
4. Lazonder, A., Walraven, A., Gijlers, H. & Janssen, N. (2020) Longitudinal assessment of digital literacy in children: Findings from a large Dutch single-school study. *Computers & Education*. 143. pp. 103681.
5. Lambić, D. (2016) Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students. *Computers in Human Behavior*. 61. pp. 313–320.
6. Dmitrieva, N.E., Zhulin, A.B., Artamonov, R.E. & Titov, E.A. (2021) *Otsenka tsifrovoy gotovnosti naseleniya Rossii* [Assessment of digital readiness of the population of Russia]. Moscow: HSE.
7. Covello, S. & Lei, J. (2010) A review of digital literacy assessment instruments. *Syracuse University*. 1. p. 31.
8. Chan, B., Churchill, D. & Chiu, T.K. (2017) Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. *Journal of International Education Research (JIER)*. 13(1). pp. 1–16.
9. Ávila, J.A. & Pandya, J.Z. (2013) *Critical Digital Literacies as Social Praxis: Intersections and Challenges. New Literacies and Digital Epistemologies*. New York: Peter Lang Inc., International Academic Publishers.
10. Hilton, J.T. (2013) Digital critical dialogue: A process for implementing transformative discussion practices within online courses in higher education. *Journal of Online Learning and Teaching*. 9(4). pp. 602–614.
11. Roche, T.B. (2017) Assessing the role of digital literacy in English for Academic Purposes university pathway programs. *Journal of Academic Language and Learning*. 11(1). pp. A71–A87.
12. Soldatova, G.U., Rasskazova, E.I. & Chigarkova, S.V. (2020) Digital Socialization of Adolescents in the Russian Federation: Parental Mediation, Online Risks, and Digital Competence. *Psychology in Russia: State of the Art*. 13(4). pp. 191–206.

13. Glukhov, A.P. & Stakhovskaya, Yu.M. (2021) The Digital Divide in the Focus of Intergenerational Communication. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy. Sociology and Political Science*. 59. pp. 148–155. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/59/14
14. Hu, J. & Yu, R. (2021) The effects of ICT-based social media on adolescents' digital reading performance: A longitudinal study of PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015 and PISA 2018. *Computers & Education*. 175. pp. 104342.
15. Feng, S., Wong, Y.K., Wong, L.Y. & Hossain, L. (2019) The Internet and Facebook usage on academic distraction of college students. *Computers & Education*. 134. pp. 41–49.
16. Junco, R. (2012) The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. *Computers & Education*. 58(1). pp. 162–171.
17. Junco, R., Heiberger, G. & Loken, E. (2011) The effect of Twitter on college student engagement and grades. *Journal of Computer Assisted Learning*. 27(2). pp. 119–132.
18. Kirschner, P.A. & Karpinski, A.C. (2010) Facebook and academic performance. *Computers in Human Behavior*. 26(6). pp. 1237–1245.
19. McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M. & Wineburg, S. (2018) Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning. *Theory & Research in Social Education*. 46(2). pp. 165–193.
20. Barak, M. (2018) Are digital natives open to change? Examining flexible thinking and resistance to change. *Computers & Education*. 121. pp. 115–123.
21. Henderson, M., Selwyn, N., Finger, G. & Aston, R. (2015) Students' everyday engagement with digital technology in university: Exploring patterns of use and 'usefulness'. *Journal of Higher Education Policy and Management*. 37(3). pp. 308–319.
22. Morgan, A., Sibson, R. & Jackson, D. (2022) Digital demand and digital deficit: conceptualising digital literacy and gauging proficiency among higher education students. *Journal of Higher Education Policy and Management*. pp. 1–18.

Сведения об авторах:

Филькина А.В. – доцент, кандидат социологических наук, мл. научный сотрудник лаборатории киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия); научный сотрудник Института образования Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: lexia@inbox.ru

Камнева О.С. – научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Парка инновационных образовательных практик Института развития образования Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: olganet@tspu.edu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Filkina A.V. – researcher at the Research Laboratory of Cyber Socialization and Formation of the Digital Educational Environment Parks of Innovative Educational Practices, Institute for Education Development, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation); researcher at the Institute of Education, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lexia@inbox.ru

Kamneva O.S. – researcher at the Research Laboratory of Cyber Socialization and Formation of the Digital Educational Environment Parks of Innovative Educational Practices, Institute for Education Development, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: olganet@tspu.edu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 18.10.2022;
одобрена после рецензирования 30.11.2022; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 18.10.2022;
approved after reviewing 30.11.2022; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья
УДК 316.3
doi: 10.17223/1998863X/71/20

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ: АНАЛИЗ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ УЯЗВИМЫХ ГРУПП ДО И ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Елена Ростиславовна Ярская-Смирнова¹, Ольга Андреевна Косова²,
Валентина Николаевна Ярская-Смирнова³

¹ *Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия, elena.iarskaia@gmail.com*

² *Независимый исследователь, Ярославль, Россия, olga.kosoffa@gmail.com*

³ *Саратовский государственный технический университет имени Ю. Гагарина, Саратов, Россия, yarskayasmirnovavn@sstu.ru*

Аннотация. Представлены результаты контент-анализа и сетевого медиа-анализа в динамике изменений дискурса о маломобильных группах на страницах российских печатных СМИ до и в период пандемии коронавируса. Выявлены акценты на самодостаточности и активности представителей изучаемых групп, связанные с дисбалансом в распределении ответственности за решение проблем социально уязвимых граждан.

Ключевые слова: пандемия, маломобильные группы, люди с инвалидностью, пожилые, родители с маленькими детьми, репрезентации, сетевой медиа-анализ, контент-анализ, СМИ

Благодарности: исследование выполнено при поддержке РФФ, грант № 18-18-00321-П.

Для цитирования: Ярская-Смирнова Е.Р., Косова О.А., Ярская-Смирнова В.Н. Маломобильные в российских печатных СМИ: анализ репрезентаций уязвимых групп до и во время пандемии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 215–224. doi: 10.17223/1998863X/71/20

Original article

LOW-MOBILITY GROUPS IN RUSSIAN PRESS: ANALYSIS OF REPRESENTATIONS OF VULNERABLE GROUPS BEFORE AND DURING THE PANDEMIC

Elena R. Iarskaia-Smirnova¹, Olga A. Kosova²,
Valentina N. Yarskaya-Smirnova³

¹ *National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation, elena.iarskaia@gmail.com*

² *Independent Researcher, Yaroslavl, Russian Federation, olga.kosoffa@gmail.com*

³ *Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russian Federation, yarskayasmirnovavn@sstu.ru*

Abstract. The article presents the results of content analysis and network media analysis in the dynamics of changes in the discourse about low-mobility groups in Russian print media before and during the coronavirus pandemic. The following subgroups were classified in the study as low-mobility: persons with impairments and disabilities, elderly people, pregnant

women, people with small children. The research is based on the analysis of materials from the archives of the daily editions of *Rossiyskaya Gazeta* (RG) and *Komsomolskaya Pravda* (KP). The discourse about the accessible environment has significantly decreased over the past four years on the pages of RG and KP, and this suggests that the issues of comfort and accessibility of public spaces for all citizens have lost their former problematic relevance. At the same time, the discourse about persons with disabilities (PWD) remains quite noticeable. But, if in RG its intensity has hardly changed, then in KP the discourse about PWD has shrunk in the first two years of the pandemic. In RG, on the contrary, with the beginning of the pandemic, more materials about the experience of the disease of PWD began to be published. Most of the other materials in RG and KP wrote about the elderly and PWD. They are represented as needing support or initiators of any social actions. The analysis revealed the emphasis on self-sufficiency and activity of representatives of the studied groups associated with an imbalance in the distribution of responsibility for solving the problems of socially vulnerable citizens.

Keywords: COVID-19 pandemic, low-mobility groups, persons with disabilities, elderly, parents of small children, representations, network media analysis, content analysis, mass media

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00321.

For citation: Iarskaia-Smirnova, E.R., Kosova, O.A. & Yarskaya-Smirnova, V.N. (2023) Low-mobility groups in russian press: analysis of representations of vulnerable groups before and during the pandemic. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 215–224. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/20

Введение

Маломобильными в российской правовой среде называют группу граждан, испытывающих трудности при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации или при ориентировании в пространстве [1]. Отличаясь от большинства своими особыми потребностями, маломобильные воспринимаются в обществе в качестве других, непонятных, инаковых. Исторически сложившиеся сегрегационные установки восприятия людей с ОВЗ как инаковых все еще сильны в российском обществе [2]. Такое подразделение на «своих» и «чужих» может порождать объективизацию людей и социальных групп, вытеснение их из публичного дискурса или закрепление подчиненной позиции в репрезентациях [3].

Средства массовой информации могут сталкивать и примирять политические и социальные интересы [4]. Распространяя определенные ценности среди представителей той или иной культуры, СМИ связывают их воедино и формируют их представления о социальной реальности; такое культивирование становится особенно влиятельным, «когда потребители СМИ не имеют предварительных знаний об определенной проблеме» [5. Р. 410] и полагаются на заботливо приготовленные для потребления образные клише. Структурированное чтение газетных статей позволяет выявить не только характер социальных изменений, но и то, как социальный контроль и доминирование достигаются с помощью текстов в СМИ [6].

Как изображаются представители маломобильных групп? Как объясняются их проблемы? Образы уязвимых групп в печатных СМИ могут не только рассказать нам о их социальном статусе, но и показать, как другие акторы и институты, в том числе социальные сервисы, становятся частью сложной символической работы по созданию смысла [7]. Информационно-развле-

кательный характер медиа подразумевает тривиализацию и придание сенсационности новостям [8]. Такие репрезентации придают общественным проблемам значение «важных» и «неважных», изображают «победителей» и «проигравших», конструируют «достойных» и «недостойных» клиентов, «виновных» и «ответственных» действующих лиц [9].

Маломобильные уязвимы, они труднее приспосабливаются к изменениям. В условиях пандемии причастность к социально уязвимым группам может стать фатальным фактором [10]. Образы уязвимых групп формируются в контексте усилий по выработке социальной политики и способствуют восприятию населением государства благосостояния, делая социальное неравенство видимым или невидимым, определяя одни проблемы как важные и замалчивая другие [7]. Тексты являются частью социального действия, при этом социальная и идеологическая работа, которую выполняет язык в создании, воспроизведении или преобразовании социальных структур, отношений и идентичностей, обычно упускается из виду [6. Р. 203–209]. Тексты могут отражать и направлять действие социальных структур, процессов и отношений.

Поэтому привлечение внимания к проблемам маломобильных, в том числе в СМИ, может способствовать распространению в обществе толерантных и просоциальных установок, настраивая на помощь ближним и наиболее уязвимым. Однако образы социально уязвимых групп в публичной сфере могут способствовать их стигматизации и снижению реального социального статуса.

В целях социологического анализа заметим, что группа маломобильных неоднородная, ее состав постоянно меняется, для большей части ее представителей этот статус временный. К маломобильным относят людей разного пола и возраста, проживающих во всех регионах страны, с разным жизненным опытом, уровнем образования и дохода. Поэтому различны барьеры, препятствующие их самостоятельному передвижению или получению услуг, равно как и их потребности [11]. Полагаем, что репрезентации представителей разных категорий этой группы в материалах российской прессы будут различаться. В связи с этим мы выделили следующие подгруппы маломобильных: инвалиды, дети-инвалиды, люди с временным нарушением здоровья (временно нетрудоспособные), пожилые люди, беременные женщины, люди с детскими колясками и малолетними детьми.

Основным популяризатором термина «маломобильный» в России стала государственная программа «Доступная среда», где маломобильные были объявлены основными бенефициарами. Действие программы началось в 2011 г. и далее продлено до 2025 г. [12]. Если изначально под доступной средой чаще понимали физическую доступность общественных пространств, то в программах последних лет фокус внимания чиновников сместился на решение коммуникативных задач, обусловленных особыми потребностями маломобильных граждан. Помимо государственных программ реализуются инициативы по организации доступной среды общественными организациями и частными компаниями. В частности, разрабатываются и внедряются практики внеочередного обслуживания маломобильных, этические принципы работы с людьми с разными формами инвалидности [13], дискутируются идеи инклюзии в образовании [14] и на рынке труда [15]. В связи с этим одной из задач нашего исследования стала оценка интенсивности дискурса о

доступной среде на страницах выбранных изданий в периоды до и во время пандемии коронавируса.

Согласно конструктивистскому подходу [16], в русле которого выполнено наше исследование, репрезентации какой-либо социальной группы в средствах массовой информации – не столько отражение ее реального положения в обществе, сколько способ формирования повестки дня и тематического наполнения общественных дискурсов по поводу этой группы и ее проблем. Выход социальной проблемы в публичное поле остается одним из наиболее действенных и быстрых способов решения социальных проблем в современной России. Но чтобы проблема была замечена, необходимо пройти не один фильтр.

Во-первых, издатели определяют редакционную политику СМИ. Именно их взгляд на проблему, если они в принципе посчитают ее за проблему актуальную или важную, и будет преподнесен аудитории [17]. Так, публичные площадки оформляют представления читателей о событиях, личностях и социальных группах. На интенсивность представления дискурса в СМИ влияет и то, что социальные проблемы конкурируют между собой за право занять лимитированное место в новостной повестке [18]. Поэтому одним из основных показателей «успешности» того или иного дискурса является интенсивность упоминаний социальной проблемы и связанных с ней категорий в публичной сфере. Отслеживание динамики упоминаемости проблемы помогает проследить ее жизненный цикл [19]. Диахронический анализ публичного дискурса о маломобильных в период до и после начала пандемии коронавируса позволит нам оценить уровень важности проблем этой социальной группы для власти и определить, насколько системен подход государства к защите прав и интересов его маломобильных граждан.

Пандемия в нашем исследовании выступает одновременно событийным и темпоральным фактором. С одной стороны, распространение коронавируса стало проблемой мирового масштаба, перетянувшей на себя огромную часть новостного контента, с другой – маломобильные также подверглись вызовам новой реальности и были вынуждены адаптироваться к ним. Здесь наш исследовательский интерес представляет выявление отражения в дискурсе крупных печатных СМИ: 1) опыта болезни и лечения маломобильных до и после начала пандемии; 2) использования новых практик жизни в условиях локдауна (самоизоляция, удаленка, онлайн-сервисы и др.); 3) практики помощи и поддержки маломобильных в период относительной стабильности до ковида и во время пандемического кризиса.

Методы сбора и обработки данных

Исследование построено на анализе материалов архивов ежедневных изданий «Российской газеты» и «Комсомольской правды» и еженедельных приложений к ним – «Российская газета – Неделя» и «Комсомольская правда – Толстушка». Отбор статей произведен из базы данных ресурса *Factiva* [20], предоставляющей доступ к полнотекстовым архивам изданий. Единицей анализа и единицей счета в исследовании является статья, удовлетворявшая лингвистическим критериям поиска, опубликованная с 01.01.2018 по 31.12.2021.

Выбор изданий для анализа обусловлен рядом причин: федеральный охват, схожая периодичность выхода номеров, прямая аффилиция или публичная лояльность к государственной политике издателей газет. Но в то же время издания отличаются по формату публикуемых материалов. «Российская газета» (РГ) является официальным правительственным бюллетенем, а «Комсомольская правда» (КП) – популярным частным таблоидом.

Для реализации исследования мы использовали два метода анализа текстов: количественный контент-анализ и сетевой медиа-анализ. Базой для контент-анализа стали таблицы частотных распределений встречаемости представителей маломобильных групп в статьях РГ и КП по годам, а также матрицы взаимных упоминаний маломобильных с такими категориями, как «доступная среда», «пандемия коронавируса», «акторы помощи». Результаты контент-анализа позволили нам проследить динамику изменений дискурса о маломобильных на страницах РГ и КП в периоды до и после начала пандемии коронавируса.

Сетевой медиа-анализ выполнен на основе тех же матриц, что и контент-анализ, однако представлен в формате графов взаимных упоминаний выбранных категорий. На этом этапе для визуализации графов мы использовали программу анализа сетевых структур *Gephi* [21]. Результаты сетевого анализа показывают наличие связи между подгруппами маломобильных и другими категориями анализа, плотность полученных сетей и меры центральности узлов графов. Сетевой анализ позволил сделать выводы об интенсивности дискурса о маломобильных в изучаемых печатных изданиях.

Результаты исследования

В статьях обоих изданий дискурс о группе маломобильных заметен. Но удельный вес материалов о маломобильных в РГ втрое больше, чем в КП. Это объясняется, в частности, тем, что в РГ интенсивность дискурса за последние четыре года сохранялась на одном уровне, а в КП дискурс потерял треть от своего прежнего объема за первые два года пандемии. Следовательно проблемы маломобильных стали менее заметными в на страницах КП в этот период. Отметим, что наиболее упоминаемой подгруппой среди маломобильных в обеих газетах стали пожилые люди. На втором месте по встречаемости в материалах изданий – инвалиды. На третьем в РГ – дети-инвалиды, а в КП – беременные женщины. В КП, в принципе, чаще пишут о семьях с детьми, беременных женщинах и родителях с детскими колясками, а в РГ – о маломобильных в целом и инвалидах. Это объяснимо разницей целевых аудиторий изданий. Анализ динамики количества публикаций о маломобильных, а особенно об основных подгруппах – пожилых и инвалидах, показал, что с началом пандемии коронавируса о проблемах этих людей стали меньше писать в изучаемых изданиях. И если в РГ к 2021 г. интенсивность дискурса о маломобильных вернулась к доковидным показателям 2018 г., то в КП этого так и не произошло.

Дискурс о доступной среде, в рамках которого одиннадцать лет назад маломобильные выкристаллизовались как отдельная социальная группа, обладающая особыми потребностями и правами, практически иссяк, особенно после начала эпидемии количество публикаций о доступной среде в обоих изданиях существенно сократилось. Но каждая подгруппа маломобильных в

построенной нами сети взаимных упоминаний все еще остается связанной с категорией «доступная среда». Наибольшая сила связи этой категории обнаружена с подгруппой «инвалиды», «дети-инвалиды» и собственно «маломобильные». То есть в публичном дискурсе декларируется первоочередное право этих групп граждан на доступную среду.

Пандемия коронавируса как явление в публикациях РГ и КП чаще упоминалось вместе с подгруппами пожилых людей, инвалидов и беременных женщин. Для иллюстрации репрезентаций влияния пандемии на жизни маломобильных людей мы сформировали два графа, где отражались опыт болезни маломобильных, и «новые практики», которые, на наш взгляд, помогали россиянам адаптироваться к вызовам коронавируса. Если до пандемии статьи о болезнях в обоих изданиях чаще были посвящены инвалидам, о необходимости госпитализации – пожилым людям и беременным женщинам, то после начала эпидемии число публикаций об опыте болезни и лечения пожилых людей увеличилось, о беременных осталось практически без изменений, а вот об инвалидах уменьшилось. Уменьшение произошло за счет общего снижения публикаций о маломобильных в КП с началом пандемии. К «новым практикам» адаптации к условиям жизни в пандемию мы отнесли онлайн-покупки и дистанционное получение услуг, ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, соблюдение рекомендованного режима самоизоляции, переход на удаленную работу и учебу, а также вакцинацию. Выяснилось, что уже до пандемии в изучаемых СМИ поднималась тема совершения покупок и получения услуг не выходя из дома в контексте жизни маломобильных, особенно пожилых людей и инвалидов. А действительно новыми в связи с пандемией стали обсуждения практик соблюдения социальной дистанции и домашнего режима маломобильными.

Отдельно остановимся на анализе дискурса оказания помощи маломобильным (рис. 1). Основными получателями помощи на страницах изданий представлены пожилые люди, инвалиды и чуть реже – дети-инвалиды. Главными помощниками декларируются тоже сами маломобильные граждане.

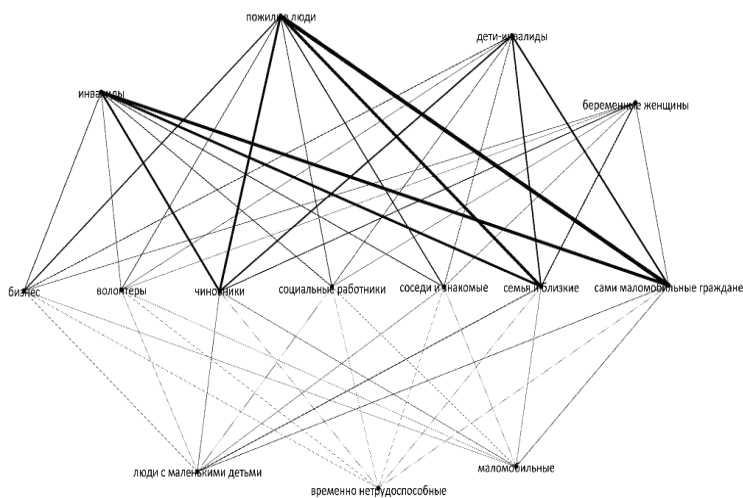


Рис. 1. Граф взаимных упоминаний маломобильных и акторов помощи в материалах РГ и КП в 2018–2021 гг.

То есть журналисты демонстрируют, как маломобильные самостоятельно или вместе с теми, кто испытывает подобные трудности, решают свои проблемы. С одной стороны, это говорит о поддержке идеи агентности и самодостаточности группы маломобильных, а с другой – издания, отражающие официальную позицию государства в отношении уязвимой группы, в том числе несовершеннолетних, по сути, возлагают на них основной груз ответственности за решение своих проблем. Отметим, что помимо самих маломобильных на страницах газет упоминается о помощи со стороны семьи и близких, а также чиновников разного уровня.

Выводы

Итак, дискурс о доступной среде за последние четыре года сошел на нет на страницах РГ и КП, и это говорит о том, что вопросы комфорта и доступности общественных пространств для всех граждан потеряли прежнюю проблемную актуальность. Вместе с тем дискурс о маломобильных остается достаточно заметным. Но если в РГ его интенсивность почти не изменилась, то в КП дискурс о маломобильных за два первых года пандемии снизился и проблемам маломобильных стали уделять значительно меньше внимания, они не выдержали конкуренции в период интенсификации новостных поводов. В РГ, напротив, с началом пандемии стало публиковаться больше материалов об опыте болезни маломобильных, т.е. дискурс встроился в актуальную повестку.

Помня о неоднородности группы маломобильных, заметим, что чаще остальных в РГ и КП писали о пожилых людях и инвалидах. То есть именно они репрезентируются как нуждающиеся в поддержке или инициаторы каких-либо социальных действий. Судя по тому, что главными помощниками людей, испытывающих трудности при передвижении по городу, на страницах обоих изданий были представлены сами маломобильные, в общем дискурсе все же преобладает их самостоятельная и инициативная, а не патерналистская позиция. Реже всего из маломобильных обе газеты писали о временно нетрудоспособных россиянах.

Следует принять во внимание ограничение нашего исследования, состоящее в том, что все графы, полученные в результате сетевого анализа, ненаправленные. Кроме того, в дальнейшем целесообразно провести качественный анализ отобранных статей, чтобы была возможность интерпретировать смыслы и тональности дискурса о маломобильных.

Список источников

1. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил СНиП 35-01-2001 „Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения“ (СП 59.13330.2012)». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_265673/
2. Кудяева Е.Г. Социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном российском обществе : дис. ... канд. социол. наук. Саранск, 2009. 218 с.
2. Маркина В.М. Стратегии репрезентации Других в СМИ: теория и методология контент-анализа // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1 (29). С. 82–90.
3. Livingstone S., Lunt P. The mass media, democracy and the public sphere // Talk on television: Audience participation and public debate / eds. S. Livingstone, P. Lunt. Routledge, 1994. P. 9–35.
4. Khvorostianov N., Elias N. ‘Leave us alone!’: Representation of social work in the Russian immigrant media in Israel // International Social Work. 2017. Vol. 60, № 2. P. 409–422.

5. Fairclough N. Critical Discourse Analysis. London : Longman, 1995. P. 265.
6. Iarskaia-Smirnova E.R., Kononenko R.V., Kosova O., Yarskaya V. "They should cook borsch, chop wood...": Contemporary Images of Social Work in the Context of Welfare Policy Reforms in Russia's Print Media // *European Journal of Social Work*. 2021. Vol. 24, № 2. P. 358–370.
7. Franklin B. Soft-soaping the public? The government and media promotion of social policy // *Social policy, the media and misrepresentation* / ed. B. Franklin. Routledge, 1999. P. 17–38.
8. Iarskaia-Smirnova E.R., Kosova O., Kononenko R.V. The 'last-minute children': Where did they come from, where will they go? Media portrayals of children deprived of parental care, 2006–2018 // *Reforming Child Welfare in the Post-Soviet Space*. Routledge, 2020. P. 47–67.
9. Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская-Смирнова В.Н. Маломобильные горожане как получатели и субъекты социальной помощи в период пандемии COVID-19: по данным социологического опроса // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2021. № 63. С. 145–152.
10. Шерстникова Т.А. Особенности адаптации маломобильных групп граждан в городской среде // *Молодой ученый*. 2012. № 6. С. 58–61.
11. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Доступная среда“ на 2011–2020 годы». URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/government/170>
12. Солдаткина М.А., Шарипова Э.Р., Коновалова Е.Е. Программа лояльности как важнейший элемент создания доступной среды на предприятиях гостеприимства // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. 2019. № 14.2. С. 92–99.
13. Денисова О.А., Кобрин Л.М., Леханова О.Л. Разработка специализированного регионального портала как инструмента профориентации, образования и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья // *Дефектология*. 2019. № 6. С. 50–57.
14. Ferdman B.M. Paradoxes of inclusion: Understanding and managing the tensions of diversity and multiculturalism // *The Journal of Applied Behavioral Science*. 2017. Vol. 53, № 2. P. 235–263.
15. Бест Д. Социальные проблемы // *Социальные проблемы: конструкционистское прочтение*. Казань : Изд-во Казан. ун-та. 2007. С. 26–54.
16. Кольцова О.Ю. Кто и как влияет на производство новостей в современной России // *Pro et Contra*. 2001. № 6 (2). С. 80–106.
17. Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен / пер. с англ. И.Г. Ясавеева // *Социальная реальность*. 2008. № 2. С. 73–94.
18. Ибарра П., Китсьюз Д. Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // *Социальные проблемы: конструкционистское прочтение*. Казань : Изд-во Казан. ун-та. 2007. С. 55–114.
19. Официальный сайт «Factiva». URL: <https://www.dowjones.com/professional/factiva/>
20. Паишков С.Г. Семантический сетевой подход: возможности и ограничения (пример образа инфляции в СМИ) // *Социологический журнал*. 2020. № 2. С. 8–30.
21. Официальный сайт «Gephi». URL: <https://gephi.org/>

References

1. Ministry of Regional Development of Russia. (2011) *Prikaz Minregiona Rossii ot 27.12.2011 № 605 Ob utverzhdenii svoda pravil SNIp 35-01-2001 "Dostupnost' zdaniy i sooruzheniy dlya malomobil'nykh grupp naseleniya"* (SP 59.13330.2012) [Order No. 605 of the Ministry of Regional Development of Russia dated December 27, 2011, "On approval of the set of rules SNIp 35-01-2001 'Accessibility of buildings and structures for people with limited mobility' (SP 59.13330.2012)"]. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_265673/
2. Kudaeva, E.G. (2009) *Sotsial'nye bar'ery trudoustroystva invalidov v sovremennom russiyskom obshchestve* [Social Barriers to the Employment of Disabled Persons in Modern Russian Society]. Sociology Cand. Diss. Saransk.
2. Markina, V.M. (2015) The strategies of othering in media representations: theory and method of content analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(29). pp. 82–90. (In Russian).
3. Livingstone, S. & Lunt, P. (1994) The mass media, democracy and the public sphere [The mass media, democracy and the public sphere]. In: Livingstone, S. & Lunt, P. (eds) *Talk on Television: Audience Participation and Public Debate*. Routledge. pp. 9–35.

4. Khvorostianov, N. & Elias, N. (2017) 'Leave us alone!': Representation of social work in the Russian immigrant media in Israel. *International Social Work*. 60(2). pp. 409–422.
5. Fairclough, N. (1995) *Critical Discourse Analysis*. London: Longman.
6. Iarskaia-Smirnova, E. R., Kononenko, R. V., Kosova, O. & Yarskaya, V. (2021) "They should cook borsch, chop wood...": Contemporary Images of Social Work in the Context of Welfare Policy Reforms in Russia's Print Media. *European Journal of Social Work*. 24(2). pp. 358–370.
7. Franklin, B. (1999) Soft-soaping the public? The government and media promotion of social policy. In: Franklin, B. (ed.) *Social Policy, the Media and Misrepresentation*. Routledge. pp. 17–38.
8. Iarskaia-Smirnova, E.R., Kosova, O. & Kononenko, R.V. (2020) The 'last-minute children': Where did they come from, where will they go? Media portrayals of children deprived of parental care, 2006–2018. In: Kulmala, M., Jäppinen, M., Tarasenko, A. & Pivovarova, A. *Reforming Child Welfare in the Post-Soviet Space*. Routledge. pp. 47–67.
9. Yarskaya-Smirnova, E.R. & Yarskaya-Smirnova, V.N. (2021) Low-Mobility Urban Groups as Beneficiaries and Actors of Social Support During the Covid-19 Pandemic: The Results of a Sociological Survey. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 63. pp. 145–152. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/63/14
10. Sherstnikova, T.A. (2012) Osobennosti adaptatsii malomobil'nykh grupp grazhdan v gorodskoy srede [Adaptation of low-mobility groups of citizens in the urban environment]. *Molodoy uchenyy*. 6. pp. 58–61.
11. Russian Federation. (2015) *Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.12.2015 № 1297 "Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Rossiyskoy Federatsii 'Dostupnaya sreda' na 2011–2020 gody"* [Decree No. 1297 of the Government of the Russian Federation of December 1, 2015, "On Approval of the State Program of the Russian Federation 'Accessible Environment' for 2011–2020"]. [Online] Available from: <https://mintrud.gov.ru/docs/government/170>
12. Soldatkina, M.A., Sharipova, E.R. & Konovalova, E.E. (2019) Programma loy'al'nosti kak vazhneyshiy element sozdaniya dostupnoy sredy na predpriyatiyakh gostepriimstva [Loyalty Program as an Important Element of Creating an Accessible Environment at Hospitality Enterprises]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy*. 14.2. pp. 92–99.
13. Denisova, O.A., Kobrina, L.M. & Lekhanova, O.L. (2019) Razrabotka spetsializirovannogo regional'nogo portala kak instrumenta proforientatsii, obrazovaniya i sodeystviya trudoustroystvu invalidov i lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Development of a specialized regional portal as a tool for career guidance, education and promotion of employment of people with disabilities and persons with disabilities]. *Defektologiya*. 6. pp. 50–57.
14. Ferdman, B.M. (2017) Paradoxes of inclusion: Understanding and managing the tensions of diversity and multiculturalism. *The Journal of Applied Behavioral Science*. 53(2). pp. 235–263.
15. Best, D. (2007) Sotsial'nye problemy [Social problems]. In: Yasaveev, I.G. (ed.) *Sotsial'nye problemy: konstruksionistское prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading]. Kazan: Kazan State University. pp. 26–54.
16. Koltsova, O.Yu. (2001) Kto i kak vliyaet na proizvodstvo novostey v sovremennoy Rossii [Who and how influences news production in modern Russia]. *Pro et Contra*. 6(2). pp. 80–106.
17. Hilgartner, S. & Bosk, Ch.L. (2008) Rost i upadok sotsial'nykh problem: kontseptsiya publichnykh aren [The rise and fall of social problems: The concept of public arenas]. Translated from English by I.G. Yasaveev. *Sotsial'naya real'nost'*. 2. pp. 73–94.
18. Ibarra, P. & Kitsuse, D. (2007) Diskurs vydvizheniya utverzhdeniy-trebovaniy i prostorechnye resursy [Statement-demand discourse and vernacular resources]. In: Yasaveev, I.G. (ed.) *Sotsial'nye problemy: konstruksionistское prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading]. Kazan: Kazan State University. pp. 55–114.
19. *Factiva*. The official website. [Online] Available from: <https://www.dowjones.com/professional/factiva/>
20. Pashkov, S.G. (2020) Semanticheskiy setevoy podkhod: vozmozhnosti i ogranicheniya (primer obraza inflyatsii v SMI) [Semantic Network Approach: Opportunities and Limitations (An Example of the Image of Inflation in the Media)]. *Sotsiologicheskii zhurnal*. 2. pp. 8–30.
21. *Gephi*. The official website. [Online] Available from: <https://gephi.org/>

Сведения об авторах:

Ярская-Смирнова Е.Р. — доктор социологических наук, профессор, заведующая Международной лабораторией исследований социальной интеграции Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: elena.iarskaia@gmail.com

Косова О.А. – магистр социологии, независимый исследователь (Ярославль, Россия). E-mail: olga.kosoffa@gmail.com

Ярская-Смирнова В.Н. – доктор философских наук, профессор, директор Научно-образовательного регионального центра мониторинговых исследований Саратовского государственного технического университета имени Ю. Гагарина (Саратов, Россия). E-mail: yarskayasmirnovavn@sstu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Iarskaia-Smirnova E.R. – Dr. Sci. (Sociology), professor, head of the International Laboratory for Social Integration Research, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: elena.iarskaia@gmail.com

Kosova O.A. – Master in Sociology, independent researcher (Yaroslavl, Russian Federation). E-mail: olga.kosoffa@gmail.com

Yarskaya-Smirnova V.N. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, director, Scientific and Educational Regional Center for Monitoring Research, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russian Federation). E-mail: yarskayasmirnovavn@sstu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 22.09.2022;
одобрена после рецензирования 13.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 22.09.2022;
approved after reviewing 13.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 321

doi: 10.17223/1998863X/71/21

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОКИ, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Сергей Владимирович Бирюков¹, Сергей Николаевич Чирун²,
Андрей Валерьевич Андреев³,
Динара Адалетовна Рахимжанова⁴

¹ *Центр российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета,
Шанхай, Кумай, birs.07@mail.ru*

² *Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия,
Sergii-Tsch@mail.ru*

³ *Областной телерадиоканал «Кузбасс», Кемерово, Россия, andreev@gtrk.kuzbass.net*

⁴ *Восточно-Китайский педагогический университет,
Шанхай, Кумай, dinarainsta@mail.ru*

Аннотация. Анализируются политические реалии современного Казахстана. Кризисы политического развития в постсоветских странах характеризуются многообразием конкретных форм и проявлений. Сегодняшний Казахстан переживает глубокий системный политический кризис, связанный с ослаблением либо прекращением действия ряда факторов, в течение нескольких десятилетий обеспечивавших стабильное функционирование политической системы страны. Авторы статьи предпринимают попытку комплексного рассмотрения ситуации, которая привела к современному кризису; характеризуется специфика казахстанской ситуации и оцениваются возможные перспективы ее развития.

Ключевые слова: Казахстан, кризисы развития, дефицит ресурсов, социальное напряжение, бонапартизм, консолидация политическая

Благодарности: Эта статья поддержана Центром российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета, в рамках проекта Министерства образования Главного исследовательского института гуманитарных и социальных наук для университетов Китая, номер проекта: 22JJD810010.

Для цитирования: Бирюков С.В., Чирун С.Н., Андреев А.В., Рахимжанова Д.А. Политический кризис в Казахстане: истоки, текущее состояние, перспективы развития и урегулирования // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 225–236. doi: 10.17223/1998863X/71/21

POLITICAL SCIENCE

Original article

POLITICAL CRISIS IN KAZAKHSTAN: ORIGINS, CURRENT STATE, PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND SETTLEMENT

**Sergei V. Biryukov¹, Sergey N. Chirun², Andrey V. Andreev³,
Dinara A. Rakhimzhanova⁴**

¹ *Center for Russian Studies of East China Normal University,
Shanghai, People's Republic of China, birs.07@mail.ru*

² *Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation, Sergii-Tsch@mail.ru*

³ *Kuzbass provincial television and radio channel, Kemerovo, Russian Federation,
andreev@gtrk.kuzbass.net*

⁴ *East China Normal University, Shanghai, People's Republic of China, dinarainsta@mail.ru*

Abstract. The authors of the article make an attempt to comprehensively consider the situation that led to the current crisis. The article characterizes the specifics of the Kazakh situation and assesses the possible prospects for its development. Today's Kazakhstan is experiencing a deep systemic political crisis associated with the weakening or cessation of a number of factors that have ensured the stable functioning of the country's political system for several decades. The mistakes of the previous authorities of Kazakhstan resulted in several waves of social protest. Now the consensus of the elites has been temporarily reached, but only the near future will show how ready the elites of Kazakhstan are for reasonable self-restraint for the sake of maintaining social stability. As can be assumed, the key tasks of the President of Kazakhstan for the near future are to preserve the unity of the political class of the country, prevent the default of the political system and its institutions, avoid the emergence of new mass "protest waves" and stop the pressure from outside, which is unfavorable for the country. The "great political game" around Kazakhstan is far from over for today. Socio-economic problems are not opportunistic, but systemic and structural in nature, and internal destabilization makes Kazakhstan the object of various adverse external influences, which requires an update of the national security strategy. One way or another, today systematic steps are needed to deepen the Russian-Kazakh partnership on the platform of the EAEU and the CSTO, since the balance of forces in the external environment, previously relatively favorable for Kazakhstan, is now upset. Kazakhstan also needs to make adjustments to its socio-economic policy. The question remains whether a liberal model of economic policy suits Kazakhstan, or whether it is necessary to move to a more paternalistic model with a larger set of institutional regulators. Without certainty on this issue, it will be difficult to reduce the social tension that has accumulated in society. The proposal of President Tokayev to reduce the scale of participation of the Kazakh state in the economy (state-owned companies, natural monopolies, corruption environment, etc.) looks rational and justified, but it is also necessary to determine the scale of the presence of the same state in the social sphere and the overall strategy of social policy. A systematic solution to the problem of socialization of young people, their cultural adaptation and their employment (especially in the south) is required, which would make it possible to more effectively manage internal labor migration and reduce the severity of the conflict along the "city-village" line. President Tokayev's idea of sending representatives of talented Kazakhstani youth to Russian technical universities looks reasonable, but does not eliminate the need to modernize the education system in Kazakhstan itself – including school, vocational and university education. It can also be assumed that such a large-scale and deep crisis in Kazakhstan will make Uzbekistan the informal leader of the Central Asian region, while the civilizational influence emanating from Kazakhstan will noticeably weaken. In addition, the trust of the Central Asian countries in each other is highly likely to weaken due

to the unwillingness to become the object of the “export of the color revolution” or simply instability from the nearest neighbors, who have similar problems and fight for the same resources, which can be considered confirmed by the newly aggravated at the beginning of the new year long-term conflict on the Tajik-Kyrgyz border. The latter means that intra-regional integration processes may enter an even deeper crisis. On the other hand, in the event of a successful settlement of the crisis in Kazakhstan, the influence and authority of Russia and China as countries contributing to the preservation of intra-regional stability will increase. At the same time, a lot will depend on the ability of the political elites of Kazakhstan and other Central Asian countries to offer a comprehensive solution to the accumulated internal problems that give rise to such crises.

Keywords: Kazakhstan, development crises, lack of resources, social tension, Bonapartism, political consolidation

Acknowledgments: This paper is supported by the Center for Russian Studies of East China Normal University under the MOE Project of Key Research Institute of Humanities and Social Sciences in Universities of China, Project Number 22JJD810010.

For citation: Biryukov, S.V., Chirun, S.N., Andreev, A.V. & Rakhimzhanova D.A. (2023) Political crisis in Kazakhstan: origins, current state, prospects for development and settlement. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 225–236. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/21

Многообразие путей развития процессов политической и экономической модернизации постсоветских обществ и стран является актуальной темой не только для исследователей посткоммунистических транзитов [1. С. 15–37], но и для всех изучающих политические кризисы в переходных обществах, включая постсоветские политические режимы со свойственными многим из них слабостью институтов и конституционно-правовых оснований вкупе с социальными рисками [2. Р. 2–17]. Не меньшее значение для политической науки имеет изучение способности элит и лидеров постсоветских стран регулировать подобные кризисы.

Научный политологический анализ трансформационных политических кризисов, подобных современному казахстанскому, рассматриваемому в качестве case study, представляется авторам актуальной научной задачей, поскольку от результатов и последствий урегулирования этого кризиса зависит не только будущее этого государства, но и протекание политических процессов на всем постсоветском пространстве [3].

Авторы статьи ставят своей задачей анализ истоков и оценку характера современного казахстанского кризиса, а также возможных путей и предпосылок выхода из сложившейся ситуации.

Исходная ситуация и ключевые черты кризиса

Истоком глубоких политических трансформаций в Республике Казахстан стали события декабря 1986 г. в г. Алма-Аты, обусловленные назначением Первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР Г.В. Колбина, официально оцененные тогда как антисоветские выступления [4].

Союзное правительство сделало соответствующие выводы из противостояния, имевшего этнополитическую подоплеку. В июне 1989 г. первым секретарем ЦК Компартии Казахстана назначается Н.А. Назарбаев, ставший менее чем через год, по решению Верховного Совета Республики, президентом Казахстана и утвердившийся в этой должности на всенародных выборах

16 декабря 1991 г. Президент Назарбаев стал архитектором новой политической системы Казахстана, осуществив ряд масштабных преобразований, и выстроил оригинальный политический режим [5. С. 55–72], постепенное уменьшение ресурса которого явилось одной из причин событий зимы уходящего года.

По заключению авторов, на рубеже 2021–2022 гг. Казахстан оказался в ситуации глубокого системного кризиса (политического, социально-экономического, идеологического), который в итоге перерос в массовые протестные выступления и попытку «цветной революции», которая включала в себя элементы сразу нескольких сценариев – случаи стихийного насилия (аналог – Кыргызстан), участие части элит в противостоянии с президентом и саботаж со стороны части государственных чиновников и силовиков (аналог – украинский Евромайдан), акцентируемый многими наблюдателями¹ «исламский фактор» (аналог – Узбекистан, Андижан), освещение событий практически теми же самыми телеграм-каналами из Польши (аналог – Беларусь).

Случившийся в Казахстане политический кризис характеризовался рядом признаков, в целом присущих «цветным революциям»: достаточно грамотная организация действий протестующих вкупе с их мобильностью, готовность участников выступлений к противостоянию полиции и специальным подразделениям, захват ряда властно-административных учреждений (акиматы в девяти городах) и объектов инфраструктуры (аэропорт Алма-Аты и др.), быстрый переход от экономических требований к политическим.

Подобное развитие событий оказалось неожиданностью для многих экспертов. Казахстан долгое время считался своеобразным островком стабильности в масштабах постсоветского пространства, следуя принципу «сначала экономика, потом политика» в течение всего периода своей независимости [6. Р. 401–426]. Страна в течение трех десятилетий избегала «цветных» революций, не имела военных столкновений с соседями, равно как и внутренних вооруженных конфликтов и явных проявлений регионального сепаратизма.

Сегодня Казахстан является второй по совокупному объему ВВП экономикой среди стран СНГ, превосходя по этому показателю соседний Узбекистан почти втрое (170 млрд долларов против 50 млрд), учитывая почти двукратное преимущество Узбекистана над Казахстаном в численности населения.

По показателям ВВП на душу населения (исходя из паритета покупательной способности) Казахстан прочно занимает второе место среди стран СНГ с показателем в 27,5 тыс. долларов США, уступая в этом отношении только России (29 тыс. долларов) и лидируя в Центральной Азии.

В то же время многими исследователями отмечаются несовершенство механизма распределения экономических благ, недочеты в социальной политике и в регулировании трудовых отношений², «блокировка» социальных

¹ Штепушова Л. Политолог Шибутев о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших // Правда РУ. 09.01.2022. URL: https://www.pravda.ru/world/1673935-kazakhstan_odkb (дата обращения: 01.03.2022).

² Жусупова А. Почему происходит рост социально-трудовых конфликтов в Казахстане? // Central Asian Bureau for Analytical Reporting. 09.12.21. URL: https://cabar.asia/ru/pochemu-proishodit-rost-sotsialno-trudovyh-konfliktov-v-kazakhstane?_utl_t=fb&fbclid=IwAR0UCNW04X2yuRUUVCQ4_us8s3IVJ7uEosh6bOfG6Zp17gKjOUHx9UIDLvqY (дата обращения: 01.03.2022).

лифтов вкупе с общей неустойчивостью социальной структуры и сложной социокультурной динамикой привели Казахстан к кризису, потенциал которого долго накапливался и вызвал потрясения на рубеже 2021–2022 гг.

В конечном итоге кризис политической системы Казахстана включает в себя целый ряд более частных кризисов:

1. Кризис доверия граждан Казахстана к политической системе в целом и к отдельным ее институтам, а также к повестке дня, транслировавшейся элитами.

2. Кризис доверия к политическому классу страны в целом в качестве реакции на его фактическое превращение в политическую корпорацию, реализующую собственные приоритеты и интересы.

3. Кризис партийно-политического механизма, связанный с неспособностью основных политических объединений контролировать политический процесс [7. Р. 36].

4. Кризис основных политических платформ и идеологий (не считая популизма) – у значительной части казахстанского общества доверие к ним отсутствует, а программно-идеологические различия основных политических сил слабо влияют на протекающие политические процессы [8. Р. 93].

5. Кризис властно-политического механизма, обусловленный тем, что последний не обеспечивает представительство интересов различных слоев общества, рассматривается как архаичный и несовершенный профессиональными политиками и самими избирателями [9. С. 85].

Обобщенно в Казахстане произошел фактический распад патримониалистского режима, сочетавшего в себе традиционную и легально-бюрократическую легитимность [10. С. 108–121], который пытался в течение длительного периода проводить модернизацию «сверху» – ему в итоге в своей значительной части отказали в доверии как сторонники более глубокой модернизации, так и ранее лояльные традиционалистские слои (из-за отказа государства от патерналистской модели), что предопределило итоговый кризис режима, который невозможно свести к одним только внутриэлитным противоречиям [11. С. 29–33].

Таким образом, в Казахстане в ситуации незавершенного властно-политического транзита на рубеже 2020–2021 гг. произошло соединение кризисов легитимности, доверия и управляемости в масштабах общенациональной политической системы.

Как итог кризиса, оказались размыты, если не подорваны продвигавшиеся президентом Н. Назарбаевым политические смыслы и дискурсы (суверенитет, стабильность, межнациональный и межконфессиональный мир), равно как и отошел в прошлое его патронаж над политическими институтами, политической элитой и основными политическими силами Казахстана [12. Р. 367]. Это было закономерным, поскольку если советские бюрократические кадры «пытались мобилизовать общество, то современные элиты заинтересованы в поддержании его инертного состояния» [13. Р. 13].

Так или иначе, любому казахстанскому лидеру после Назарбаева достаточно сложно взять под контроль систему неформальных пактов, рычагов, согласований, на которые опирался выстроенный им режим, что создает потенциал для кризиса.

Причины современного казахстанского кризиса

1. Сырьевая экономика и значительный разрыв в доходах граждан, который создал действительно нетерпимую для общества ситуацию¹. Сегодня почти половина бюджета Казахстана формируется за счет нефтегазового сектора. Казахстан – классический «петростейт» («нефтяное государство»), пусть и пытавшийся уйти от этого с помощью собственной индустриально-инновационной стратегии. Доля нефти в структуре казахстанского экспорта составляла 58% (на 1 января 2020 г.), что превращает его рентное государство² в дополненное наличием кланово-иерархической системы («свои и чужие»), которая на базе дистрибуции экспортных доходов создает «рентную аристократию» и многочисленные депривированные социальные группы. Помимо этого, по мнению профессора Г.В. Голосова, «казахстанская буржуазия не стала национальным правящим классом в двух смыслах: во-первых, она не национальна, поскольку ее основные материальные интересы связаны с зарубежными активами, а во-вторых, она не правит» [14. С. 19]. Высокие мировые цены на нефть обеспечивали условия для социального маневра, в то время как их падение ослабляло социальные регуляторы и провоцировало кризис. Усугубляли ситуацию прогрессирующая коммерциализация государства, энергокризис из-за популистских мер по регулированию тарифов на рубеже 2022 г., логистические проблемы на границе с Китаем, случившаяся в 2021 г. засуха и вызванный ею неурожай, общее ухудшение инвестиционного климата в стране, феномен воспроизводящейся в нескольких поколениях «трудовой» бедности, проблемы в реализации правительственной программы вакцинации; все перечисленное было дополнено тяжелым состоянием малого и среднего бизнеса, обеспечивающих благосостояние немалой части казахстанцев.

2. Возраставшее в течение ряда последних лет недовольство Н. Назарбаевым как архитектором «персонализированного» политического режима и несправедливого (в богатой ресурсами стране) социально-экономического порядка, главными бенефициантами которого стали представители приближенного к власти крупного бизнеса (о которых говорил вскоре после кризиса президент К. Токаев) и работающие на льготных условиях иностранные компании (прежде всего добывающие) [15. С. 255]. Последние годы недовольство правлением Н. Назарбаева превратило его в главный объект политической критики. Уход Елбасы от власти в 2019 г. не был воспринят частью общества как реальная отставка, поскольку у Назарбаева сохранялся целый ряд пожизненных должностей (включая пост председателя Совбеза).

3. Соседство региона с Афганистаном предполагает множество реальных и потенциальных угроз безопасности Казахстана: это и наркотрафик, и террористическая исламская угроза.

4. Застойные процессы в политике региона «консервируют» потенциальные очаги нестабильности и существующие противоречия, что может, при

¹ «Все поняли, что дальше столько жрать нельзя»: Марат Шибубов о судьбе элит Казахстана // Бизнес онлайн. 16.01.22. URL: <https://business-gazeta.ru.turbopages.org/business-gazeta.ru/s/article/536099> (дата обращения: 01.03.2022).

² Эльсенханс Х. Арабский мир и глобализация: критические замечания. URL: <https://doc-research.org/2017/12/arab-world-globalisation-critical-remarks> (дата обращения: 01.03.2022).

определенных условиях, потенциально привести к региональной политической дестабилизации [16. С. 133].

5. Этатизация политики на протяжении долгих лет способствовало ее известному отчуждению от гражданского общества, и способствовало размыванию символического капитала власти, сформированного за годы правления Н. Назарбаева [17. С. 27].

6. Постоянно возрастающая доля молодежи в структуре населения при продолжающемся демографическом росте в ситуации слабости институтов ее социализации на фоне блокировки «социальных лифтов», что вызывает у молодых аномию и протестные настроения [18].

7. Подъем этнонационализма, отвергающий вариант так называемой мягкой этнократии и продвигающий поэтапное дистанцирование от имперского и советского наследия [19].

8. Усиливающийся религиозный радикализм (салафизм), питательной средой для которого стала все та же провинциальная и сельская молодежь Казахстана, пребывающая в аномической ситуации и превращающаяся в питательную среду для последнего; характерным примером в плане влияния радикалов на молодежь является юг Казахстана, где тесно переплетаются религиозный радикализм, криминализация и клановизм [20. Р. 56–67].

9. Особая роль западных областей Казахстана в генерировании кризиса – нефтедобывающие регионы с высоким уровнем социально-экономической поляризации [21. С. 14–25], являющиеся зоной влияния Младшего жуза и ареалом проживания андайского субэтноса казахского народа (отличающегося высокой пассионарностью) [22. С. 66–72]. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. в городах Жанаозен и Актау, жители которых были недовольны двукратным ростом цен на сжиженный газ (с учетом повсеместной газификации и автомобилей, использующих газолин). В результате в западном регионе фактически произошел паралич органов власти и силовых структур. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики («городская герилья»).

10. Роль Алма-Аты – бывшей столицы Казахстана и влиятельного финансового и коммуникационного центра страны, выступившего в качестве эпицентра кризиса. Последнее объяснимо – мегаполис отличается присутствием сил оппозиции и целого спектра неправительственных организаций разного характера, образующих собственные сети влияния [23. С. 229–235]. Демографическое давление юга Казахстана, а также миграция из малых городов и сельской местности за последние десятилетия ощутимо изменили социокультурный облик города. Выходцы из «глубинки» в итоге, испытывая культурный стресс в новой для себя среде, нередко становятся адептами радикальных идей (как националистических, так и религиозных) и потенциальными носителями протестной активности.

Таким образом, Казахстан в силу сырьевого характера экономики, несовершенного механизма распределения и противоречивого характера культурной политики [17] являл собой менее стабильное общество, нежели выглядел внешне. Президенту Назарбаеву долгое время удавалось маневрировать и сглаживать до времени накапливавшиеся противоречия. При этом его поэтапный «отход» от власти не разрешил старых противоречий,

но создал новые в условиях, когда символический капитал власти уменьшился. Экономические проблемы катализировали протест, а ослабленная политическая система не смогла его купировать, что и вызвало в итоге кризис.

Решающим фактором в сложившейся ситуации стала решительность действующего главы государства, который не повторил ошибок и судьбы некоторых из числа постсоветских лидеров. В разгар кризиса, утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева, взяв в свои руки контроль за ходом событий.

На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Усилия казахстанских силовиков и помощь их коллег из ОДКБ позволили стабилизировать ситуацию в стране, после чего данная миротворческая миссия исчерпала себя и начался переход к внутривнутриполитическому урегулированию.

Предварительные заключения

Политический кризис, пережитый Казахстаном, означает необратимое изменение состояния и качества казахстанской политики и политикума. Казахстан президента Нурсултана Назарбаева закончился (что последний подтвердил в своем телеобращении к народу, обнародованном 18 января 2022 г.), равно как и исчерпала себя прежняя модель внутривнутриполитической стабильности, связанная с лояльностью «лидеру нации» и созданному им политическому порядку.

Президент Касым-Жомарт Токаев, преодолевший (с участием союзников по ОДКБ) возникший кризис, заявив о необходимости проведения ряда реформ, нацеленных на преодоление отчуждения в отношениях общества и государства. Последовавшие за этим политические шаги – замена спикера Мажилиса Парламента и руководителя Администрации Президента РК, кадровые изменения в руководстве силовых структур, в менеджменте Фонда национального благосостояния «Самрук Казына» и на посту мэра «южной столицы», ребрендинг и кадровое обновление правящей партии «Нур Отан» (ныне – «Аманат») были предсказуемы. Успешное переизбрание К. Токаева на пост президента Казахстана в ноябре 2022 г. (с результатом 81% вместо 71% на выборах три года назад) подтвердило рост общественного доверия к политике главы Казахстана.

Сегодня консенсус элит временно достигнут, но насколько он совместим с заявленными К. Токаевым реформами и насколько элиты готовы к разумному самоограничению ради сохранения политической стабильности – покажет только ближайшее будущее. Как можно предположить, ключевыми задачами президента Казахстана на ближайший период являются сохранение единства политического класса [24. С. 136–149], недопущение дефолта политической системы и ее институтов, избежание возникновения новых массовых протестных волн и купирование неблагоприятного для страны давления извне. Очевидно, что потребует модернизации и стратегия многовекторной политики, долгое время реализуемая руководством страны, равно как требу-

ют нового качественного наполнения сотрудничество с Россией в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других соглашений и инициатив.

Породившие кризис факторы не исчерпаны. Социально-экономические проблемы страны носят не конъюнктурный, а системный и структурный характер, и внутренняя дестабилизация делает Казахстан объектом разнообразных неблагоприятных внешних воздействий, что требует обновления стратегии национальной безопасности [25. Р. 143].

Остается вопрос, подходит ли Казахстану либеральная модель экономической политики или следует перейти к более патерналистской модели с большим набором институциональных регуляторов, необходимых для уменьшения социального напряжения. Предложение президента Токаева уменьшить масштабы участия казахстанского государства в экономике (госкомпании, естественные монополии, льготы бизнесу и др.) выглядит рациональным и обоснованным, однако важно определить масштабы присутствия государства в социальной сфере и принципы социальной политики.

Требуется системное решение проблемы социализации молодежи, ее культурной адаптации и занятости (в особенности на юге), которая позволила бы эффективнее управлять внутренней трудовой миграцией и снизить остроту конфликта по линии город–село. В конечном итоге, очень многое будет зависеть от способности политических элит Казахстана и других стран Центральной Азии предложить комплексное решение тех накопившихся внутренних проблем, которые порождают подобные кризисы.

Список источников

1. Ачкасов В. А. Транзитология – научная теория или идеологический конструкт? // Полис. 2015. № 1. С. 30–37.
2. Hale H.E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Р. 2–17.
3. Розов Н.С. Теория трансформации политических режимов и природа неопатримониализма // Полис. 2015. № 6. С. 157–172.
4. Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации // Полис. 2016. № 1. С. 139–156.
5. Ратленд П. Постсоветские элиты России // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 55–72.
6. Niyazbekov N. Is Kazakhstan Immune to Color Revolutions? The Social Movements Perspective // Demokratizatsiya: The Journal of PostSoviet Democratization. 2018. № 26. Р. 401–426.
7. Baypakov M. The Party System as an Element of Political Modernization of Kazakhstan // Central Asia and Caucasus. 2018. Vol. 19, № 3. Р. 34–48.
8. Nikulina A.A. Prospects of Political Process Development of Kazakhstan and Its Influence on the Eurasian Integration // Scientific journal Political science issues. 2018. Vol. 5. Р. 86–96.
9. Алексеева Т.А., Лошкарёв И.Д., Пареньков Д.А. Дилеммы современной теории политических элит: что дальше? // Полис. Политические исследования. 2021. № 5. С. 78–93. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.06>
10. Артамонова Ю.Д., Демчук В.А. Современная персонализация политики: новые подходы к анализу // Полис. Политические исследования. 2021. № 6. С. 108–121. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.08>
11. Пляйс Я.А. Почему России нужна новая элита? // Обозреватель-Observer. 2015. № 2. С. 29–33.

12. Hus Key E. Elite Recruitment and State-Society Relations in Technocratic Authoritarian Regimes: The Russian Case // *Communist and Post-Communist Studies*. 2010. Vol. 43, № 4. P. 363–372.
13. Aubakirova A. New Silk Road: Opportunities and Threats for Central Asia (a view from Kazakhstan) // *Central Asia and Caucasus*, 2017. Vol. 8, № 4. P. 7–20.
14. Голосов Г.В. Демократия и Россия: инструкция по сборке. СПб., 2012.
15. Подберезкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оборона. М.: МГИМО-Университет, 2013. 488 с.
16. Наумкин В.В. Годы, которые изменили Центральную Азию. М.: ИВ РАН : ЦСПИ, 2009. 332 с.
17. Зазнаев О.И. Этнический конфликт и форма правления: современные дискуссии // *Полис. Политические исследования*. 2021. № 1. С. 25–40. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.03>
18. Чеботарев А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: динамика, идеи, оценки. Астана-Алматы, 2015. 512 с.
19. Bitar S., Lowenthal A.F. Democratic Transitions: Conversations with World Leaders. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2015. 468 p.
20. Yazdani E. Foreign relations in Central Asia: a comparison between the soviet and post-soviet era // *Comparative Politics Russia*. 2021. Vol. 12, № 4. P. 56–67. <https://doi.org/10.24412/2221-3279-2021-10040>
21. Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А. Современный мировой порядок: адаптация акторов к структурным реалиям // *Полис. Политические исследования*. 2021. № 4. С. 14–25. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.04.03>
22. Касович Ю.О. Политика США в отношении Республики Казахстан в контексте проблем ядерного разоружения и создания стратегического партнерства (1990-е гг.) // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки*. 2013. № 3. С. 66–72.
23. Чистяков А.И. Военно-техническое сотрудничество России с Белоруссией, Арменией и Казахстаном в контексте формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // *Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС*. 2015. Т. 6, № 1 (18). С. 229–235.
24. Недяк И.Л. Концептуализация власти в современном научном дискурсе господства // *Полис. Политические исследования*. 2022. № 1. С. 136–149. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.01.11>
25. Radkevich K.V., Shabaga A.V. Eurasianism and geopolitics: Social mythologemes of space // *RUDN Journal of Sociology*. 2021. Vol. 21, № 1. P. 139–153. doi: 10.22363/2313-2272-2021-21-1-139-153

References

1. Achkasov, V.A. (2015) Tranzitologiya – nauchnaya teoriya ili ideologicheskii konstrukt? [Is transitology a scientific theory or an ideological construct?]. *Polis*. 1. pp. 30–37.
2. Hale, H.E. (2014) *Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 2–17.
3. Rozov, N.S. (2015) Teoriya transformatsii politicheskikh rezhimov i priroda neopatrimonializma [The theory of transformation of political regimes and the nature of neo-patrimonialism]. *Polis*. 6. pp. 157–172.
4. Rozov, N.S. (2016) Neopatrimonial'nye rezhimy: raznoobrazie, dinamika i perspektivy demokratizatsii [Neopatrimonial regimes: diversity, dynamics and democratization prospects]. *Polis*. 1. pp. 139–156.
5. Rutland, P. (2016) Postsovetские элиты России [Post-Soviet elites of Russia]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 3. pp. 55–72.
6. Niyazbekov, N. (2018) Is Kazakhstan Immune to Color Revolutions? The Social Movements Perspective. *Demokratizatsiya: The Journal of PostSoviet Democratization*. 26. pp. 401–426.
7. Baypakov, M. (2018) The Party System as an Element of Political Modernization of Kazakhstan. *Central Asia and Caucasus*. 19(3). pp. 34–48.
8. Nikulina, A.A. (2018) Prospects of Political Process Development of Kazakhstan and Its Influence on the Eurasian Integration. *Scientific Journal Political Science Issues*. 5. pp. 86–96.
9. Alekseeva, T.A., Loshkarev, I.D. & Parenkov, D.A. (2021) Dilemmy sovremennoy teorii politicheskikh elit: chto dal'she? [Dilemmas of the modern theory of political elites: What next?]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 5. pp. 78–93. DOI: 10.17976/jpps/2021.05.06

10. Artamonova, Yu.D. & Demchuk, V.A. (2021) Sovremennaya personalizatsiya politiki: novye podkhody k analizu [Modern policy personalization: New approaches to analysis]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 6. pp. 108–121. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.08>.
11. Pleis, Ya.A. (2015) Pochemu Rossii nuzhna novaya elita? [Why does Russia need a new elite?]. *Obozrevatel' – Observer*. 2. pp. 29–33.
12. Hus Key, E. (2010) Elite Recruitment and State-Society Relations in Technocratic Authoritarian Regimes: The Russian Case. *Communist and Post-Communist Studies*. 43(4). pp. 363–372.
13. Aubakirova, A. (2017) New Silk Road: Opportunities and Threats for Central Asia (a view from Kazakhstan). *Central Asia and Caucasus*. 8(4). pp. 7–20.
14. Golosov, G.V. (2012) *Demokratiya i Rossiya: instruktsiya po sborke* [Democracy and Russia: The assembly instructions]. St. Petersburg: [s.n.].
15. Podberezkin, A.I. (2013) *Evraziyskaya vozdushno-kosmicheskaya oborona* [Eurasian aerospace defense]. Moscow: MGIMO- Universitet.
16. Naumkin, V.V. (2009) *Gody, kotorye izmenili Tsentral'nyuyu Aziyu* [Years that changed Central Asia]. Moscow: RAS.
17. Zaznaev, O.I. (2021) Etnicheskiy konflikt i forma pravleniya: sovremennye diskussii [Ethnic conflict and form of government: Contemporary discussions]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 1. pp. 25–40. DOI: 10.17976/jpps/2021.01.03.
18. Chebotarev, A.E. (2015) *Politicheskaya mysl' suverennogo Kazakhstana: dinamika, idei, otsenki* [Political thought of sovereign Kazakhstan: Dynamics, ideas, assessments]. Astana-Almaty: [s.n.].
19. Bitar, S. & Lowenthal, A.F. (2015) *Democratic Transitions: Conversations with World Leaders*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
20. Yazdani, E. (2021) Foreign relations in Central Asia: a comparison between the soviet and post-Soviet era. *Comparative Politics Russia*. 12(4). pp. 56–67. DOI: 10.24412/2221-3279-2021-10040
21. Safranchuk, I.A. & Lukyanov, F.A. (2021) Sovremennyy mirovoy poryadok: adaptatsiya aktorov k strukturnym realiyam [Modern world order: Adaptation of actors to structural realities]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 4. pp. 14–25. DOI: 10.17976/jpps/2021.04.03.
22. Kasovich, Yu.O. (2013) Politika SShA v otnoshenii Respubliki Kazakhstan v kontekste pro-blem yadernogo razoruzheniya i sozdaniya strategicheskogo partnerstva (1990-e gg.) [US policy towards the Republic of Kazakhstan in the context of the problems of nuclear disarmament and the creation of a strategic partnership (1990s)]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki*. 3. pp. 66–72.
23. Chistyakov, A.I. (2015) Voenno-tehnicheskoe sotrudnichestvo Rossii s Belorussiei, Armeniei i Kazakhstanom v kontekste formirovaniya Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza (EAES) [Military-technical cooperation between Russia and Belarus, Armenia and Kazakhstan in the context of the formation of the Eurasian Economic Union (EAEU)]. *Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya RANKhiGS*. 1(18). pp. 229–235.
24. Nedyak, I.L. (2022) Kontseptualizatsiya vlasti v sovremennom nauchnom disкурсе gospodstva [Conceptualization of power in the modern scientific discourse of domination]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 1. pp. 136–149. DOI: 10.17976/jpps/2022.01.11
25. Radkevich, K.V. & Shabaga, A.V. (2021) Eurasianism and geopolitics: Social mythologemes of space. *RUDN Journal of Sociology*. 21(1). pp. 139–153. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-1-139-153

Сведения об авторах:

Бирюков С.В. – доктор политических наук, профессор, Центр российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, Китай). E-mail: birs.07@mail.ru

Чирун С.Н. – доктор политических наук, доцент, Кемеровский государственный университет (Воронеж, Россия). E-mail: Sergii-Tsch@mail.ru

Андреев А.В. – кандидат политических наук, Гендиректор областного телерадиоканала «Кузбасс» (Кемерово, Россия). E-mail: andreev@gtrk.kuzbass.net

Рахимжанова Д.А. – аспирант факультета политики Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, Китай). E-mail: dinarainsta@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Biryukov S.V. – Dr. Sci. (Political Sciences), professor, Center for Russian Studies of East China Normal University (Shanghai, People’s Republic of China). E-mail: birs.07@mail.ru

Chirun S.N. – Dr. Sci. (Political Sciences), associate professor, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: Sergii-Tsch@mail.ru

Andreev A.V. – Candidate of Political Sciences, General Director of the Provincial television and radio channel “Kuzbass” (Kemerovo, Russia). E-mail: andreev@gtrk.kuzbass.net

Rakhimzhanova D.A. – postgraduate student of the Faculty of Politics, East China Normal University (Shanghai, People’s Republic of China). E-mail: dinarainsta@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 26.12.2022;
одобрена после рецензирования 14.01.2023; принята к публикации 21.02.2023*

*The article was submitted 26.12.2022;
approved after reviewing 14.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научная статья

УДК: 327

doi: 10.17223/1998863X/71/22

ДРУГ ИЛИ ВРАГ ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Роман Ренатович Калинин

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
kalininrr95@gmail.com*

Аннотация. На фоне глобальной турбулентности, вызванной украинским кризисом, ДЗЯО набирает потенциал для расширения повестки и охвата участников и превращения в важный механизм контроля над вооружениями. В статье анализируются политические последствия вступления в силу ДЗЯО и перспективных направлений сотрудничества государств, обладающих ядерным оружием и не обладающих ядерным оружием, а также связей и противоречий с действующим режимом ДНЯО.

Ключевые слова: ДЗЯО, контроль над вооружениями, ядерное оружие, ДНЯО, ЯОГ, НЯОГ

Для цитирования: Калинин Р.Р. Друг или враг ядерных держав: политические аспекты Договора о запрещении ядерного оружия // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 237–245. doi: 10.17223/1998863X/71/22

Original article

FRIEND OR FOE OF THE NUCLEAR POWERS: POLITICAL ASPECTS OF THE TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS

Roman R. Kalinin

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, kalininrr95@gmail.com

Abstract. From June 21 to 23, 2022, the 1st Conference of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) was held in Vienna. TPNW entered into force on January 21, 2021. At the time of the conference, 86 states signed the treaty, 65 of which ratified it. However, none of the nuclear-weapon states supported the initiative to “ban” nuclear weapons. The article aims to demonstrate the political consequences of the entrance into force of the TPNW. It addresses the shortages and advantages of TPNW, examines connections and contradictions with the current NPT regime, as well as directions of strengthening TPNW after the first review conference in Vienna on June 21–23, 2022. The Russian Federation is used as an example to identify opportunities for interaction between nuclear weapon states and non-nuclear countries. Despite such shortages as absence of nuclear powers, poor implementation mechanism and verification system as well as contradiction of the Treaty’s aim with the current geopolitical environment, TPNW has a potential to resolve humanitarian, environmental and nonproliferation issues on a non-discriminatory base. One of the main goals of TPNW is to build up bridges with nuclear powers. In the absence of interest on the part of the official authorities of the nuclear powers, this occurs through populism and appealing to civil society, which leads to a conflict between nuclear and non-nuclear states as well as NPT and TPNW. Given the growing

political significance of TPNW, cooperation between the nuclear and non-nuclear states on the Treaty platform becomes relevant. Cooperation may begin with issues of mutual interest that are not detrimental to the current NPT regime: victim assistance and environmental remediation, nonproliferation by pushing potential proliferators to join TPNW. Thus, engagement of nuclear states with TPNW would accelerate the implementation of Article VI of NPT and facilitate the inclusion of TPNW into the existing arms control system, making it more inclusive.

Keywords: TPNW, arms control, nuclear weapon, NPT, nuclear-weapon states, non-nuclear-weapon states

For citation: Kalinin, R.R. (2023) Friend or foe of the nuclear powers: Political aspects of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 237–245. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/22

Введение

С 21 по 23 июня 2022 г. в Вене прошла первая конференция государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). ДЗЯО вступил в силу 21 января 2021 г. На момент проведения конференции Договор подписали 86 государств, 65 из которых ратифицировали¹. Однако ни одно государство, обладающее ядерным оружием (далее – ЯОГ), не поддержало инициативу запрета ядерного оружия (ЯО). Незадолго до вступления в силу ДЗЯО лидеры пяти ядерных держав сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление содержало обещание исполнять обязательства по ст. VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем»². Разлад в отношениях РФ и Запада в 2022 г. обнулил данное обязательство и привел к возрастанию угрозы ядерной войны. На фоне глобальной турбулентности ДЗЯО получает широкую поддержку общественного мнения и набирает потенциал для расширения повестки и охвата участников Договора.

Цель статьи – определить перспективные направления сотрудничества государств, обладающих ядерным оружием и не обладающих ядерным оружием (далее – НЯОГ) в рамках ДЗЯО. Статья анализирует позиции критиков и сторонников ДЗЯО, связи и противоречия с действующим режимом ДНЯО, а также направления усиления ДЗЯО по итогам первой конференции в Вене 21 по 23 июня 2022 г. На примере Российской Федерации выявлены возможности для взаимодействия с ДЗЯО ЯОГ.

Сильные и слабые стороны ДЗЯО

Отличия ДЗЯО от существующих договоров в области контроля над ЯО заключаются в правовых особенностях текста и характере охвата участников. Статья 4 требует полного отказа страны от ЯО и его производства в предель-

¹ Signature and ratification status // ICAN. URL: www.icanw.org/signature_and_ratification_status (accessed: 20.06.2022).

² Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений // Президент России. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/67551> (дата обращения: 20.06.2022).

но сжатые сроки¹. С одной стороны, это противоречит действующей логике ЯОГ о поэтапном движении в сторону глобального нуля согласно ст. VI ДНЯО [1], с другой – позволяет упрекнуть неприсоединившиеся страны в отсутствии желания исполнять ст. VI. Как отмечают исследователи Уральского гуманитарного института, ДЗЯО в действительности отражает мобилизацию гражданского общества и большинства государств для решения проблем, которые не закреплены в нормативно-правовом поле ДНЯО, и это является преимуществом договора [2]. Важной правовой составляющей ДЗЯО является акцент на гуманитарном характере Договора. Статья 6 подразумевает оказание помощи пострадавшим в ходе использования и испытания ЯО на недискриминационной основе. Положение о недискриминации затрагивает вопросы гендерного равноправия, прав коренного населения и в целом отражает интересы развивающихся государств – участников ДЗЯО. Статья 7 акцентирует внимание на восстановлении окружающей среды². Эти принципы, не закрепленные в других документах по контролю над ЯО, также можно отнести к сильным сторонам ДЗЯО. Еще одной составляющей ДЗЯО является вовлечение бизнес-сообщества в реализацию целей Договора. По данным Международной компании за запрещение ядерного оружия (ICAN), 101 финансовое учреждение приняло меры по остановке инвестиций в компании, занимающиеся производством ЯО. Примечательно, что во главе списка находятся западные компании из Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, США³, лидеры которых не поддерживают ДЗЯО. В дальнейшем государствам – участникам ДЗЯО было предложено внедрить в Договор механизм санкций против компаний, инвестирующих в производство ЯО⁴. Таким образом, ДЗЯО стремится выйти за рамки государствоцентричной системы и охватить широкий круг участников, заинтересованных в ядерном разоружении, но не имеющих значительного влияния на политику ядерных держав. К первой встрече в Вене от аккредитованных НПО было получено 38 рабочих докладов. Свою заинтересованность проявили НПО, занимающиеся международно-правовой экспертизой, гуманитарной, религиозной и правозащитной деятельностью, в том числе из стран, владеющих ядерным оружием или их союзников⁵. В результате столь сильной поддержки гражданского общества скептики, называющие ДЗЯО «результатом нездоровой активности» активистов, констатируют необходимость «наводить мосты» с «радикалами-разоруженцами» для достижения целей национальной безопасности [3].

Противники Договора утверждают, что согласование документа происходило методом голосования вопреки рекомендованной процедуре консенсу-

¹ Договор о запрещении ядерного оружия // ICAN. URL: <https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248127/Russian.pdf?1571248127> (дата обращения: 03.08.2022).

² Там же. С. 8–9

³ Rejecting risk 101 policies against nuclear weapons // ICAN. URL: https://www.icanw.org/101_investors_say_no_to_nuclear_weapons (accessed: 23.06.2022).

⁴ Building on the Ban: Increasing impact by decreasing investment // United Nations. URL: https://meetings.unoda.org/section/tpnw-msp-1-2022_documents_14229/ (accessed: 23.06.2022).

⁵ Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – Meeting of States Parties // United Nations. URL: https://meetings.unoda.org/section/tpnw-msp-1-2022_documents_14229/ (accessed: 23.06.2022).

са и не обсуждалось на Конференции по разоружению¹. РФ, США, Франция посчитали, что нарушение процедуры консенсуса вносит раскол между странами². Второй пункт критики касается репрезентативности ДЗЯО, в котором не представлена ни одна ядерная держава [4]. Наконец, узкие места обнаружены в тексте Договора, что ставит вопрос о его применении. Российские эксперты М.Н. Лысенко и А.Д. Остапова полагают, что ДЗЯО не обладает юридическим инструментарием для ядерного разоружения и, следовательно, не может быть вписан в действующую систему по контролю над ядерными вооружениями. В частности, в нем отсутствует терминологический аппарат и механизмы верификации, указанные в ст. 3 [5]. Политический эффект Договора также является предметом дискуссий. Крупнейшие ядерные державы полагают, что отказ от ЯО невозможен без учета текущей стратегической обстановки и ДЗЯО, таким образом, подрывает ст. VI ДНЯО о поэтапном движении к ядерному разоружению [6].

Принимая во внимание критику Договора, стоит отметить, что в нынешнем состоянии ДЗЯО не создает режим в классическом его понимании, как набор неявных или явных принципов, норм, правил и процедур принятия решений, вокруг которых сходятся ожидания акторов в данной области международных отношений [7]. Рассматривая позиции сторонников ДЗЯО и итоги конференции, можно констатировать, что ДЗЯО может стать дополнением к нынешнему режиму ядерного нераспространения, но не его альтернативой. Т. Хайноцци, представляющий Федеральное министерство европейских и международных дел Австрии, полагает, что ДЗЯО использует тот же язык, что и ДНЯО, и может стать дополнением ст. VI ДНЯО, а именно Договором о всеобщем и полном разоружении, упомянутом в Совместном заявлении пяти ядерных держав 3 января 2021 г.³ [8]. Исследователи Норвежской академии международного права отмечают, что формально процедура принятия Договора отвечала установленным нормам, а конкретизация пунктов ДЗЯО, включая механизмы верификации, может быть доработана при участии ЯОГ [9]. Австрийский дипломат и Председатель 1 конференции участников ДЗЯО А. Кмент отмечает, что Договор является продолжением Гуманитарной инициативы, озвученной в рамках Обзорной конференции ДНЯО в 2010 г. [10]. Исследователи, придерживающиеся конструктивистской парадигмы, говорят о существовании нормы ядерного нераспространения, которая воспринимается по-разному ЯОГ и НЯОГ. Присоединение большинства неядерных стран к ДЗЯО свидетельствует об отрицании неядерными странами действующей на протяжении 50 лет нормы ядерного распространения, указанной в ДНЯО и отражающей интересы ядерной пятерки [11].

¹ Временные правила процедуры конференции Организации Объединенных Наций для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия // United Nations. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/861817> (accessed: 23.06.2022).

² Statement by H.E. Ambassador Mikhail Ulyanov Head of the Russian delegation, Director of Non-proliferation and Arms Control department of the MFA of Russia in the First Committee of the 72nd Session of the Un General Assembly on nuclear weapons cluster // United Nations. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/11/statement-by-russian-federation-eng-72-nw.pdf> (accessed: 23.06.2022).

³ Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием.

Итоги первой Конференции ДЗЯО – дальнейшее направление работы

Подготовка к конференции показала, что государства – участники ДЗЯО осознают слабые стороны Договора и стремятся к закреплению за ним статуса серьезного юридического механизма. В преддверии встречи Международной комиссии за запрещение ядерного оружия (ICAN) эта организация, удостоенная Нобелевской премии мира за продвижение ДЗЯО, заявила, что Договор представляет собой «обновленную глобальную мобилизацию за ядерное разоружение» и может стать дополнением ДНЯО¹. Работа по усилению текста Договора и проработке механизмов может быть проделана Научной консультативной группой².

Стороны ДЗЯО с оптимизмом смотрят на возможность расширения круга участников. На пленарном заседании парламентарии из 40 стран выразили намерение к продвижению ДЗЯО на законодательном уровне как в своих странах, так и по всему миру³. В 2021 г. опрос общественного мнения стран НАТО, проведенный ICAN, показал, что более 70% населения Испании, Италии, Исландии, Германии, Дании и Бельгии также поддерживают присоединение их стран к ДЗЯО, несмотря на критику со стороны блока⁴. Возросший риск ядерной войны, вероятно, умножит позиции сторонников ядерного разоружения, о чем свидетельствует участие в первой конференции в качестве наблюдателей Австралии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии. В 2022 г. к Договору присоединились четыре государства: Барбадос, Буркина Фасо, Гаити и Экваториальная Гвинея⁵.

Развитие ст. 6 и ст. 7 ДЗЯО, предусматривающих помощь жертвам использования и испытаний ЯО и восстановление окружающей среды, усилит гуманитарную составляющую Договора. Для создания механизма помощи было предложено обратиться к существующей международной практике. Статья 5 Конвенции по кассетным боеприпасам предусматривает помощь жертвам⁶. Статья 6 Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении («Оттавский договор») также фиксирует необходимость помощи пострадавшим⁷. Ряд

¹ The role of non-nuclear weapon states in NATO on nuclear disarmament // United Nations. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/TPNW_MSP_2022.NGO_35.pdf (accessed: 23.06.2022).

² Institutionalizing scientific and technical advice for the effective implementation of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons // United Nations. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/388/63/PDF/N2238863.pdf?OpenElement (accessed: 23.06.2022).

³ Statement of Parliamentarians to 1MSP // ICAN. URL: https://www.icanw.org/1msp_declaration_and_action_plan_adopted (accessed: 23.06.2022).

⁴ NATO Public Opinion on Nuclear Weapons // ICAN. URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ican/pages/234/attachments/original/1611134933/ICAN_YouGov_Poll_2020.pdf (accessed: 23.06.2022).

⁵ ICAN Updates // ICAN. URL: https://www.icanw.org/updates (accessed: 21.01.2023).

⁶ Convention on Cluster Munitions // Cluster Convention. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.clusterconvention.org/files/convention_text/Convention-ENG.pdf (accessed: 23.06.2022).

⁷ Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция] // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml (accessed: 23.06.2022).

НПО представили доклады с собственной интерпретацией терминологии «жертва» и различных вариантов помощи¹.

По итогам конференции стороны приняли Венскую декларацию и Совместный план действий². Участники договорились создать неформальные рабочие группы для продвижения целей Договора. Группа под председательством Южной Африки и Малайзии будет отвечать за универсализацию ДЗЯО, Казахстан и Кирибати – за реализацию ст. 6–7 Договора по гуманитарным вопросам. Мексика и Новая Зеландия стали председателями группы по реализации ст. 4 ДЗЯО о полной ликвидации ЯО. В ответ на критику о противоречии с ДНЯО стороны ДЗЯО приняли решение о назначении координатора для формулирования областей сотрудничества между ДЗЯО и ДНЯО³. Таким образом, продвижением ДЗЯО и антиядерной повестки занимаются влиятельные в политическом и экономическом отношении страны, настроенные на смену парадигмы в области контроля над ЯО.

В долгосрочной перспективе ДЗЯО может стать влиятельным инструментом мировой политики и контроля над ЯО⁴. Благодаря массовой поддержке, в том числе на территории ядерных держав ДЗЯО может заставить ЯОГ пересмотреть традиционный иерархичный подход (top-down approach) к ядерному разоружению⁵. По мнению исследователя Университета Антверпена Т. Сауэра, ДЗЯО стигматизирует ЯО, ядерные государства и их союзников, что может привести к принятию целей Договора [12]. До тех пор пока ядерные державы игнорируют дискуссии неядерных стран, они подрывают свое обязательство в рамках ст. VI ДНЯО и теряют общественную поддержку.

Россия, как отмечают эксперты ПИР-Центра, унаследовала «ядерную кнопку» как важный символ мощи [13] и потому рассматривает принятие Договора как «искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения»⁶. В текущих условиях площадка ДЗЯО может способствовать продвижению идеи приверженности РФ цели разоружения. РФ также может добиваться присоединения к Договору стран, на территории которых расположено ЯО, потенциальных пролиферантов и стран, имеющих возможность реализации военной ядерной программы.

Как отмечает со-руководитель Британо-американского информационного совета по безопасности (BASIC) М. Мессмер, многие члены ДЗЯО поддерживают с РФ дружественные отношения в отличие от стран – участников ДНЯО, где США и их союзники продвигают антироссийскую повестку [14].

¹ См., например: Protocols for Seeking Nuclear Truth with Integrity // United Nations. URL: https://meetings.unoda.org/section/tpnw-msp-1-2022_documents_14229/ (accessed: 23.06.2022); The Trend: Save Our People, Save Our Planet (RTT) Youth Perspectives on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons // United Nations. URL: https://meetings.unoda.org/section/tpnw-msp-1-2022_documents_14229/ (accessed: 23.06.2022).

² Vienna Declaration and Action Plan: Overview // ICAN. URL: https://assets.nationbuilder.com/ican/pages/2948/attachments/original/1655993756/Overview_of_the_Vienna_Declaration_and_Action_Plan_-_formatted_.pdf?1655993756 (accessed: 09.08.2022).

³ Vienna Declaration and Action Plan...

⁴ Орлов В. Безъядерная мина // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4660489> (дата обращения: 20.06.2022).

⁵ Cronberg T. The one-person monopoly of nuclear launches // European Leadership Network. URL: <https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-one-person-monopoly-of-nuclear-launches/> (accessed: 21.01.2023).

⁶ В МИД России считают ошибкой продвижение Договора о запрещении ядерного оружия // ТАСС. URL: <https://tass.ru/politika/9852485> (дата обращения: 23.06.2022).

РФ, участвуя в дискуссиях в качестве наблюдателя, что предусматривает ст. 8 п. 5 ДЗЯО, может дать экспертную оценку по ключевым вопросам Договора, в частности участвовать в обмене опытом реализации ст. 6, 7 ДЗЯО о помощи жертвам и восстановлении окружающей среды, опираясь на внутреннее законодательство и работу по социально-экономическому развитию пострадавших в Чернобыльской катастрофе территорий в рамках Союзного государства¹. Поддержка позиции Казахстана, представившего вместе с Кирибати план по укреплению ст. 6, 7 Договора², может стать дополнительным вкладом в укрепление отношений с союзником по ОДКБ. Кроме того, общим интересом ядерных и неядерных держав может стать инициатива Казахстана по увеличению зон, свободных от ядерного оружия, озвученная в рамках X Обзорной конференции ДНЯО³.

Заключение

ДЗЯО обладает как существенными недостатками, так и преимуществами. Среди недостатков – отсутствие в числе участников ЯОГ юридического инструментария для ядерного разоружения и системы верификации, несоответствие целей Договора геополитической обстановке. В качестве преимуществ можно выделить акцент на гуманитарной составляющей и недискриминации, проблемах окружающей среды. Итоги работы первой конференции ДЗЯО демонстрируют стремление стран-участниц ликвидировать слабые стороны и разработать конкретные меры для реализации целей Договора.

Одна из основных целей участников – добиться диалога с ЯОГ. При отсутствии интереса со стороны официальных властей ядерных держав этот процесс происходит за счет привлечения гражданского общества, бизнеса и низших уровней власти к проблеме запрета на ядерное оружие. Учитывая рост влияния ДЗЯО на политическую повестку, его популярность среди населения ядерных и неядерных держав, актуальность приобретает диалог между ядерными и неядерными странами в рамках Договора.

Начать сотрудничество можно с вопросов, представляющих взаимный интерес и не наносящих ущерб действующему режиму ДНЯО. Согласно положениям ДЗЯО, формат наблюдателя не требует от участника реализации ст. 4 о полном ядерном разоружении, чем могут воспользоваться ЯОГ. Ядерные страны в качестве наблюдателей могут участвовать в обсуждении проблемы помощи жертвам и восстановлении окружающей среды, совместно разрабатывать понятийный аппарат и юридическую базу для реализации цели всеобщего разоружения.

Таким образом, активизация работы ядерных держав в рамках Договора позволит ускорить реализацию ст. VI ДНЯО о поэтапном разоружении и способствовать включению Договора в действующую систему контроля над вооружениями, придав ей более инклюзивный характер.

¹ Союзное государство реализует пятую программу ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2022/04/20/soiuznoe-gosudarstvo-realizuet-piatuiu-programmu-likvidacii-posledstvij-katastrofy-na-chaes.html> (дата обращения: 20.06.2022).

² Implementing articles 6 and 7 // United Nations. Available at.: https://meetings.unoda.org/section/tpnw-msp-1-2022_documents_14229/ (accessed: 23.06.2022).

³ Kazakhstan Urges to Expand Nuclear-Free-Zones at Tenth NPT Review Conference in New York // Astana Times. URL: <https://astanatimes.com/2022/08/kazakhstan-urges-to-expand-nuclear-free-zones-at-tenth-npt-review-conference-in-new-york/> (accessed: 09.08.2022).

Список источников

1. Ritchie N., Kmentt A.A. Universalising the TPNW: Challenges and Opportunities // *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 2021. Vol. 4, № 1. P. 70–93.
2. Михайленко Е.Б., Михайленко В.И. Подорывает ли Договор о запрещении ядерного оружия режим нераспространения? // *Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки*. 2017. Т. 12, № 4 (170). С. 100–111.
3. Орлов В.А., Семенов С.Д. Обзорная конференция ДНЯО: пределы возможного / ред. Е.Г. Чабаян. М.: ПИР-Пресс, 2022. 23 с.
4. Williams H. A nuclear babel: narratives around the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons // *The Nonproliferation Review*. 2018. Vol. 25, № 1–2. P. 51–63.
5. Лысенко М.Н., Остапова А.Д. Договор о запрещении ядерного оружия: есть ли лучшая альтернатива? // *Московский журнал международного права*. 2022. № 1. С. 52–64.
6. Постникова Е. ДЗЯО жизни: почему РФ не поддерживает договор о запрете ядерного оружия // *Известия*. URL: <https://iz.ru/1114399/ekaterina-postnikova/dziao-zhizni-pochemu-rf-ne-podderzhivaet-dogovor-o-zaprete-iadernogo-oruzhiia> (дата обращения: 23.06.2022).
7. Krasner S.D. Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables // *International organization*. 1982. Vol. 36, № 2. P. 185–205.
8. Hajnoczi T. The Relationship between the NPT and the TPNW // *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 2020. Vol. 3, № 1. P. 87–91.
9. Nystuen G., Egeland K., Hugo T.G. The TPNW: Setting the record straight // *Norwegian Academy of International Law*. 2018.
10. Kmentt A. The Humanitarian Initiative and the TPNW 1 // *The Nuclear Ban Treaty*. Routledge, 2021. P. 15–24.
11. Carranza M. The stability of the nuclear nonproliferation norm: a critique of norm-contestation theory // *The Nonproliferation Review*. 2019. Vol. 26, № 1–2. P. 7–22.
12. Sauer T., Reveraert M. The potential stigmatizing effect of the treaty on the prohibition of nuclear weapons // *The nonproliferation review*. 2018. Vol. 25, № 5–6. P. 437–455.
13. Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. Проблемы ядерного нераспространения в российско-американских отношениях: история, возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия. М.: ПИР-Центр полит. исслед., 2001
14. Messmer M. The impact of Russia's war against Ukraine on multilateral nuclear diplomacy // *European Leadership Network*. URL: <https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-impact-of-russias-war-against-ukraine-on-multilateral-nuclear-diplomacy/> (accessed: 23.06.2022).

References

1. Ritchie, N. & Kmentt, A.A. (2021) Universalising the TPNW: Challenges and Opportunities. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 4(1). pp. 70–93.
2. Mikhaylenko, E.B. & Mikhaylenko, V.I. (2017) Podryvaet li Dogovor o zapreshchenii yadernogo oru-zhiya rezhim nerasp-rostraneniya? [Does the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons undermine the nonproliferation regime?]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 3. Obshchestvennyye nauki*. 4(170). pp. 100–111.
3. Orlov, V.A. & Semenov, S.D. (2022) *Obzornaya konferentsiya DNYaO: predely vozmozhnogo* [NPT Review Conference: A window of opportunity]. Moscow: PIR-Press.
4. Williams, H. (2018) A nuclear babel: narratives around the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. *The Nonproliferation Review*. 25(1-2). pp. 51-63.
5. Lysenko, M.N. & Ostapova, A.D. (2022) Dogovor o zapreshchenii yadernogo oruzhiya: est' li luchshaya al'ternativa? [TPNW: Is there any better alternative?]. *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava*. 1. pp. 52–64.
6. Postnikova, E. (n.d.) DZYaO zhizni: pochemu RF ne podderzhivaet dogovor o zaprete yadernogo oruzhiya [TPNW in real life: Why Russia does not support the TPNW]. *Izvestiya*. [Online] Available from: <https://iz.ru/1114399/ekaterina-postnikova/dziao-zhizni-pochemu-rf-ne-podderzhivaet-dogovor-o-zaprete-iadernogo-oruzhiia> (Accessed: 23rd June 2022).
7. Krasner, S.D. (1982) Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. *International Organization*. 36(2). pp. 185–205.
8. Hajnoczi, T. (2020) The Relationship between the NPT and the TPNW. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 3(1). pp. 87–91.
9. Nystuen, G., Egeland, K. & Hugo, T.G. (2018) *The TPNW: Setting the record straight*. Norwegian Academy of International Law.

10. Kmentt, A. (2021) The Humanitarian Initiative and the TPNW 1. *The Nuclear Ban Treaty*. Routledge. pp. 15–24.
11. Carranza, M. (2019) The stability of the nuclear nonproliferation norm: a critique of norm-contestation theory. *The Nonproliferation Review*. 26(1-2). pp. 7–22.
12. Sauer, T. & Reveraert, M. (2018) The potential stigmatizing effect of the treaty on the prohibition of nuclear weapons. *The Nonproliferation Review*. 25(5-6). pp. 437–455.
13. Orlov, V. A., Timerbaev, R.M. & Khlopkov, A.V. (2001) *Problemy yadernogo nerasprostraneniya v rossiysko-amerikanskikh otnosheniyakh: istoriya, vozmozhnosti i perspektivy dal'neyshego vzaimodeystviya* [Problems of Nuclear Nonproliferation in U.S.-Russian Relations: History, Possibilities, and Prospects for Further Interaction]. [s.l.]: PI-Tsentr politicheskikh issledovaniy.
14. Messmer, M. (n.d.) *The impact of Russia's war against Ukraine on multilateral nuclear diplomacy*. [Online] Available from: <https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-impact-of-russias-war-against-ukraine-on-multilateral-nuclear-diplomacy/> (Accessed: 23rd June 2022).

Сведения об авторе:

Калинин Р.Р. – аспирант кафедры международной безопасности факультета мировой политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: kalininrr95@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kalinin R.R. – postgraduate student of the Department of International Security, Faculty of World Politics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: kalininrr95@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.08.2022;
одобрена после рецензирования 25.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 11.08.2022;
approved after reviewing 25.01.2023; accepted for publication 21.02.2023

Научная статья

УДК 321

doi: 10.17223/1998863X/71/23

ГОСУДАРСТВО ДАТИФИКАЦИИ И ЕГО ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕХНИКИ: НАПРАВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Максим Владимирович Яковлев

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
maxvuz@mail.ru*

Аннотация. На материалах авторских исследований в философско-политическом измерении определяется тенденция изменений механизмов и систем власти, особенно недемократических, в условиях цифровизации, выявляется и анализируется специфика цифровой политики, применения информационно-коммуникационных технологий, новых дисциплинарных техник в форме сетевого авторитаризма, формулируется и обосновывается концепт «государство датификации».

Ключевые слова: государство, датификация, информационно-коммуникационные технологии, сетевой авторитаризм, цифровизация

Для цитирования: Яковлев М.В. Государство датификации и его дисциплинарные техники: направленность социально-политической трансформации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 246–259. doi: 10.17223/1998863X/71/23

Original article

THE STATE OF DATIFICATION AND ITS DISCIPLINARY TECHNIQUES: THE DIRECTION OF SOCIO-POLITICAL TRANSFORMATION

Maksim V. Yakovlev

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, maxvuz@mail.ru

Abstract. Based on the theoretical approaches of Anthony Giddens, Gilles Deleuze, Michel Foucault, and others, the article outlines a conceptual framework for the analytical consideration of the phenomenon of the “state of datification” developing during digitalization, defines the specifics and trend of the use of information and communication technologies by government structures, especially non-democratic ones. Based on empirical research materials including the author’s ones (content analysis of 128 media of China, Saudi Arabia, UAE, Singapore, and other countries; surveys of 286 students of Moscow universities, hackers and advanced Internet users about the use of digital means and methods of control over society by power systems), it is concluded that today a “state of datification” with intelligent technical systems and digitalized disciplinary techniques (QR coding (electronic passes), geo-positioning social monitoring, face recognition, collection and processing of personal data of citizens, etc.) is being formed. The described transformation is especially noticeable in autocracies, where it goes mainly in two directions, which are determined by the orientation of these systems of power. In those proclaiming a commitment to strengthening national unity, ideology, tradition, and/or religious fundamentalism, and, accordingly, high public confidence, digitalized disciplinary techniques are effective and contribute to further consolidation, which allows them to be called systems of social solidarity. In others, where there is a policy of coercion and violence and the level of public trust in the authorities is low, digitalized disciplinary techniques are not quite effective; on the contrary, they can increase the discontent of the population, which manifests itself in the

growth of protest, evasion of government regulations, circumvention of requirements and laws, going to the Darknet, etc. The research materials make it possible to contribute to the modern literature on socio-political changes and the functioning of modern states, especially autocracies, in the conditions of digitalization and datification.

Keywords: state, ratification, information and communication technologies, network authoritarianism, digitalization

For citation: Yakovlev, M.V. (2023) The state of datification and its disciplinary techniques: the direction of socio-political transformation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 246–259. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/71/23

Крупные коренные изменения в социальных и государственных системах могут происходить почти незаметно и восприниматься как нечто само собой разумеющееся, особенно если внимание людей приковано к какому-либо крупному сопутствующему обстоятельству. Эта модель социально-политической трансформации в блистательной художественной форме показана Ф.М. Достоевским в пророческом романе «Бесы» (в пятой главе второй части). Сначала часть общества подпадает под чужое влияние, и ее охватывает «странное настроение умов», при котором ранее считавшееся непозволительным входит в норму. Это состояние вскоре распространяется на большинство, устанавливается массовая мода на некий интеллектуальный беспорядок и развязность поступков, множатся скандалы, бесчинства, происходят страшные преступления, но «останавливать... некому», так как происходящее входит в норму. Сложившимися условиями стремятся воспользоваться те, кто к ним подводил, – «политические честолюбцы» (Верховенский и др.), задумавшие осуществить проект Шигалева, предусматривающий меры «для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо» [1].

В гениальной провидческой интуиции писателя и философа высвечивается ракурс интерпретации и альтернативное объяснение текущей социально-политической динамики, характеризующейся «датификацией» («datafication»)¹, цифровизацией² и происходящей на фоне глобальных вызовов (например, недавнего распространения новой коронавирусной инфекции).

Пандемия Covid-19 стала мощным триггером в ходе создания и тотального распространения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)³ надзора, которые серьезно меняют нашу реальность. Эта тенденция

¹ Понятие «Datafication», предложенное К. Кукье и В. Майер-Шенбергером в 2013 г., отражает возрастание в обществе и государстве роли больших данных и вычислительной техники и означает тенденцию к превращению многих аспектов нашей жизни в данные, передаваемые в битах и обрабатываемые ЭВМ в информацию как новую форму ценности.

² Стоит напомнить, что это представление восходит к концепции цифровой экономики, сформулированной главой медиа-лаборатории Массачусетского технологического института Н. Негропonte в 1995 г., и описывает форму глобальной хозяйственной деятельности, где обрабатываются не материальные объекты, а оцифрованные массивы информации. В статье цифровизация расширительно трактуется как переход к новой общественной форме, в которой основным ресурсом являются оцифрованные данные и вычислительные возможности.

³ ИКТ – совокупность телекоммуникации, ЭВМ (серверов, рабочих станций), машинных алгоритмов (сейчас в основном это нейросети), хранилищ данных, средств аудиализации и визуализации и пр. (одно из ранних и надежных обоснований – Melody W. and Mansell R. Information and communication technologies: social science research and training. London, 1986). Этот проверенный временем термин более уместен, чем заимствованное из технических наук и легкомысленно распространяемое взамен ИКТ в социально-гуманитарном знании словосочетание «цифровые технологии», которое означает способ передачи дискретного сигнала и не более того.

усилилась настолько, что в научной литературе теперь все чаще обсуждаются угрозы и риски, связанные с усилением «государства наблюдения» и использованием больших данных для контроля над гражданами, особенно в недемократических (автократических) системах¹, нежели новые возможности для эффективного государственного управления, политического участия, стимулирования инноваций и т.д. Общий для всех исследователей вопрос состоит в том, какое именно значение имеют ИКТ на нынешнем этапе социально-политической трансформации? Поэтому представляется своевременным и целесообразным определить специфику и направленность использования ИКТ системами власти, а также предложить и обосновать вариант теоретического разъяснения цифровизации социально-политической сферы.

Базовые аспекты аналитического рассмотрения указанной проблематики были заложены еще в 1980-е гг. Э. Гидденс обобщил огромный массив социальных фактов и назвал наблюдение неотъемлемой частью и серьезной проблемой современного общества, охарактеризовал современное государство как направленное на максимизацию масштаба слежки за гражданами [2. С. 310]. М. Фуко проследил развитие нацеленной на безопасность совокупности властных механизмов как историю «дисциплинарных техник», представляющих собой практики, серии процедур, технологии, механизмы, которые действуют в пространстве социального контроля [3. С. 19, 26]. На базе сравнительно-исторического метода автор продемонстрировал примеры эволюции таких техник, среди которых для нас особый интерес представляет практика работы структур власти с заболеваниями и эпидемиями – с проказой, чумой и оспой в Средние века, когда сложился определенный дисциплинарный механизм, ставший частью новоевропейской системы дисциплинарного типа [3. С. 24–25]. При этом было отмечено, что «ориентация на безопасность привела к... злоупотреблению дисциплинарными техниками» [3. С. 23–24].

Технологический прогресс стал решающим фактором в развитии систем контроля дисциплинарного типа, усилении различных типов надзора за гражданами со стороны структур власти и корпораций. Текущие изменения нашли отражение в концепте «государство наблюдения» и были исследованы М. Кейфордом и У. Питерсом, М. Хоуганом и М. Шефердом: от использования скрытых видеокамер до автономных систем кибермониторинга, в которых используются нейронные сети и другие машинные алгоритмы для комплексного глубинного мониторинга и прогностического анализа телефонных переговоров, отправленных сообщений, нажатия клавиш на электронных устройствах, контента социальных сетей, интернет-трафика, историй веб-браузеров и т.д. [4, 5].

В последние несколько лет были сделаны выводы о беспрецедентном укреплении «государства наблюдения» [6], об устремленности правительств к «датификации» общественной жизни [7], о злоупотреблении структур власти и корпораций слежением и обработкой персональных данных [8] под лозунгами безопасности и охраны здоровья.

Некоторые исследователи заявили (отражая позицию многих общественных организаций, СМИ, академических кругов), что поспешные и слишком

¹ Для решения задач исследования принимается, что понятия «недемократическая система» и «автократия» являются синонимами. В наиболее общем виде они определяются как формы политического управления обществом с централизованной структурой власти, установленной не по итогам честных и свободных выборов (тоталитарные и авторитарные системы).

прямолинейные действия по реализации программ массового наблюдения и контроля над обществом могут в ходе цифровизации свести на нет оберегающие все человечество достижения предыдущих столетий в области индивидуальных прав [9].

Под влиянием этих обстоятельств сегодня уменьшается число апологетов основанного на больших данных «цифрового государства всеобщего благосостояния» [10], снижается доверие населения разных стран к правительству [11], нарастает движение в защиту «цифровых» прав граждан. Seriously увеличивается граничащая со страхом озабоченность рядовых граждан тем, как правительство в одностороннем порядке используют ИКТ индивидуального и общественного контроля в условиях распространения новой коронавирусной инфекции [12].

В 2018–2019 гг. канадские исследователи М. Вестерлунд, Д. Изабель и С. Леминен провели опрос и проанализировали отношение канадцев к массовому наблюдению, а также к сбору и обработке больших данных, осуществляемых государством. Был сделан вывод о том, что среди опрошенных наблюдается растущее опасение, оказывающее отрицательное влияние на их согласие с использованием их персональных данных правительством. При этом увеличивается убежденность в том, что правительство и корпорации должны быть более прозрачными в отношении сбора и использования данных, а граждане должны быть более активными в «наблюдении за наблюдателями» в эпоху больших данных [13].

В положительном свете в условиях пандемии сотрудничество корпораций и правительства в сфере использования данных о местоположении мобильных устройств граждан рассматривают М. Амит, Р. Китчин и др. [14, 15], которые указывают на преимущества новых технологий для ответственного соблюдения карантина и социальной дистанции с целью предупреждения инфицирования, для моделирования закономерностей и потоков распространения коронавируса, для мониторинга в реальном времени контактов между людьми и их биометрических показателей (температура тела, сердечный ритм, дыхание и т.п.), для создания медицинских и других баз данных (генетических профилей, топографий лиц и т.д.), что может быть эффективно в здравоохранении, криминалистике, судебной экспертизе и т.д. [16]. С другой стороны, увеличение риска неконтролируемого и незаконного обмена биологическими данными отметил А. Гинчард [17].

Особую остроту указанная проблематика приобретает в недемократических системах. Первопроходческие исследования, нацеленные на тотальное наблюдение и контроль сетевого и цифрового типов авторитаризма, проделали Т. Бюргерс, Р. Маккинон, М. Майснер, Д. Робинсон и другие, определившие и операционализировавшие эти явления, показавшие их подъем, особенности и тенденции [18–24].

Эксперты проявляют все большую озабоченность по поводу баз данных (человеческих лиц, ДНК и прочего), которые составляются и используются авторитарными системами в отсутствие нормативных правовых ограничений и общественного контроля [25, 26].

Еще более заметно «государство наблюдения» укрепилось в период распространения новой коронавирусной инфекции, когда под предлогом чрезвычайных обстоятельств осуществляется масштабная экспансия в обще-

ственную сферу и частную жизнь и многократно увеличивается глубина и масштаб контроля над населением, у которого остается все меньше возможностей влиять на принятие политических решений и ограничивать нарастание концентрации властного потенциала у правительства, что особенно заметно в автократических системах.

С каждым днем наблюдается все больше признаков, свидетельствующих об оформлении социально-политической системы контроля нового дисциплинарного типа – цифровизированного и датифицированного. Текущие изменения иллюстрируют четыре авторских исследования.

В июне 2022 г. проведен экспертный опрос сообщества российского сегмента Даркнета, в котором 12 хакеров¹ и 36 продвинутых пользователей рассказали о своем восприятии процесса датификации и цифровизации, о роли государств и корпораций и статусе рядовых граждан в киберпространстве. Выборка получена путем направления участникам форума Exploit.in² в сети TOR и подписчикам канала LIFE-HACK [ЖИЗНЬ-ВЗЛОМ]/ХАКИНГ³ 150 сообщений с предложением оказать содействие в научном исследовании и анонимно ответить на прилагаемые вопросы. Для соблюдения принципа однородности условиями для участия стали: возраст от 30 до 45 лет, владение каким-либо языком программирования на базовом уровне, эффективное участие (познавательные комментарии, работа в некоммерческих IT-проектах и т.д.) в деятельности интернет-сообщества не реже одного раза в неделю, ориентация на бескорыстное содействие технологическому прогрессу.

С мая по сентябрь 2021 г. для сопоставления опыта и ситуаций разных стран проделан контент-анализ 128 материалов медиа КНР (газета «Жэньминь жибао», russian.people.com.cn), Саудовской Аравии (газета «Riyadh Daily», www.alriyadhdaily.com), Сингапура (газета «The Straits Times», www.straitstimes.com), ОАЭ (газета «Khaleej Times», www.khaleejtimes.com). Указанные издания попали в поле зрения по причине их авторитетности, наличия версий на русском или английском языках, отражения официальной точки зрения властей. Упомянутые автократии выбраны потому, что именно они наиболее часто упоминаются в медиа и научной литературе как авангардные по внедрению цифровых технологий в период пандемии.

Публикации российской «Новой газеты» (novayagazeta.ru), а также британской компании BBC News (www.bbc.com/news) по теме цифровых средств и методов массового наблюдения в период пандемии также стали предметом рассмотрения, так как в них представляется независимая от властей картина событий и альтернативная точка зрения.

С мая по ноябрь 2021 г. проведен мониторинг находящихся в открытом доступе статистических данных (по сетевому адресу ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL), касающихся мер правительств разных

¹ Автор вслед за исследователем хакерской культуры Эриком Реймондом придерживается первоначальной трактовки понятия «хакер», чья этимология восходит не к смыслу мошеннического взлома, а к значению «решить головоломку». Поэтому здесь имеются в виду независимые программисты, способствующие техническому совершенствованию для общественного прогресса на принципах свободы, открытого исходного кода, бескорыстного обмена знаниями.

² Этот портал по хакерской тематике выбран потому, что он является одним из старейших и авторитетных ресурсов с бесплатной регистрацией.

³ Одно из крупнейших сообществ по информационной безопасности в Telegram насчитывает почти 60 тыс. участников.

стран по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (количество введенных вакцин, число вакцинированных граждан, объявление карантинных и т.д.) и реакции общественности (согласно исследованиям аналитического центра Ю. Левады¹, располагающимся по сетевому адресу: www.levada.ru).

В феврале–мае 2021 г. анонимно опрошены 286 студентов (в том числе 11 китайских граждан) и молодых университетских преподавателей о представлениях, сложившихся у них об использовании органами государственной власти цифровых средств и методов контроля над обществом в период распространения Covid-19. Выборка составлена следующим образом: в распространенном посредством социальной сети «ВКонтакте» опросе приняли добровольное участие респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся студентами или преподавателями московских вузов. Возраст двух третей опрошенных составляет 19–23 года. Учатся на первом–третьем курсах университета 80% опрошенных. Старше 24 лет 19% учащихся. Остальные – преподаватели. 47% – мужчины, 53% – женщины. Систематическая процедура отбора объектов для анализа не разрабатывалась, пригодность г. Москвы и России для данного исследования не оценивалась. Автору не удалось найти в научной литературе сообщения о проведении аналогичных исследований.

Стоит отметить, что сбор необходимых и достоверных данных затруднен в связи со строгим контролем недемократических систем над информацией о событиях, связанных с пандемией.

Приверженцев логического позитивизма необходимо сразу предупредить, что при ознакомлении с информацией, представленной ниже, скорее всего, они окажутся в том же положении, в каком были, например, те читатели Й. Шумпетера, которые подвергли его труды критике за «сплошной текст», за отсутствие квантификации и обоснования при помощи математических методов. Автор данной статьи (не претендуя на лавры создателя концептов «созидательное разрушение» и «элитарная демократия») понимает важность задачи проведения эмпирической проверки предположительной корреляции между переменными, в одних из которых операционализированы интенсивность внедрения и специфика ИКТ, в других – признаки трансформации социально-политической системы. Фундированное решение такой задачи – важное дело будущего. Здесь пока приходится ограничиться самой постановкой вопроса о характере изменения структурных единиц в ходе цифровизации и датификации в текущих условиях и теоретически осмыслить специфику, используя те исследования, которые удалось провести иллюстративно, а не систематически.

Контент-анализ материалов СМИ показал, что в период последней пандемии недемократические системы сделали ставку на всеохватное комплексное использование разнообразных ИКТ (от простейших цифровых средств и цифровых технологий до информационных технологий и систем общегосударственных телекоммуникаций) для контроля населения и отдельных граждан, что выразилось в тотальном внедрении QR-кодирования (электронных пропусков), геопозиционного социального мониторинга, распознавания лиц, сбора и обработки персональных данных граждан и т.п., которые действуют в

¹ Эта некоммерческая организация, по мнению Министерства юстиции РФ, выполняет функции иностранного агента.

рамках более общих технических интеллектуальных систем, собирающих и обрабатывающих большие данные. Созданные и распространенные в период пандемии новые способы наблюдения за гражданами и контроля над обществом можно назвать цифровизированными дисциплинарными техниками, следуя терминологии, предложенной М. Фуко.

Журналисты чаще всего свидетельствуют о принятии и поддержке этих мер населением Саудовской Аравии, Сингапура, ОАЭ и не упоминают о каких-либо крупных систематических проявлениях недовольства, о массовом уклонении от исполнения распоряжений правительств (в части вакцинации, обязательном использовании мобильных приложений с QR-кодом и т.п.). Ранее к этой же группе стабильности можно было отнести КНР, однако нарастающие внутренние проблемы и критика экспертов привели в этой стране к массовым выступлениям против излишне строгих санитарно-эпидемиологических ограничений (включая программу Zero-COVID), которые начались 23 ноября 2022 г.

В России, по сообщениям медиа, очень многие не поддерживают правительственные меры, игнорируют призывы власти сделать прививки против COVID-19, активно сопротивляются попыткам установить запрет на проезд в транспорте без QR-кода, прибегают к фальсификации документов о вакцинации и т.д. Например, поспешное введение в Казани QR-кодов для проезда в городском транспорте 22.11.2021 привело почти к 700 столкновениям пассажиров и контролеров и самоорганизации граждан в проекте «народное такси», в рамках которого автомобилисты при помощи тематических групп в мессенджерах предлагают подвезти попутчиков [27].

Социологические исследования, проведенные в ноябре 2021 г., подтверждают негативные, даже протестные настроения россиян. Так, против всеобщей вакцинации на протяжении первой половины 2021 г. неизменно выступали более половины наших соотечественников (35% – совершенно не поддерживали, 19% – скорее не поддерживали). Основное раздражение противников обязательной вакцинации вызвало нарушение прав человека – 37%. Не доверяли российским вакцинам 21%. Полагали, что не будет результата, 15%. Вместе с тем 42% являлись сторонниками обязательной прививки, из них 21% безоговорочно поддерживали. Не были согласны с введением QR-кодирования для проезда в общественном транспорте 76% россиян (17% – скорее отрицательно, 59% – целиком отрицательно), а для посещения ресторанов, торговых центров, музеев, массовых мероприятий – 67% (50% – целиком отрицательно, 17% – скорее отрицательно). Соответственно, положительно эту инициативу в первом случае восприняли 21%, во втором – 30% наших сограждан. Порядка 43% россиян считали вполне возможными массовые выступления против введения электронных пропусков. И 25% были готовы принять в них участие [28].

Опрос студентов и молодых преподавателей московских вузов выявил низкий уровень осведомленности о проблемах цифрового наблюдения, использования персональных данных без согласия граждан, отсутствия соответствующей нормативной правовой базы и общественного контроля над кибер-экспансией государства.

Порядка 65% респондентов отрицательно ответили на вопрос о том, интересуются ли они темами наблюдения за их жизнью и несогласованного ис-

пользования их данных для нужд третьих лиц. 21% респондентов указали, что знают о проблеме в общих чертах, но при этом воспринимают ее как то, на что нельзя повлиять. При этом большинство отметили, что происходящее воспринимается, как должное, как рутинная деятельность органов власти.

Около 60% участников опроса в ответе на вопрос о том, с какой, по их мнению, целью осуществляется использование цифровых средств и технологий для сбора и прогностического анализа данных правительством, согласились с тем, что таковое проводится для решения собственных задач структур власти и вполне может быть обращено против населения. При этом отмечается, что в ходе реализации правительством собственных мероприятий для общестественности может появиться какая-то польза (как побочный эффект). 23% выбрали вариант о том, что таковые нацелены исключительно на благополучие граждан.

Почти 33% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, известны ли им факты утечки информации (в том числе персональных данных) из цифровых баз данных органов власти г. Москвы, вспомнили и указали, что такие сведения можно купить в Интернете. Отдельные участники опроса признали, что приобретали такую информацию за сравнительно небольшую сумму.

Треть участников опроса отрицательно ответили на вопрос, сделали ли они прививки от COVID-19. 14% сообщили о покупке сертификатов либо в Интернете (в том числе в скрытой сети), либо в пунктах вакцинации.

Более 70% опрошенных отрицательно ответило на вопрос о том, доверяют ли они органам государственной власти и их действиям в период пандемии. Почти столько же согласились с утверждением, что цифровые инициативы органов государственной власти можно назвать установлением нового дисциплинарного порядка, характеризующегося усилением давления, нарастанием слежки, репрессиями.

Тезис о появлении черт нового цифровизированного дисциплинарного порядка также поддержали российские хакеры и продвинутые пользователи, анонимно принявшие участие в авторском опросе. На вопрос об объяснении причин текущего изменения абсолютное большинство экспертов выбрали ответ о попытках государств взять Интернет (как его национальные доменные зоны, так и международные) под свой контроль путем введения ограничений, наблюдения, деанонимизации. Еще одной причиной были названы агрессивные старания корпораций (медиаконгломератов) по формированию монополий в киберпространстве, в чем более всего проявили себя Meta¹, Microsoft, Universal Music Group и др. Эксперты согласились, что технологическая экспансия государств и корпораций проходит скоординированно, что хорошо видно на примере законодательства об авторском праве. Целью этого наступления чаще всего было обозначено достижение стратегического превосходства в киберпространстве (что сейчас является *sine qua non* доминирования в материальном мире). Однако, как отметили многие опрошенные, такое целеполагание противоречит принципам открытости и децентрализации, на которых зиждется архитектура Всемирной сети и деятельность интернет-активистов, ее выстраивающих и поддерживающих на протяжении почти по-

¹ Минюст РФ считает эту компанию экстремистской организацией.

лувека. Большинство экспертов убеждены, что осуществление этой цели неизбежно связано с переформатированием общественных отношений в киберпространстве и в тесно связанном с ним материальном мире, что наблюдается уже сейчас, когда дело цифровизации и датификации получает нежелательный поворот в сторону ущемления прав и возможностей рядовых граждан. Характерно высказывание одного из экспертов: «Нас стараются загнать в цифровой концлагерь». Другой участник указал на то, что «обычные пользователи вряд ли осознают масштаб проблемы и значение происходящего, ведь для многих, особенно молодежи, Интернет с политической цензурой, идентификацией, геопозицией, сооские – это уже норма». Абсолютное большинство опрошенных отрицательно относятся к расширению контроля государства в киберпространстве, не верят в то, что это делается для общественной безопасности, считают, что необходима массовая самоорганизация в защиту прав и интересов пользователей.

Рассмотрение статистических данных вкупе с контент-анализом материалов СМИ и авторским опросом позволило предположить о взаимосвязи между характером применения ИКТ и уровнем общественного доверия к правительству. Так, показатели количества полностью вакцинированных граждан в КНР, Саудовской Аравии, Сингапуре, ОАЭ демонстрируют очень значительный охват населения (на 14 ноября 2021 г.): КНР – 72%, Саудовская Аравия – 63,4%, Сингапур – 85%, ОАЭ – 89,26%, Россия – 35,5% [29]. Уровень доверия рядовых граждан к своему правительству в 2021 г. составляет: в КНР – 82% (–8 % в сравнении с 2020 г.), в Саудовской Аравии – 82% (+4% в сравнении с 2020 г.), в Сингапуре – 76% (+6% в сравнении с 2020 г.), в ОАЭ – 80% (+4% в сравнении с 2020 г.), в России – 34% (+1% в сравнении с 2020 г.) [30].

Для характеристики текущих изменений наиболее показателен опыт КНР в создании комплекса из двенадцати «золотых» проектов электронного правительства (наиболее известен из них «Золотой щит», в СМИ известный как «Великий китайский файрвол»)¹, программ «Социальный кредит», «Зоркий глаз» и других, анализ которых позволил Р. Маккинону заявить о появлении «сетевого» авторитаризма [21. С. 33]. Китайский сетевой авторитаризм стал, видимо, первой столь масштабной, последовательной и комплексной попыткой построения социально-политической системы контроля нового дисциплинарного типа – цифровизированного и датифицированного. Впоследствии по этому же пути пошел Сингапур и другие страны и города (например, г. Москва с проектом «Умный город – 2030», который уже вызвал волну критики со стороны независимых специалистов и правозащитников).

В настоящее время сетевой авторитаризм вышел далеко за пределы Интернета и стал особым властным механизмом, направленным на реализацию интересов правящей группы и принудительное централизованное управление обществом при помощи совокупности интеллектуальных технических систем, объединяющих средства наблюдения, компьютерные сети, базы данных, нейросети и другие ИКТ. Сетевой авторитаризм с его цифровизированными дисциплинарными техниками можно рассматривать как очередной этап развития «наблюдающего капитализма» [31], «общества контроля» [32] и того непоследовательного видоизменения, в котором при переходе от одной

¹ Созданных по подобию более ранних систем шпионажа PRISM, XKeyscore, Tempora, MUSCULAR, STATEROOM, используемых странами альянса «Пять глаз».

сложной системе к другой «трансформируются, совершенствуются, во всяком случае, усложняются, разумеется, и сами техники как таковые, но главное, претерпевает метаморфозу доминанта или, точнее, структура...» [3. С. 22]. Усложнение и совершенствование последних происходит внутри «доминанты» одновременно с ее «метаморфозой», из чего следует, что сейчас мы наблюдаем этап социальной истории, на котором осуществляется переход от «предыдущих систем» к «последующим», при этом, конечно же, не происходит простой замены институтов прошлого на нечто принципиально новое.

Материалы исследования, во-первых (теоретическое измерение), позволяют внести вклад в современную литературу по вопросам социально-политических изменений и функционирования систем власти, в особенности автократий, в условиях цифровизации и датификации. Во-вторых (практическое измерение), могут быть полезными, с одной стороны, стремящимся к повышению эффективности использования ИКТ правительствам, с другой стороны – гражданам, которые хотят защитить свою конфиденциальность и права, понять свое текущее социально-политическое положение и выработать собственную стратегию эффективного действия в цифровизированном и датифицированном мире с нарастающими авторитарными тенденциями.

QR-кодирование (электронные пропуска), геопозиционный социальный мониторинг, распознавание лиц, сбор и обработка персональных данных граждан с целью прогнозирования социальной динамики и предотвращения рисков для структур власти и т.п., действующие в рамках более общих технических интеллектуальных систем, собирающих и обрабатывающих Большие Данные, – это новые цифровизированные дисциплинарные техники, посредством которых государства (в особенности автократии) контролируют отдельных граждан и управляют обществом. В более широком смысле массовое распространение таких техник означает оформление и укрепление «государства датификации» и может указывать на то, что на наших глазах происходит новый этап глубокого изменения социальной и политической структуры, на котором в очень благоприятных для этого условиях формируется система цифровизированного и датифицированного дисциплинарного типа. Описанная трансформация особенно заметна в автократиях. Сложившаяся ситуация порождает в обществе недовольство против массированного внедрения технологий контроля и отслеживания, против последовательного наступления государств и корпораций на приватность и анонимность, против нарастающего контроля над действиями граждан в киберпространстве, что проявляется в протесте, уклонении от исполнения правительственных предписаний, обходе требований и законов, уходе в даркнет, создании новых форм самоорганизации на пересечении виртуальной и материальной реальностей и т.д. В свою очередь, эти обстоятельства запускают дальнейшую реакцию автократической системы, которая в целях самосохранения прибегает к очередному ужесточению датифицированного дисциплинарного режима (введение новых процедур обязательной аутентификации пользователей, блокировка сайтов, замедление работы интернет-ресурсов, пропаганда в новых медиа, цифровая сегрегация общества, нормативные правовые ограничения деятельности в киберпространстве и т.д.). Протесты в Китае в конце ноября 2022 г. демонстрируют, что лояльность даже очень терпеливых граждан переходит в сильнейшее недовольство в момент слишком сильного дисципли-

плинарного давления. Эти выводы могут быть полезны в практическом измерении как тем системам, которые стремятся сохранить поддержку большинства, так и тем, которые хотят их приобрести.

Таким образом, объявленные ответом на пандемию и другие вызовы технологические новации в сфере социального контроля и массового слежения стали цифровизированными дисциплинарными техниками и ведущими инструментами расширения не столько эпидемиологического надзора с целью сохранения здоровья населения, сколько сферы влияния «государства датификации» и, возможно, формирования нового социально-политического порядка, в авангарде которого находятся автократические системы.

Просматривается несколько перспективных направлений развития темы настоящего исследования. Целесообразно провести более масштабное анкетирование населения недемократических стран. Необходимо с помощью регрессионного анализа проверить авторскую гипотезу о корреляции между интенсивностью внедрения и спецификой ИКТ и признаками трансформации социально-политической системы, а также верифицировать авторское предположение о связи между характером применения цифровизированных дисциплинарных техник и уровнем доверия населения к правительству с помощью программного обеспечения SmartPLS, которое позволяет тестировать поведенческие модели с минимальными требованиями (к измерительным шкалам и остаточным распределениям) и моделировать структурные уравнения на основе дисперсии с использованием методов частичного моделирования пути наименьших квадратов и статистического моделирования. Другая возможная траектория – это изучение потенциала, характера и приемов протеста граждан в киберпространстве в условиях цифровизации и датификации. Наконец, на повестке дня стоит общий вопрос о том, являются ли текущие изменения необратимыми и мы движемся к очень скверному будущему, описанному в произведениях киберпанка, или трансформацию можно перенаправить в интересах общественности. Иными словами, есть ли у нас еще выбор между «цифровым государством всеобщего благосостояния» и «цифровым стадом» по проекту новых Верховенских и Шигалевых.

Список источников

1. Достоевский Ф.М. Бесы // Собрание сочинений : в 10 т. М. : Худож. лит., 1957. Т. 7. 760 с.
2. Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2: The Nation State and Violence. University of California Press, 1987, 408 p.
3. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова ; под ред. И. Борисовой. М. : Ad Marginem, 1999. 480 с.
4. Hogan M., Shepherd T. Information Ownership and Materiality in an Age of Big Data Surveillance // Journal of Information Policy. 2015. № 5. P. 6–31. <https://doi.org/10.5325/jinfo-poli.5.2015.0006>
5. Cayford M., Pieters W. The effectiveness of surveillance technology: What intelligence officials are saying // The Information Society. 2018. № 34(2). P. 88–103. <https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1414721>
6. Lemieux P. Why the Surveillance State is Dangerous // The Library of Economics and Liberty. 2018, June 10. URL: https://www.econlib.org/archives/2018/06/why_the_surveil.html
7. Hintz A., Dencik L., Wahl-Jorgensen K. Digital Citizenship and Surveillance Society – Introduction // International Journal of Communication. 2017. № 11. P. 731–739.
8. Sekalala S., Dagron S., Forman L., Mason Meier B. Analyzing the Human Rights Impact of Increased Digital Public Health Surveillance during the COVID-19 Crisis // Health and Human Rights Journal. 2020. № 22(2). P. 7–20. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7762901/>

9. Clarke R. Risks inherent in the digital surveillance economy: A research agenda // Journal of Information Technology. 2019. № 34(1), P. 59-80. <https://doi.org/10.1177/0268396218815559>
10. Van Zoonen L. Data governance and citizen participation in the digital welfare state // Data & Policy. 2020. Vol. 2, e10. <https://doi.org/10.1017/dap.2020.10>
11. Zhao D., Hu W. Determinants of public trust in government: empirical evidence from urban China // International Review of Administrative Sciences. 2017. № 83(2). P. 358–377. DOI: <https://doi.org/10.1177/0020852315582136>
12. Keshet Y. Fear of panoptic surveillance: using digital technology to control the COVID-19 epidemic // Israel Journal of Health Policy Research. 2020. № 9. P. 67. <https://doi.org/10.1186/s13584-020-00429-7>
13. Westerlund M., Isabelle D., Leminen S. The Acceptance of Digital Surveillance in an Age of Big Data // Technology Innovation Management Review. 2021. Vol. 11, is. 3. P. 32–44.
14. Amit M., Kimhi H., Bader T., Chen J., Glassberg E., Benov A. Mass-surveillance technologies to fight coronavirus spread: the case of Israel // Nature Medicine. 2020. № 26. P. 1167–1169. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0927-z>
15. Kitchin R. Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19 // Space and Polity. 2020. № 24(11). P. 1–20. <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1770587>
16. Dedrickson K. Universal DNA databases: a way to improve privacy? // Journal of Law and the Biosciences. 2018. № 4 (3). P. 637–647. <https://doi.org/10.1093/jlb/lx041>
17. Guinchard A. Our digital footprint under Covid-19: should we fear the UK digital contact tracing app? // International Review of Law, Computers & Technology. 2020. № 35 (1). P. 84–97. <https://doi.org/10.1080/13600869.2020.1794569>
18. Burgers T., Robinson D. Networked Authoritarianism Is on the Rise // Security and Peace. 2016. Vol. 34, № 4. P. 248–252.
19. Geddes B., Wright J., Frantz E. New Data on Autocratic Regimes // Perspective on Politics. 2014. № 12. P. 313–331.
20. Howard P. The Digital Origins of Dictatorship and Democracy. Information Technology and Political Islam. Oxford : Oxford University Press, 2011. 304 p.
21. MacKinnon R. China's 'Networked Authoritarianism' // Journal of Democracy. 2011. Vol. 22, № 2. P. 32–46.
22. Meissner M., Wübbeke J. IT-backed authoritarianism: Information technology enhances central authority and control capacity under Xi Jinping. 2016. URL: http://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_ChinasCoreExecutive.pdf
23. Pearce K., Kendzior S. Networked Authoritarianism and Social Media in Azerbaijan' // Journal of Communications. 2012. Vol. 62, is. 2. P. 283–298.
24. Rule J.B., Cheng H. Coronavirus and the Surveillance State, Dissent Magazine. 2020. URL: <http://www.dissentmagazine.org/article/coronavirus-and-the-surveillance-state>
25. Wee S.L. China is collecting DNA from tens of millions of men and boys, using U.S. equipment // The New York Times. 2020. June 17. URL: <https://www.nytimes.com/2020/06/17/world/asia/China-DNA-surveillance.html>
26. Fox Cahn A. The U.S. can't rebuke global tyranny when our companies sell tools that enable it // Fast Company. 2021, February 5. URL: <https://www.fastcompany.com/90601037/american-surveillance-state-facial-recognition-hypocrisy>
27. В Татарстане в ответ на QR-коды в транспорте появилось «народное такси» // Новая газета. 2021. 1 декабря.
28. Коронавирус, вакцинация, QR-коды. URL: <http://www.levada.ru/2021/12/07/koronavirus-vaktsinatsiya-qr-kody/> (дата обращения: 21.12.2021).
29. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. URL: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL (accessed: 21.11.2021).
30. Edelman trust barometer 2021. P. 44. Mode of access: <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer> (accessed: 21.11.2021).
31. Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York : Public Affairs, 2021. 704 p.
32. Делёз Ж. Post scriptum к обществам контроля // Переговоры. СПб. : Наука, 2004. С. 226–233.

References

1. Dostoevsky, F.M. (1957) *Sobranie sochineniy: v 10 t.* [Collected Works in 10 vols]. Vol. 7. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

2. Giddens, A. (1987) *A Contemporary Critique of Historical Materialism*. Vol. 2. University of California Press.
3. Foucault, M. (1999) *Discipline and punish: The birth of a prison*. Moscow: Ad Marginem.
4. Hogan, M. & Shepherd, T. (2015) Information Ownership and Materiality in an Age of Big Data Surveillance. *Journal of Information Policy*. 5. pp. 6–31. DOI: 10.5325/jinfopoli.5.2015.0006
5. Cayford, M. & Pieters, W. (2018) The effectiveness of surveillance technology: What intelligence officials are saying. *The Information Society*. 34(2). pp. 88–103. DOI: 10.1080/01972243.2017.1414721
6. Lemieux, P. (2018) Why the Surveillance State is Dangerous. *The Library of Economics and Liberty*. 10th June. [Online] Available from: https://www.econlib.org/archives/2018/06/why_the_surveil.html
7. Hintz, A., Dencik, L. & Wahl-Jorgensen, K. (2017) Digital Citizenship and Surveillance Society – Introduction. *International Journal of Communication*. 11. pp. 731–739.
8. Sekalala, S., Dagron, S., Forman, L. & Mason Meier, B. (2020) Analyzing the Human Rights Impact of Increased Digital Public Health Surveillance during the COVID-19 Crisis. *Health and Human Rights Journal*. 22(2). pp. 7–20. [Online] Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7762901/>
9. Clarke, R. (2019) Risks inherent in the digital surveillance economy: A research agenda. *Journal of Information Technology*. 34(1). pp. 59–80. DOI: 10.1177/0268396218815559
10. van Zoonen, L. (2020) Data governance and citizen participation in the digital welfare state. *Data & Policy*. 2. e10. DOI: 10.1017/dap.2020.10
11. Zhao, D. & Hu, W. (2017) Determinants of public trust in government: empirical evidence from urban China. *International Review of Administrative Sciences*. 83(2). pp. 358–377. DOI: 10.1177/0020852315582136
12. Keshet, Y. (2020) Fear of panoptic surveillance: using digital technology to control the COVID-19 epidemic. *Israel Journal of Health Policy Research*. 9. pp. 67. DOI: 10.1186/s13584-020-00429-7
13. Westerlund, M., Isabelle, D. & Leminen, S. (2021) The Acceptance of Digital Surveillance in an Age of Big Data. *Technology Innovation Management Review*. 11(3). pp. 32–44.
14. Amit, M., Kimhi, H., Bader, T., Chen, J., Glassberg, E. & Benov, A. (2020) Mass-surveillance technologies to fight coronavirus spread: the case of Israel. *Nature Medicine*. 26. pp. 1167–1169. DOI: 10.1038/s41591-020-0927-z
15. Kitchin, R. (2020) Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19. *Space and Polity*. 24(11). pp. 1–20. DOI: 10.1080/13562576.2020.1770587
16. Dedrickson, K. (2018) Universal DNA databases: a way to improve privacy? *Journal of Law and the Biosciences*. 4(3). pp. 637–647. DOI: 10.1093/jlb/lxx041
17. Guinchard, A. (2020) Our digital footprint under Covid-19: should we fear the UK digital contact tracing app? *International Review of Law, Computers & Technology*. 35(1). pp. 84–97. DOI: 10.1080/13600869.2020.1794569
18. Burgers, T. & Robinson, D. (2016) Networked Authoritarianism Is on the Rise. *Security and Peace*. 34(4). pp. 248–252.
19. Geddes, B., Wright, J. & Frantz, E. (2014) New Data on Autocratic Regimes. *Perspective on Politics*. 12. pp. 313–331.
20. Howard, P. (2011) *The Digital Origins of Dictatorship and Democracy*. Information Technology and Political Islam. Oxford: Oxford University Press.
21. MacKinnon, R. (2011) China's 'Networked Authoritarianism'. *Journal of Democracy*. 22(2). pp. 32–46.
22. Meissner, M. & Wübbeke, J. (2016) *IT-backed authoritarianism: Information technology enhances central authority and control capacity under Xi Jinping*. [Online] Accessed from: http://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_ChinasCoreExecutive.pdf
23. Pearce, K. & Kendzior, S. (2012) Networked Authoritarianism and Social Media in Azerbaijan. *Journal of Communications*. 62(2). pp. 283–298.
24. Rule, J.B. & Cheng, H. (2020) Coronavirus and the Surveillance State. *Dissent Magazine*. [Online] Available from: <http://www.dissentmagazine.org/article/coronavirus-and-the-surveillance-state>
25. Wee, S.L. (2020) China is collecting DNA from tens of millions of men and boys, using U.S. equipment. *The New York Times*. 17th June. [Online] Available from: <https://www.nytimes.com/2020/06/17/world/asia/China-DNA-surveillance.html>

26. Fox Cahn, A. (2021) The U.S. can't rebuke global tyranny when our companies sell tools that enable it. *Fast Company*. 5th February. [Online] Available from: <https://www.fastcompany.com/90601037/americansurveillance-state-facial-recognition-hypocrisy>
27. *Novaya Gazeta*. (2021) V Tatarstane v otvet na QR-kody v transporte poyavilos' "narodnoe taksi" [In Tatarstan, in response to QR codes, a "people's taxi" appeared in transport]. 1st December.
28. Levada.ru. (2021) *Koronavirus, vaktsinatsiya, QR-kody* [Coronavirus, vaccination, QR-codes]. [Online] Available from: <http://www.levada.ru/2021/12/07/koronavirus-vaktsinatsiya-qr-kody/> (Accessed: 21st December 2021.)
29. Ourworldindata.org. (n.d.) *Coronavirus (COVID-19) Vaccinations*. [Online] Available from: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL (Accessed: 21st November 2021).
30. Edelman.com. (2021) *Edelman trust barometer 2021*. p. 44. [Online] Available from: <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer> (Accessed: 21st November 2021).
31. Zuboff, S. (n.d.) *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs.
32. Deleuze, G. (2004) *Peregovory* [Conversation]. TRanslated from French. St. Petersburg: Nauka. pp. 226–233.

Сведения об авторе:

Яковлев М.В. – доктор политических наук, профессор кафедры философии политики и права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: maxvuz@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Yakovlev M.V. – Dr. Sci. (Political Science), professor of the Department of Philosophy of Politics and Law, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: maxvuz@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.11.2022;
одобрена после рецензирования 23.01.2023; принята к публикации 21.02.2023
The article was submitted 25.11.2022;
approved after reviewing 23.01.2023; accepted for publication 21.02.2023*

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2023. № 71

Редакторы *Н.А. Афанасьева, Ю.П. Готфрид*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 27.03.2023 г. Дата выхода в свет 04.04.2023 г.

Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 16,25; усл. печ. л. 21,13; уч.-изд. 22,3.

Тираж 50 экз. Заказ № 5345. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru